

НОВЫЙ
МИР

1

1932

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

П Е Р В А Я

Я Н В А Р Ь

М О С К В А

1 • 9 • 3 • 2

СТАТ-форма В/б 176Х236

Уполн. Глав. В 20839. Об'єм 18 неч лист. по 64 000 явном Техн. вед. В. В. Павлов. В. 1949
Географич. ин. И. И. Ожворцево-Ольшанова «Известия ЦАК СССР» в ВЦДК, Москва.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр</i>
1. Ф. ГЛАДКОВ. — Энергия, <i>роман</i>	5
2. Бруно ЯСЕНСКИЙ. — Пролог к поэме	35
3. Мих. ШОЛОХОВ. — Поднятая целина, <i>роман</i>	37
4. Вл. ЛУГОВСКОЙ. — Марафонский бег, <i>стихи</i>	72
5. Ник. УШАКОВ. — Два стихотворения	74
6. И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ. — Путешествие на «Малыгине»	76

ЛЮДИ И ФАКТЫ:

7. Л. ЮДКЕВИЧ. — Посевная	112
8. О. ЛЯТКОВСКАЯ. — Караганда, <i>очерк</i>	129
9. Н. В. ПИНЕГИН. — У студеного моря, <i>очерк</i> (с иллюстрациями)	139
10. Макс ЗИНГЕР. — Город на опушке мира, <i>очерк</i> (с иллюстрациями)	153

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

11. Ромен РОЛЛАН. — Предисловие к «Лилюли»	169
12. Арк. ГЛАГОЛЕВ. — «Пустыня» П. Павленки	174

ЗА РУБЕЖОМ:

13. Е. ГНЕДИН. — Кризис буржуазной культуры	184
---	-----

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:

Дм. ГЕЛЬМАН. — Д. Фибих «Дикое мясо»	195
Н. ПРЯШНИКОВ. — В. Ардов «Туземцы»	195
Арк. ГЛАГОЛЕВ. — Л. Гумилевский «Головорезы»	196
К. ЛОКС. — Лиам О'Флаэрти «Горная таверна»	197
И. ПОСТУПАЛЬСКИЙ. — Фердинанд Фрейлиграт «Мертвые ж- вым»	198
Инн. ОКСЕНОВ. — Вис. Саянов «Начала стиха»	198
СПИСОК КНИГ, ПОСТУПИВШИХ НА ОТЗЫВ	200

Энергия

Роман

ФЕДОР ГЛАДКОВ

Книга первая

ПРОРЫВ

Далеко влево, в обрывах скал, река горела опаловыми лагунами, а отлогие взгорья и курганные поля того берега сливались в необитаемый восточный простор. Шоссе утекало вниз, по склону холма, обрезалось крутым скагом и опять взлетало кверху, по горбу другого холма, но уже немного поодаль. Солнце растаяло за очень далекими волнами увалов, и небо на западе пылилось оранжевым пеплом. Полчища галок летели через поля ройстым облаком к лиловой роще на горизонте, и крылья их трепетали огненными вспышками. Брызги ослепительных искр взрывались за изоляторах электропередачи, а медные провода пронизывались алыми разрядами.

Мирон мчался из города в каретке мотоцикла рядом с застывшим мотористом, в ему чудилось, что и этот парень, и мотор неотделимы друг от друга — руки и дуги руля, туловище и пружинный корпус машины. Моторист изгибался над рулем, и глазастые четырехугольные стекла очков под козырьком кепки делали его ночным, нечеловечески зорким существом, похожим на нетопыря.

Шоссе хлестало бурным натопром ветра. Оно несло издали, из перспективной точки призрачной поземкой и улегало мимо бушующим плеском гранитных гребешков по обочинам дороги. Ве-

тер рвал кепку с головы, грыз уши и щеки, и было приятно сидеть в каретке и чувствовать, как весь свежеешь от бурного полета, от жаркого ветра и спокойных степных далей с перелесками и ветряками на горизонте.

В бюро райкома по его докладу о прорыве крыли его жестоко и напористо. Защищаясь, он сам бил в упор, обвиняя бюро в недостаточном внимании к стройке, в неумении регулировать реальные силы в районе: райком занят, по существу, одной областью работы — деревенскими делами. Правда, весь их район — сплошь земледельческий, в деревне сейчас происходят большие социально-экономические перевороты, но такое грандиозное сооружение, как электрогидрострой и металлургические комбинаты, неразрывно связано с революцией в сельском хозяйстве. В этом нарушении системы и кроются главные причины прорыва. Он согласен, что в его руководстве много изъядов, но нельзя же все грехи сваливать только на него. Что же сделано самим райкомом для действительной связи строительства с деревней? где пропаганда среди деревенских масс великого значения для социалистического земледелия будущей гидроцентрали и заводских гигантов? где действительная помощь райкома в смысле посылки партработников и насыщения стройки рабочей силой? Разве не было случаев, когда лучшие работники отзывались райкомом в свое распоряжение, а на стройку посылались не-

редко штрафные и мало пригодные для дела люди?

Смеялись:

— Это, брат, Ситный... наш заворг тебе удружил...

Этот заворг Ситный, с лицом китайца, угрюмый и быковатый, почему-то ненавидел его мрачно и безнадежно. Сегодня он настроен был к нему особенно непримиримо и злобно, а Мирон старался не обращать на него внимания: Ситный казался ему смешным и ничтожным, и Мирон чувствовал к нему что-то в роде брезгливого сожаления и держался с ним пренебрежительно и высокомерно. С первых же дней Мирон увидел в нем обиженного, желчного неудачника. Ситный был болезненно самолюбив, и злопамятен, и Мирон знал, что он собирает о нем всякие сплетни, дразнил склочников и копил что-то в себе терпеливо и надежно. Он почему-то не мог простить Мирону того, что он послан сюда из Москвы, и часто ехидничал над его «столичным происхождением». Всем было видно, что он страдал: его обошли, оттеснили в сторону, с ним не посчитались в Областкоме, а Мирона вот назначили. А чем Мирон Ватагин, заворг одного из московских райкомов, лучше заворга Ситного, глубже которого никто не знает местных условий?

Подбор работников в райкоме был все-таки неплохой, и к Мирону все относились тепло и по-дружески. Ведь гидрострой и стройкомбинат — это одна из общесоюзных индустриальных баз, и в назначении сюда руководящих работников в большой степени заинтересован центр. Они гордились этой грандиозной стройкой в их районе: это же промышленное хозяйство всей страны, сгущенное в тугой узел. Здесь должен быть строгий подбор людей с большим опытом, с разносторонним знанием хозяйственной и политической жизни. В этом случае их роль — роль работников райкома — создать благоприятную обстановку для Мирона, помочь ему сколотить крепкий и работоспособный кадр лучших партийцев и обеспечить бесперебойность в производстве великих работ. Вот почему сегодня они сосредоточили весь свой огонь на последних событиях — на прорыве в строительных

работах. С некоторого времени начался отлив рабочей силы с разных участков стройки. Он шел волнами — отлив сменился приливом. Но в эти несколько дней не только сезонники — каменоломы, бетонщики, бурильщики, плотники, — но и часть металлистов толпами хлынули со строительства. Нужно было спешно принимать самые решительные меры, так как биржа труда и учрабсила оказались без всяких резервов. Но критики работы строительского парткома было слишком много, а самокритики райкома слишком мало, и это бесило Мирона. На этом заседании он упрямо смотрел в стол, а не на Мирона и говорил глухо, как в бочку, на густое «о».

— Руководство твое, Ватагин, ни к чорту не годится. Бездарное руководство. А ведь на тебя была опора, как на каменную гору. В хвосте плетется твое руководство. Ячейки на объектах строительства — пешки. Ведь это же — позор, политический скандал, товарищи, довести строительство до такого отчаянного состояния. Разве этот прорыв — случайность? Мы — диалектики, мы ленинцы: мы никакой случайности не признаем. Это есть следствие бездеятельности и бессистемности в работе парторга низации. Это — не только политическая близорукость, но и полное незнание местных условий. Не все то золото, что блестит (он изуродовал лицо ехидной улыбкой и шлепнул ладонью по столу, не поднимая тяжелой головы). Надо немедленно и беспощадно сделать соответствующие выводы и раз навсегда положить конец такому безобразию.

Мирон сидел неподвижно, с ледяным спокойствием, и всем казалось, что он не слушает ни Ситного, ни всех, кто выступал после него. Он смотрел в окно и думал о чем-то скучая. Потом взял со стола газету и начал читать,ковыряя спичкой в зубах.

— Да он совсем не слушает! — с изумленным смехом воскликнул белообрый, культпроп и даже встал от восхищения. — Вот это — завидная выдержка!

Ситный промычал в бочку:

— Он воображает, что сидит у себя в парткоме.

Миرون нехотя повернул бесстрастное лицо к Ситному и небрежно сказал:

— Я жду, когда ты наконец выдохнешься.

И опять углубился в газету, ковыряя спичкой в зубах.

Секретарь Дубяга, похожий на Тараса Шевченко, слушал, молчал, пристально и лукаво поглядывал на Мирона, и с его украинских усов струился неудержимый смех.

Когда прения были прекращены, он оглядел всех и сказал с удовольствием:

— Ну, погрелись маленько и — хорошо. Ватагину это — на пользу. Он выдожит — из крепкого теста. Греть-то мы его грели, а себя забыли. Самокритика-то в нас колченогая, ребята. Прав Ватагин. С райкома спросится в первую голову. Забывать этого нельзя. Как, Ватагин, выдержишь?

И уже в дверях Мирон услышал глухой, чахоточный голос этого милого Байкалова, своего старого боевого товарища:

— Вы, товарищи... знаете меня... Уж ежели воевать — Ватагин будет воевать до конца. Лучше меня никто не знает Мирона Ватагина... Мы с ним вместе прошли все тяжелые дни гражданской войны и все боевые фронты. Нельзя делать из здоровой политики склоченной борьбы? Мы все одинаково горим нашей стройкой... и все одинаково — в ответе...

Мирон быстро вышел на улицу. Он был растроган Байкаловым, но лицо было холодное и жесткое, с глубокими впадинами на щеках. На крыльце его схватила за бок чья-то рука. Дубяга смотрел ему пристально в глаза и смеялся усами:

— Ну, что ты сорвался? Детина! Струсел?

— Нет, зачем же? Наоборот. Я от таких встрясок становлюсь только злее. А вот Ситный-то у тебя не карьерист? Очень жалею, что в нашей работе нет военных методов. За каждое лишнее пустозвонное слово я немедленно бы сажал под арест.

Дубяга хитренько подмигнул ему и гкнул пальцем в ребро.

— Ну, дорогой, ты тогда бы переса-жал уйму коммунистов. Может быть,

хочешь, чтобы я тебе уступил этого парня?

— Ну зачем же такое самопожертвованье! Мы как-нибудь обойдемся. Постараемся с грехом пополам изготовить свои кадры.

Дубяга вздохнул с юмористической скорбью и схватился за бритую голову.

— Ой, дел, дел!.. Прямо нет никакой физической возможности — сил нехватает. Вот хлебозаготовки начинаются... Где я возьму людей? Кулаки поля жгут... Колхозы еще в лихорадке... Дозарезу нужны люди... Ты там у себя подбери-ка с пяток крепких парней — послать надо. Хорошо, ежели бы они — с охоткой... Я вот думаю: этак прогулочку на катере сварганить. Передохнуть бы денек... на пороги... покупаться бы, а?.. Не купался, кажется, годов восемь. Байкалыча бы вытащили...

— Ты лучше приезжай полюбоваться на наш прорыв. Зрелище из любопытных.

— Эка невидаль! У нас и своих прорывов до чорта. То одно, то другое. Валий, брат. Приедем к тебе с Байкалычем. покаляем.

Пока Мирон ждал моториста, к нему вышел Байкалов — чахоточно-горячий, но мертвый с лица, опираясь на толстую палку. Весь он был костлявый до жалости, но глаза — здоровые, жадные до жизни, с неугасимой лихорадкой. Только нос был непомерно велик, тонок, похожий на топор.

— Ты, Мироша, не придавай значения... Все обойдется... Эх, как мы, друг, счастливы, что живем в эту эпоху. Борьба продолжается... и какая борьба!

Мирон ласково пожал его горячую руку.

— Как еще много в тебе, Байкалыч, романтики от героического прошлого!

— А разве это плохо? Будущее голубчик, в нашем настоящем. Наша мечта о будущем — наше вдохновение. Помнишь, как Ильич говорил о мечте?

И когда Мирон обернулся с дороги назад, он увидел, как Байкалов стоял на мостовой, скрюченный, опираясь на палку, и смотрел ему вслед.

Мотоцикл влетел на вершину холма. Впереди, на западе, небо горело, как успокоенное море, и пепельные облака.

длинные, гористые, казались островами. На севере, над далекими увалами, жирно клубилось большое облако, точно где-то на краю земли произошел гигантский взрыв. С одной стороны эта вулканическая туча пронизывалась языками пламени, с другой была мутно-синей, в фиолетовых сугробах. И от этого огня, и от этого величавого облака, такого упругого и густого, земля казалась зыбкой, грязной и угрюмой. Вдали лучились острыми ресницами частые созвездия огней строительства. Над огнями — ажурная мачта вантового деррика с длиннейшей стрелой под острым углом к основанию. Поодаль — голубая водонапорная башня железнодорожного узла левого берега. И в синих сумерках грудятся в беспорядочной скученности домики и казармы рабочего поселка. И здесь, среди строительных лесов, казарм и пакаузов — лучисто-бодрая россыпь огней. Они трещут, играют в волнах остывающего воздуха, но еще бледны в пламени зари, еще тают в огненной перспективе. Очень далеко, на взлете другого берега, на ослепительном разливе заката режутся причудливыми рисунками бесчисленные постройки социалистического города. Там легко и крылато взлетают в высоту кружевные леса сказочных дворцов. Стеклопанельная крыша центральных механических мастерских взрывается отблесками огня, точно внутри бушует пламя расплавленного металла. Водонапорные башни тускло горят розовым накалом с одного бока, а с другого — темнеют сиреновой оттеню.

Еще год назад все эти пространства были пустыни: здесь горели и зябли в ветрах крестьянские пашни и бурьянные пастбища, и курганные горизонты дышали миражами древних былин. Суслики по вечерам выползали из своих нор и тоскливо свистели в звонную тишину. По ночам глубоко вздыхало безмолвие в нечаянных криках перепелов, в шорохах полевых мышей, в таинственных столах, а днем над бурьянами и косогородами кружились коршуны, колокольчиками звенели в синеве невидимые жаворонки, и далеко без дороги дремотно трусла деревенская лошаденка, отмахиваясь хвостом от телеги. В знойных волнах стояли распятые ветряки. А

вот сейчас все эти поля с половецкими курганами скоро исчезнут: через год здесь будет целый город промышленных комбинатов. Исполнинским усеченным конусом чеканится на паутиных устоях незаконченная домна; рядом с ней рождается другая. Густая щетина столбов — скелеты новых лесов и перелутанных линий электропередачи. Пепельные громады корпусов алюминиевого комбината в волнах цилиндрических крыш, водонапорные башни, похожие на гигантские грибы... Толпы красных вагонов на путях. Длиннейшее изломанное здание учебного комбината подходит близко к уходящему далеко. Башни, вышки, стрелькранов, ажурные леса — все это дышит трудом многих тысяч людей и напряженной борьбой за новые, волнующие дни.

И знакомый толчок в груди — нет восторг, нето просто радость жизни — перехватил дыхание. Быть в центре этой борьбы, вести за собой человеческие массы, перестраивать лик земли и жизни миллионов, не принадлежать себе, а быть только в сотворении этих гигантов.. Их мощь и сила переливаются в него: он растет и творится вместе с ними. И знает он только одно — волю рабочих масс, железную целеустремленность партии. Не частности, а — все. Цель и идеал — этому должны быть принесены все жертвы.

На переезде через железнодорожную линию, у шлагбаума, стояло несколько парней. Здесь обычно останавливались автобусы, которые курсировали между городом и гидроэлектростроем. По шоссе навстречу несся грузный кузов машины. Мирон оглянулся и увидел другую машину, которая маячила вдали на спуске шоссе. Когда он пронесся мимо этой группы молодежи, парни скалили зубы, махали ему руками и что-то орало ему в веселом задоре. Этот рев хлестнул ему в уши и замер позади. Он махнул им от ветное приветствие и тоже засмеялся. Но... вдруг застыл от испуга.

Он оглянулся. Все смазлось пылью. Может быть, нечаянное сходство. Может быть, помимо сознания, просто прелькнул в воображении утраченный образ. Его мальчик, который исчез уже вот около четырех лет... Жена Ольга. неугасимая боль и тоска в ее глазах. Кирюшке было тогда четырнадцать лет

Весною, в самый ледоход, в бурный его разлив, когда были затоплены улицы Замоскворечья и Кремлевской набережной и несметные толпы людей высыпали на берега Москвы-реки, мальчик ушел из дому и больше не возвратился. Поиски были мучительные, долгие, но ребенок пропал бесследно. Может быть, он погиб в этот ледоход, беспризорный, брошенный ими уже давно, а может быть, блуждает по дорогам Союза, как отверженный, как бродяга, как вор. Ольга до сих пор не верит в его гибель и в каждом письме пишет о нем, как о живом: она каждой строкой умоляет не прекращать его поисков. Почему он должен оказаться именно здесь и непременно в этой группе молодежи? Почему же он, Мирон, до сих пор ни разу не встречал его на территории строительства?

Промчался мимо автобус, набитый людьми, и в лицо ударил горячий вихрь пыли и бензинового перегара. Со стороны строительства играл колесами пустопорожний состав товарного поезда. Маленький паровоз надсадно выдыхал пар, и из его топki вырывались ослепительные вспышки огня.

...Но почему же не может быть такой внезапной и неожиданной встречи? Почему он уверен, что Кирюшка погиб в половодье? Предоставленный себе, мальчик жил своей жизнью, и его бегство было голбо бегством из тюрьмы на свободу. Разве Мирон не думал об этом так же, как Ольга?

Этот парень страшно похож на Кирюшку. Правда, он — высок и коренаст, но ведь Кирюшке сейчас уже восемнадцатый год, — юнша. Странное совпадение: у этого паренка такое же быстрое, порывистое подпрыгивание головы от плеча вверх. Такого поразительного сходства не бывает в жизни.

Он вцепился в руку моториста и дал ему знак повернуть назад. В темных гнездах окуляров он увидел пристальные, изумленные глаза. Моторист очевидно не понял его и с прежней стремительностью летел по шоссе.

— Поворачивай, чорт!.. живо!

Моторист затормозил машину и быстро сделал крутой поворот. Сторожка маячила очень далеко, и Мирон удивился: он проскакал не меньше километра.

Автобус стоял вдали за переездом, и люди сутолочно толпились у входа. Потом машина тронулась и скрылась в рыжей пыли. Видно было, как опускали шлагбаум и как встретились оба автобуса. Парней уже не видно было на переезде, а от остановки автобуса бежали к путям несколько человек.

Мотоцикл остановился у переезда как раз в тот момент, когда поезд пересекал шоссе. В прорывах между вагонами видно было, как люди прыгали на ходу на тормозные тамбуры. И когда поезд прогромыхал через переезд, уже никого из людей не было. Только сторож, бородатый старик, перебирал руками цепочку шлагбаума, журавлем уплывающего вверх, и скучно бормотал:

— Допрыгаетесь, шарлатаны!.. Озорной народ... Что ты с ними поделаешь? Порезет и — не с кого взять...

— Ты это насчет парней, старичок? А куда они смылись?

— А сатана их знает... Тут и автобус, тут и состав... Озоровут. Развязный народ... Теперь для народа устоев нет. Не прежнее время.

Гнаться за автобусом или — за поездом? За поездом не погонишься по пашням, по бурьяну и рытвинам. Поезд идет на городскую товарную, там люди тоже прыгают с площадок на ходу: дватварной — двадцать километров в обезд. Надо мчаться за автобусом. Много рабочих живет в городе, — строительства не может вместить всех в казармах общежитий. Эта молодежь обитает вероятно в городских предместьях и только недавно пришла на работу гидростроя.

— Гони-ка, друг, вперед — за автобусом. Надай хорошенько.

В вихре пронесся мимо встречный автобус, грузно потряхивая задом. В окная мелькнули лица Фени и Татьяны. У Фени — кудрявая голова мальчишки с шустрими удивленными глазами, вздернутый нос-недоросток. У Татьяны — обычное холодное лицо красавицы. Феня оскалила зубы, метнулась в стекло и запоздало потрепала рукой. И теперь, как всегда, это лицо Фени толкнулось в сердце беспокойным вопросом.

Мотоцикл обогнал автобус, и Мирон с мотористом подняли руки перед кабиной шофера. Замасленная кепка клюнула в стекло, чумазое лицо недоуменно поиг-

рало бровями, и машина затормозила и остановилась. В окна хлынули лица пассажиров. Толстушка в красной повязке, с саквояжем на животе, открыла дверцу и зычно, с сердитым вызовом, прикрикнула:

— Чего надо? Угорели вы, что ли? Аль надрызгались?

Но сама задорно смеялась верхней губой.

Мирон выскочил из каретки и вскарабкался по ступенькам автобуса. Он оттолкнул кондукторшу и притиснул ее к стенке.

— Ну, совсем осатанел, несчастный...

Пассажиры — служащие и рабочие строительства, которые жили в городе, и совсем незнакомые, должно быть, экскурсанты, — смотрели на него со странным смущением и ожиданием.

— В чем дело, Мирон Васильевич?.. Что за бурная атака на наш автобус?

Мирон не замечал ни выкриков, ни встревоженных любопытством лиц. Он старался уловить эту голову, изредка подпрыгивающую от плеча сверху. Нет. Ни одного из парней, которые толкались у переезда, в автобусе не было.

— Кондуктор, кого вы из пассажиров посадили на переезде?

— А никого. Сесть—никто не сел, — мест нет. А тут вот еще с тобой приключение. Да ты скажи, золотце, в какое место тебя муха укусила?..

Засмеялись, и в автобусе стало весело.

— Не скажу, серебряная. Поезжай, яндюшка, с милым сердцем.

Кондукторша озлилась.

— Так нечего дурака валять. Подумаешь, какой интересней! Только и есть у тебя, что головоотяпский портфель.

Мирон видел хохочущие зубы и потные красные лица. Тут вероятно сидели и знакомые люди — они называли его по имени, но ни один из этих людей не отразился в памяти.

Он спрыгнул с автобуса и бросился в свою каретку.

Кирюшка это был или кто другой, так больно похожий на него? Надо разыскать этого парня во что бы то ни стало... Надо было тогда же остановить мотоцикл, а он распустил юни, идиотски промахнул целый километр. А если он, Кирюшка, тоже узнал его?.. Может быть,

он ждал автобус, но в последнюю минуту, опасаясь погони, воспользовался поездом и спутал следы. Ежели поехать опять в город, на товарную, навстречу этому пустому составу, — все равно опоздаешь: поезд уже далеко. На товарной поезд затеряется на путях, а по путям надо идти пешком. Как все это вышло нелепо!..

— Ну? Куда же теперь, товарищ Вагтагин?

— Держи домой — хватит. Показали свою ловкость на славу. Бараны!

II

Мирон сел у открытого окна и закурил трубку. Было очень душно, застойно дымилась пыль над дорогой, и от этого воздух казался пережженным, терпким и по-вечернему глухим и углубленным. Липы перед домом были седые, точно листья испепелились за день. Прямо против окна, за палисадником, синел домик предрабочкома Осокина. Окна были распахнуты, и было похоже, что они жадно хватают пыльно-горячий воздух, изнемогая от духоты. Сейчас Осокин сидит вероятно за столом с женой и ребятишками и пьет чай. На столе — самовар, обеды. Грязные мухи ползают по столу, по кусочкам хлеба, по мордочкам детей. Должно быть, он держит младшего соплячка на коленях (он любит сажать за столом ребят на колени) и умильно наслаждается домашним уютом. Рядом с ним сидит жена и, утомленная материнством и домашними заботами, дремлет и прислушивается только к себе. Она — беременна четвертым, а Осокин благодушно улыбается множеству морщинок на лице и обязательно, как только приходишь к нему, подмигнет, укажет на живот жены и восторженно хвастается:

— Диалектика большевистских темпов, Мироша. Никогда без нагрузки не бывает. Рекордное выполнение плана.. Знай наших.

А жена, Марья Петровна, и не улыбается, и не слышит его слов — рыхлая, разморенная, ушедшая в себя.

Всюду переливаются электрические огни. На скалистом холме, за домами, изломанной террасой поднимается каменная широкая лестница. Она кажется величественной, несовременной, точно ведет к какому-то старинному храму. На

вершине пластается кирпичное казарменное здание рабочего клуба. Там сейчас — кино. Слышно даже, как трещит крыльями стрекозы киноаппарат. Рядом одиноко и мечтательно растет странное дерево, похожее на пальму.

Не хочется зажигать огня, хочется сидеть так, в одиночестве, и отдохнуть.

В теле еще чувствуется дрожь и полет мотоцикла.

...Кирюшка это был или кто-то другой, похожий на него? Ольге не надо писать об этом. Может быть, эта встряска совсем впустую...

До сих пор он совсем не думал о сынишке. И если бывало, что он вспоминал о мальчике, образ его сразу же исчезал, не оставляя следа.

...Как это было?.. Мирон приходил ночью с работы, Кирюшка уже спал, а во утрам, когда они сидели за завтраком, Мирон был по-деловому равнодушен к ребенку. Иногда он шутил с ним неумело, по-взрослому, насмешливо, срывка, и мальчик замирал от страха, мертвел и быковато с'еживался. Мальчик жил своей жизнью, незнакомой, скрытой от него, и он не знал, как он проводит время, чем занят, к чему стремится. Знал только, что Кирюшка — в пионеротряде, учится в школе. Этого было достаточно, а понять его, войти в его мир — не было ни желания, ни времени. Может быть, это было потому, что он не любил его? Если бы он спросил себя об этом вчера или год назад, он наверное честно ответил бы:

— Возиться с детьми не умею, не могу, не влечет. Говорить о привязанности и нежности к ребенку тоже не могу. Этого у меня нет.

А вот теперь он вдруг ощутил в себе незнакомую раньше боль и что-то в роде мучительного раскаяния и жалости к покинутому Кирюшке. Теперь бы он, кажется, никогда не оторвался от него, и у него нашлись бы задушевные, глубокие слова ласки. В бегстве или гибели мальчика виноват больше всего он, а не Ольга. У нее для мальчика находились нужные слова, и она могла, не смотря на меньшую занятость, отдаваться ребенку, как мать, а Мирону даже и в голову не приходило принудить себя к ласке. Вероятно это было

потому, что в детстве он тоже не испытал сердечного внимания отца. А отец-рабочий, с деревенской бородой, всегда казался ему страшным, не таким, как все люди, а железным, покрытым ржавчиной. И только один случай запомнился на всю жизнь: Мирону было тоже, как Кирюшке, лет четырнадцать. На дворе он стрелял из пращи и убил голубя из стаи, которая кружилась над соседним двором. Любитель голубей, дякон бродил в подряснике около голубятни, посвистывал, очарованно смотрел на свои крылатые сокровища и с пестом в руках гонял их, забавляясь полетом их в солнечной синеве. Голуби сверкали в воздухе, кувыркались, трепетали над голубятней, а он, дякон, задира голову и был похож на святого. Мирон почему-то очень ненавидел этого дякона, который постоянно ссорился с соседями из-за своих голубей. С замирающим сердцем он натянул резину пращи и с треском спустил камешек. Один из голубей прыгнул в воздухе и закувыркался вниз. Отец вышел на крыльцо, вызванный визгливыми криками дякона, молча подошел к Мирону и счепь больно схватил его двумя пальцами за волосы. Мирон видел, как шел к нему отец, страшный в своей зловердей тяжести, и замер от ужаса. Он был парализован только одним этим тяжелым, неотразимым приближением отца, медленным, приседающим на шаг. И когда отец вел его за волосы и с обжигающей болью встряхивал его голову, Мирон с тошнотным холодом в животе почувствовал, как по ногам льются теплые ручьи и штанишки прилипают к телу мокрыми тряпками.

И уже потом, когда он был юношей и работал в железнодорожных мастерских, он так же замирал от одного присутствия отца и никак не мог побороть дурманного страха перед ним. Он не выдержал — сбежал из города в Москву.

Странно, что Кирюшка тоже перед ним, Миронем, испытывал очевидно такой же ужас. С ним однажды произошло то же, что и с Миронем. Как-то утром мальчик отказывался есть за столом и, с'ежившись, сидел упрямым и безнадёжно замкнутый. Ольга уговарива-

ла его, сердилась и вздыхала, и в глазах ее дымилось отчаяние. Мирону надоела эта канитель. Он крикнул на Ольгу с неожиданной злобой:

— Да оставь ты его в покое, стервеца, чего ты обхаживаешь его, как идола!

И вдруг безотчетно схватил его за плечо и встряхнул так неосторожно, что Кирюшка слетел со стула. Мальчик смертельно позеленел, но не заплакал, а с ужасом на одно мгновение взглянул на него и на мать и весь задрожал мелкой дрожью. Головенка у него задержалась, как от ударов по лицу. Ольга забываемо погладела на Мирона, ничего не сказала, подняла Кирюшку подмышки и отвела к кровати. На том месте, где он лежал на полу, темнела теплая лужица.

То же самое: с Кирюшкой повторился тот же паралич, как и с Мироном в детстве, и этот ужас выгнал его из дому, как и Мирона. Только у Кирюшки осталась нервная травма — тик, который дергал его головенку. И еще вспомнил совсем забытое, что никогда ему не приходило в голову. Ольга в это утро сказала ему совсем спокойно и сурово:

— Мы считаем себя революционерами. Мы призваны социализм строить... А вот в семье — в тысячу раз хуже буржуев. Не умеем любить и воспитывать детей. С собой мы — бездушны и хуже рабов.

А он ответил ей, еще не остыв от раздражения:

— Нельзя ли без мелодрам, Ольга? Оставь тогда партийную и хозяйственную работу, не разбрасывайся, а направь все свое внимание на организацию общественного воспитания новых поколений.

Она рассеянно посмотрела мимо него в окно и вздохнула:

— Глупо, Мирон. Мы очень рьяно и смело распоряжаемся в сложных и трудных делах, а в самых простых вещах позорно дики. Нас занимают большие дела, а человек — калечится, втискивается в схему, в шаблон. И в результате — или больные, или жулики.

— Не приличествует, Ольга, большевичке впадать в панику. Это — упадочные настроения.

И тогда же он лишний раз отметил,

что упреки ее — смешны: в них было что-то зыбкое, женское, боязливое, какая-то робкая оглядка. Она меньше всего была занята семьей и ребенком, вся без остатка отдавалась фабричной работе. По утрам уходила из дому, обычно раньше, чем он, а приходила позднее, утомленная, в запахах фабрики. Часто она забывала подойти к спящему ребенку, поправить постель и посмотреть на него во сне, а говорила с ним о фабричных событиях, о борьбе внутри треугольника, о внутривнутрипартийном положении.

Расстались они незаметно, по-деловому.

...Посасывая трубку, опираясь локтями о подоконник, Мирон вглядывался в вереницы молодежи, спящей по лестнице на холме, и ему было больно и от зависти к этой молодежи, и от воспоминаний о прошлом. Как неудачно сложилась его личная жизнь!

Сегодня он встретил в автобусе Феню с Татьяной. Почему эта девочка, похожая на мальчишку, так волнует его? Почему в ней дышит что-то очень знакомое, очень тревожное, что-то издавна близкое, но потухшее в памяти? Где-то он ее видел, чем-то она обожгла его. Какое событие могло связать его с этой девочкой? Ведь этих минут, дней годов — острых, страшных и потрясающих — было столько, что ожоги их в сейчас бывают невыносимы, когда вспомнишь о былом.

Где-то очень далеко металлически звенели колеса телеги. Где-то — должно быть, на холме, на площади, в сквере — заливалась гармоника. Стрекозиными крыльями трепетал киноаппарат в клубе. Далекими, необъятными вздохами грохотали осыпы на строительстве: должно быть, из вагонеток или думпкаров сбрасывали щебень. Дерево на горе, похожее на пальму, еще четко вырезывалось на прохладном металлическом отблеске угасающей зари. Завыла сирена на берегу и долгие спускала сиплую струну до еле слышного хрипа.

Кучка рабочих заботливо прошагала по той стороне улицы. Некоторые из них с любопытством посмотрели в его открытое окно, но его не заметили в тьме оконной пустоты. Он услышал

только приглушенные обрывки разговора:

— Окна открыты... может быть, дома?..

— У него всегда окна нараспашку...

— Воров не боится... как-нибудь обчистят.

— А что у него взять... яко благ, что наг...

— А может, зайти бы?..

— Да говорят тебе, в городе... Там, кажется, здоровый пар насчет прорыва..

Куда они идут? Это — рабочие центральных механических мастерских. Сегодня нет никаких собраний. Может быть, что-нибудь учинил Осокин? Он без этой постоянной толкотни среди рабочих жить не может.

За оградой палисадника прошли две четкие тени, и в комнату гулко ворвался голос, сочный, молодой, самоуверенно-звонкий:

— Ни черта подобного! Люди, брат, не рождаются, а делаются.

Это — Кольча, комсомолец, слесарь из центральных механических мастерских. Он работает здесь с полгода, а как-то незаметно и быстро стал на виду, и его знает весь актив. Он ведет за собой весь комсомол в мастерских и беспоконт всех рабочих. Каждый раз на партсобраниях и общих собраниях рабочих обязательно выступает рьяно, с нахрапом и готовыми предложениями и, не стесняясь, бьет по самым больным местам. Он немного сутулится, у него угловатое лицо, сильные надбровницы и могучий толстогубый рот.

«Люди не рождаются, а делаются...» Это может сказать только взрослый, много поживший человек. Парень — не глуп. Он вырос раньше своих чет. Кольча и... Феня. На каждом собрании актива они садятся обязательно рядом, и Мирон не раз видел, как по лицу Кольчи проходили волны странной грусти и сурового восторга.

— Эй, Мирон! Чую по запаху, что — дома... Ну-ка, выгляни из своей берлоги...

Через ограду, между деревцами перегибался к нему Кольча.

Мирон высунулся из окна и оглядел улицу в обе стороны.

— Куда это идет народ-то?

— Чего ты сумерничаешь? От бани

что ли отдыхаешь? Говорят, у тебя там в городе здоровая буча была?

«Откуда это он знает? Не успел приехать, а уже все — в курсе дела».

— Тут мы во дворе парткома собираемся. Человек пятьдесят верных. В цеху сегодня, в обеденный перерыв, немножко помитинговали. Решили вечером пойти в котлован. Надо поднять дух у сезонников, показать им ударные темпы. Ребята здорово всколыхнулись. Кое-кто побузил маленько, ну их отшили... Ты сегодня будешь в котловане?

— Сейчас пойду. Чуть-чуть передохну после поездки.

— Ну, так тебе ходить к ребятам нечего. Мы сейчас там сколотимся и организовано примаршируем. Нет худа без добра... Ребята озверели — удержу нет. Будто в бой собрались. Парень я не то, чтобы этак со слабым сердцем в нервами... но, понимаешь, дух захватило. Поди ж ты, оказия какая!.. Можно подумать, что мы собираемся на баррикады... на штурм мирового капитала...

— Это у тебя — хорошо, Кольча. Творчества без одушевления не бывает. При любви всегда замирает сердце, Кольча. Ты умеешь любить. Дуй дальше в этом роде.

«Чего это он — насчет любви?» — ображал Кольча, всматриваясь в лицо Мирона, усталое и задумчивое. Мелькнула в памяти Феня, и тревожная волна плеснулась в сердце.

«К чему это он о любви?.. Совсем это не идет к нему. О деле такими словами не говорят».

И пристально вглядывался в лицо Мирона, размытое сумерками.

— Ну, так я пошел, Мирон. Мы сейчас кое-что практически обсудим и нагрянем. А ты уж там поруководишь — поможешь расставить силы.

И мгновенно исчез во тьме.

III

Двор квартиры упирался в высокую гранитную скалу в омшелых утесах. Посредине двора лежал, увязая в земле, огромный валун. От валуна до скалы чихло и одичало, в корявой путанице ветвей, кривились яблони и груши. На вершину скалы в прошлом году была сделана лестница с жидкими перильца-

ми. Мирон бегом вскарабкался наверх и сразу же остановился. Он даже вздохнул от внезапной волны воздушного простора и взглянул на небо: оно дымилось звездной пылью. Прямо, внизу ослепительно кололи глаза частые пучки огней. Перемычки на котловане — в лесах и опалубках, в длинных гипотенузах стрел паровозных кранов и дерриков в разных наклонениях и пересечениях, в клубах огненного пара.

Река пылала сумбурной путаницей огненных спиралей. Она подпиралась перемычками и гребенкой бычков, набухала от отвалов камней и щебня у основания плотины. Прибрежные осыпи песку на этой и на той стороне уже в этом году покрылись разливом. А в будущем году вода вползет на берега и затопит все эти дворы и избушки, которые когда-то, в старину, сползли в низины отлогих склонов приречья. Вот там, где живет Крижич и Феня с Татьяной, под откосом, за скалами, река заплещет в стены домов, и они разрушатся, растворяясь в рыжих волнах.

На перемычках взметнулись два дымно-зеленые кометные хвоста прожекторов. Они прорезывают ночную даль, разлетаются в противоположные стороны, потом мгновенно скрещиваются, врезаются в террасы земляных и каменных отвалов на склонах левого берега, в траншеи, в ущелья, в скалы, в каменные и бетонные аркады причальной стенки шлюза на верхнем бьефе, похожие на древние акведуки, на гигантскую неразбериху строительных лесов и опалубок, ползают в трепетном блеске, и сразу же весь хаос скал, утесов, каменных разработок и бетонных сооружений оживает в четких светотенях, как лунный пейзаж. Ночные расстояния обманчивы: далеко кажется близким, обыденное — фантастическим. На взгорье, на правом берегу, над аркадами виадука будущей плотины, взлетают к небу огненно-красные фермы вантовых дерриков. Их стрелы крутым наклоном движутся в тяжелом и плавном полете. Кубические бадьи, тоже раскаленные, странно маленькие и невесомые, стремительно летают на невидимых паутинах тросов по широчайшему кругу, над причудливой архитектурой опалубок. Это бетонируется

здание электростанции. Глубоко в недрах земли, и всюду — на развороченных холмах, на скалах, за скалами и утесами, в строительных лесах, в аркадах вздыбленных, увенчанных опалубками устоях плотины — глухо, необ'ятно вздыхают незамирающие громы. И здесь, внизу, на работах, и там, на том берегу, на шлюзе, на ряжевых мостах, под бычками, вскрикивают по-мальчишески хлопотливо строительные паровозики.

Дорожка круто спускалась с холма между кучами гранитов. Камни тлелись мутным накалом.

По песчаному кургану отсыпи Мирон прошел на ряжи и по досчатым настилам пошагал к котловану среднего протока. Вода слева зеркально расстилалась вдаль, как озеро, и огненные веревочки огней змеились спокойно и горячо. Справа, из провалов котлована, вздымались седые башни бетонных громад с крылатыми кружевными лесами на вершинах. На площадке жесткого деррика стоял такелажник, пристально смотрел вниз, в пропасть, и дирижировал руками.

Взвивался над пропастью широкий короб, раскаленный добела прожектором, и качался, как зыбка.

Красные пирамиды дерриков и внизу, и рядом, на ряжевых упорах, стояли в твердой металлической неподвижности. Всюду чувствовалась глухая, уходящая внутрь, в недра камней, затихающая глубина. Уже не было былого потрясающего грохота напряженного труда. И эта ночная безакудная пустота была тревожно-зияющей. И только дребезжали перфораторы где-то далеко впереди. С берега глухо грохотали большие барабаны — это работали на горе компрессоры. Недалеко, над средним котлованом, на перемычках, на фоне высочайших взлетов бычков, с крутыми отложениями к нижнему бьефу, дышали паром паровозы, грохотали думпкары и вагонные площадки с бадьями бетона. Воздух застойно смердил болотной и цементной прелью.

Хлопотливо ходили рабочие и десятиники по перемычке. В скалистом котловане, залитом пыльным светом прожекторов, на изломах света и тьмы, серые, отчетливые фигуры рабочих возиались

между кучами камней и щебня. В скалах и разорванных утесах стояли бурильщики и, опираясь на перфораторы, дрожали всем телом в вихрях огненной пыли.

Впереди, под седой стеной последнего бычка, шла бетонировка трех новых бычков. Новые стены опалубок, в переплетах балок, проваливались во тьму пропасти. По обе стороны на мостовых настилах стояли составы площадок с бадьями бетона, и черные паровозики чихали в звездную тьму. Высоко над пропастью висит бадья и дрожит на тросе, потом быстро летит в опалубку, до зеленого месива, в самую гущу тел бетонщиков. Они расступаются, потом набрасываются на нее все вместе. Рабочий вскакивает на затвор днища и прыгает на нем. Дно распахивается, и бетон проваливается грязной кашей к ногам бетонщиков. Днище с грохотом захлопывается.

— Вира!

Бадья со струнным звоном взлетает в высь и относитя опять на площадку.

Играют искрами и вспышками огня ручьи внизу, в камнях, в расщелинах монолитов. Сверху они кажутся на большой глубине, как горные речки. Эскаваторы неуклюже и тяжело пластаются на гусеницах. Как гигантский богомол, один из них опускает длинную шею и погружает зубастый ковш в груды гранитных обломков. Он кряхтит, дышит с громом и свистом и поднимает в пасти изуродованные отколы скалы.

Мирон остановился перед лестницей, которая коленчато опускалась в котлован по стене ряжа. Навстречу ему поднимались двое рабочих с искаженными лицами: они несли длиннейший металлический стержень на плечах. Это — отработанный бур, который сейчас идет на новую закалку. За ними по нижнему колену лестницы поднималась другая пара рабочих с другим стержнем. Труд! Труд рабочих масс — труд множества людей, маленьких в единицах, сереньких, затерянных в этих утесах, которые взрываются каждый день в громе вулканических извержений. В своих отдельных, оторванных от общей системы участках работа скучна, грязна, утомительна: погрузка камней, кладка бетона, пляска рабочих по гу-

стой каше, бурение скважин перфораторами системы «Флотмана» или «Ингрессол-Ронд», когда бурильщики дрожат над аппаратами, как в лихорадочном ознобе. Но этот труд в своей цельности и в общем прибое величественен и полон чудес. Когда-то, в минувшие века, по этим плесам плавали на расписных ладьях варяги, а не так давно надрывались над своими полосками крепостные рабы. И не так давно Мирон дрался на этих холмах и полях с белыми армиями и здесь же был ранен в плечо навывлет, и здесь же пережил когда-то бурную радость победы. А вот сейчас вырастает в урвень с горными высотами седая дуга из бетона высотой в семьдесят метров. Она поглощает каждый день целые холмы цемента, пожирает в сутки всю годовую продукцию одного среднего цементного завода республики.

Подошел прораб Вихляев в неизменном буром макинтоше. Он уже остановился, но полы макинтоша еще были в разлете. Опаленное солнцем и пылью лицо с сизым носом в чешуе. Густые усы цвета соломы и борода клочком. При блеске электричества глаза его горели зелеными переливами, как у ночной птицы. Он цепко схватил пальцами плечо Мирона и протянул другую руку в провал котлована.

— Вот оно, знаете ли, товарищ Ватагин... Паника! Я на земельных работах — двадцать лет, а этого не наблюдал до сего дня. Вот-с. Оторопь. Хуже, чем страх перед нечистой силой..

— И у вас машинобоязнь, товарищ Вихляев?

— Вот... машинобоязнь. Нет, не то, знаете ли. Машиноненавистничество. Эта чертовщина способна убить. Знаете, странная жуть, когда железная уродина жрет человека. Душу уничтожает... Трудно вынести, трудно пережить...

— Это правда, Вихляев: тут человек берется на зубы... Природа человека — вещь упрямая и трусливая.

— Ничего подобного, знаете ли. А вот от человека ничего не остается. Вот в чем дело. Бегут, товарищ Ватагин... Машинная чума. Понимаете?.. Абракадабра!.. Я сам чувствую, что заражен... сам близок к бегству...

— Это — малодушие, Вихляев. Старый, испытанный прораб...

— Ну, нет, знаете ли...

Лицо Вихляева покоробилось от растерянной улыбки. Но голос, сильный от пыла и криков, задумчиво вздохнул и грустно ушел в себя.

— Нет, знаете ли, голубчик... ерунда-с!.. Я двадцать лет изо дня в день впитывал в себя эту душу, понимаете ли... душу простого, очень, так сказать, человеческого дяди. Эту душу я знаю — знаю, чем она дышит, чего она хочет. Вот-с. Ночь, звезды, земля... Она знаете ли, загадочная и — простая... И я — вместе с людьми... в этих простых, понятных... моих!.. понимаете ли, моих стихиях. Эти люди, милый мой, чуяли друг друга, чуяли, как бьется сердце — мое и чужое... А какие они пели песни!

— Нет, Вихляев, вы несомненно романтик. Теперь новые времена и новые песни... Массовый труд и гигантские механизмы. Верно, это — не кольдовская лирика.

— Хо, дорогой, вы восторженно ошибаетесь... Вы вот орудуете, организуете эти живые силы. Но вы сами — только проявление власти этих стальных владык. В этом, знаете ли, весь ужас... в этом — жуть...

Вихляев задумчиво улыбался. Он ощущал себя выше и глубже Мирона: только он воспринимал мир в его человеческой тайне, а Мирон был глух и ничтожен. Вихляев тыкал узловатыми пальцами в его плечо и грудь, точно стёрлся разбудить его от гипноза.

— Да-с, вы восторженно ошибаетесь, дорогой. Вот-с. Самообман. Слепота террии. Вы помните прошлые годы? Я с своими грабарями выполнял великие египетские работы. Лопата и лошадь Мы изрыли тысячи километров по всей стране и вынули миллионы кубометров. Мы были одна семья. Мы были родные братья. Они дрались смертным боем, пьянствовали — от надрыва... верно. Но, знаете ли, — в этом зверином мордобое был смак, этаким человеческий бунт. А теперь? Между нами — бездна. Мы — автоматы. За нас чувствует чудовищный двигатель. Ну, и... бегут, знаете ли, в панике... Вот Кряжич, инженер... только-что беседовали с ним. Что он говорит? человек, говорит, наших дней выброшен

за пределы жизни. А ведь надо же его куда-нибудь приткнуть? Замечательные слова, товарищ Ватагин.

— По-вашему выходит, Вихляев, что сезонники разбегаются от страха перед механизмами, от их обезличивающей диктатуры. Это, так сказать, бунт человека против сокрушительной власти металла?

— Несомненно. Душу убить нельзя, знаете ли. Человек не терпит изоляции. Человек хочет чувствовать себя самобытным, а вы стараетесь сделать его жертвой этих чудовищ. Ничего не выйдет, товарищ Ватагин.

— Все это — не ново, Вихляев. Это уже было в истории в несколько иных формах. Но ведь мы — революционеры....

Вихляев сокрушенно отмахнулся. Он мутно глядел в котлован и морщился, ослепленный светом электрических фонарей и сверканием прожекторов. И Мирон видел, что этот человек был весь в прошлом, он нес первобытные понятия о труде и знал только поэзию живых мускулов и простых сельских ландшафтов. Он жил общей жизнью с мужицкими артелями, питался вместе с ними из общего котла, и их несложная темная жизнь, как их деревенская земля, расцветала только привычными цветами вековых образов, как тощие колосья их посевов и желтые дымы сурепицы на их бурьянных гумнах. Вихляев был хороший прораб и среди своих грабарей и рабочих пользовался общей любовью. Он понимал их, знал каждого по имени, входил в их интересы и домашние дела. Он не считался со своими рабочими часами: его всегда можно было видеть на работах — и днем, и ночью. Он часто спал вместе с ними под открытым небом, в палатках, в бараках, а по вечерам сидел в их артели и пел деревенские песни. На его участках не было никогда скандалов, бунтарских настроений, прогулов, и работы по плану выполнялись вовремя, часто с превышением — честно, превосходно, с особой, присущей грабарям красотой и мастерством. Управление главинжа очень высоко ценило его опыт, организаторские таланты и прекрасное знание своего дела. Но его вражду к машинам знали давно и шу-

тили над ним. А он был неисправим: всегда был замкнут, угрюм, и обветренное лицо его морщилось и было сурово сосредоточено, как у одинокого, отвергнутого всеми человека. Голос его всегда был певуч, с шипотой, тронутый пылью и зноем, задушевно убеждающий и добродушно-наивный. Такой голос бывает только у украинцев и русских южан.

— Не будем спорить, Вихляев. Придет час, и вы сами убедитесь, что вы неправы. Весь вопрос только в методах труда. Наша задача — очеловечить машины. Поэзия не только живет в звездной ночи и в надрые мускульных сил. Мы создаем поэзию невиданных индустриальных темпов, поэзию электрической энергии и могучих механизмов. Тут человек перерождается, становится великой созидательной силой. Я с вами согласен, это — гибель жалких, обветшалых маленьких нор и гнезд. И несомненно в этом есть трагедия.

— Ничего не выйдет, товарищ Ватагин... — фальцетом пропел Вихляев и улыбнулся с хитрецей в зрачках.

— Не беспокойтесь, Вихляев, все идет своим порядком, идет неотвратно, по законам борьбы классовых сил. Маркс очень хорошо выразил этот закон...

Вихляев смущенно и беспомощно развел руками, и полы его макинтоша затрепыхались, как обвисшие крылья.

— Я не знаю, что там говорит ваш Маркс. Он, знаете ли, для меня так же неубедителен, как вы. Очень уж вы любите орудовать авторитетами, как начетчики. Не трогайте это меня, знаете ли, и не убеждает. Вы нуто мое расстреложьте и мой ум взволнуйте. Вот-с.

Мирон ущемил его плечо и широко взмахнул рукою полукругом — от одного берега к другому.

— А это вам не доказательство, Вихляев?

— Нет, это не доказательство. Это не органично, это — только рабское подражание американцам.

— Вы — упрямый чудак, Вихляев. Подождем, когда вы все это переверните и когда вне этого мира вы уже дышать не сможете.

Вихляев закрутил головой и поднял предостерегающе палец.

— Трудно с вами жить, товарищ Ватагин.

— Революция — вещь трудная, это верно. Для некоторых это — хуже, чем пережить тиф или сумасшествие.

Вихляев вдруг насторожился, ошетинился и весь угрелся вниз, в котлован. Лицо его стало овирепым и хищным.

— Ах, сволочи, сиволапые бараны!.. А? смотрите, что они делают, мерзавцы.

Под дерриком трое рабочих возились над большим камнем: они надрывались, стараясь поднять его общими усилиями, толкались плечами и мешали друг другу. В изнеможении они бросали работу, звенели ломками, вытирали рукавами пот на лицах, и сверху видно было, как они дышали запаленно и беспомощно. Стукали молотками по массивам, изнуренно оглядывались. Один из них высморкался, подумал, сел на камень и вынул кисет.

— Видал, какие идиоты? Они не желают знать, что есть приспособления для подема камней — железные клинья и прочая антимония... Не видят, что — к чему... Ах, деревенщина мордатая!..

Он взметнул лапами макинтоша и ринулся вниз по лестнице.

Мирона разбирал смех: странный человек этот Вихляев. В нем уже борются две силы, какая из них возьмет верх?

Он начал спускаться вниз, а Вихляев летел по ступенькам лестницы и орал на рабочих, но в этих его криках не было злобы: он повизгивал и матершинничал скорее добродушно, с сожалением и сочувствием. Мирон еще не успел сойти с лестницы, как Вихляев подбежал к рабочим, засуетился, замахал руками вверх, к такелажнику на деррике, спугнул рабочего с камня и горячо начал что-то объяснять и тыкать пальцами в камень. Он обежал вокруг камня, пошлепал его ладонями и опять взмахнул рукой вверх. Деррик зазвенел механизмом, и трос с крюком спустился до земли. Вихляев схватил крюк и зацепил его за клин.

— Вира!.. — крикнул он певуче, и камень плавно поднялся над головами.

Вихляев шлепнул по спине рабочего и весело пропел:

— Ну, что, сиволапый?.. Видал? Эх, ты, деревня!.. Вот оно как. А вы все

хотите брюхом да голыми лапами... Надо шевелить мозгами и уметь пользоваться двигателем... Это же, ребяташки, не на заднем дворе: вы не навоз чистите... Надо не только руками, но и черепком работать... Ловкость, сноровка, работа над собой...

Рабочие хмуро усмехались, задирали головы вверх и пятились назад. Сезонник, который вынул кистет, опять сел на выступ скалы, слепой и угрюмо-замкнутый.

Вихляев замахал полами макинтоша и широкими шагами устремился в глубь котлована. Он шел бковыато, напористо, деловитой походкой, и по его горбатой спине видно было, что он знает, куда он идет, и что у него — на очереди. Этот человек не сделает ни одного движения без цели и без практической необходимости. Он знает цену каждому своему шагу, и каждая мелочь в порядке рабог имеет для него огромное значение. Он здесь все видит, все чувствует, все подмечает: у него — острый, чутко наметанный глаз, и ни один участок работ в котловане не ускользает от его внимания. Вот он упрямо хрустит своими сапогами из юфги по гранитному щебню, шлепает по грязным лужам и будто ничего не видит — смотрит только себе под ноги, но все знают, что он несется, размахивая полами макинтоша, в такое место, где он заметил какую-то заминку и где нужно его вмешательство. Он — вездесущ. и его певучий голос заливается с добродушной сварливостью. Он ругается, бушует, с налету ввязывается в работу, подгоняет, ставит всех на места, победоносно размахивает руками. Рабочие огрызаются. орут на него, с задором, с глубоким озорством и стараются доказать, что он крикун, привередник, а дело свое они знают хорошо и в работе дадут каждому сорок очков вперед.

IV

Мирон присоединился к группе каменоломов, с которыми только-что возился Вихляев. Камень был уже поднят на перемышку и положен на думпкар. Трос опять был спущен в котлован, и такелажник в прозодежде, молодой парень, орал с площадки деррика и нагибался над пропастью. Снизу он

казался маленьким и смешным. У ног рабочих лежал металлический короб со связкой ржавой цепи на дне. Гранитные глыбы пересыпались искрами, кучи щебня громоздились отвалами у разрушенных скал. Эти камни лежали уже несколько суток, отвалы щебня не таяли, и Мирону показалось, что они даже как будто выросли и густо засорили этот участок котлована. В прорывах между ряжевными устоями непроглядно чернела тьма, и только мгновенный луч прожектора молнией вспыхивал на пегом бетоне шандоров и ослепительно брызгал капелью фильтрующей воды. Рабочие опять расселись по камням и передавали огонек спички из рук в руки — закуривали.

— Темпы-то у вас, ребятаки, беззубые. Точно на волах едете, и «цобе» лень крикнуть. Давайте-ка, друзья. ликвидирuem эти кучи, а то вон такелажник с ума сходит от горя.

Мужики молчали, будто не слышали Мирона и отворачивали скучные лица в стороны. Бойкий парень, в кепке на затылке, рябой, оскалил могучие резцы грызуна навстречу Мирону.

— Не то ли, что трудиться с этими домовыми, а помышление есть, товарищ Ватагин, вставить им кишку от пневматики, надуть им пузо и пустить пузырями по воздуху. Народ к каменному труду — неспособный... К тому же сказать, по бабам стосковались.

Этого парня он видел где-то не один раз, но вспомнить никак не мог. И отразился он в памяти бойкостью озорника и смелой, вызывающей шуткой.

Мужик с обветренным лицом, в густой пегой щетине, с хитренькими щелочками опухших век, сбоку смерил парня с головы до ног, вынул ососыш из волосатого рта, подумал и неожиданным фальцетом просипел:

— Арап ты, сучий хвост!

— Га-га, арап, говоришь? несомненно?

— Фактицкое дело — арап.

— Твое слово о факте — не есть истина. Фактицкое дело есть боевой удар. Покажи — поверю. Руководствуйте, товарищ Ватагин.

Каменоломы сосали окурыши и тупо смотрели себе в ноги. Такелажник

вверху мечтательно выл невнятную песню.

Мирон почувствовал себя беспомощным, чужим здесь, случайным среди этих людей. Они не хотели работать, чвыкали слюну и украдкой пощипывали его нелюдимыми глазами.

С этими людьми нужно бороться не длительным обхаживанием. Вихляев действует на них по-своему — он играет и приспособливается к ним, но он сам растерян и беспомощен. Не он, а они здесь — решающая сила. Надо создать нашу систему труда, как железный закон, который бы своим действием возбуждал, заражал, как массовый порыв.

Но как переломить их, как подчинить себе и заставить войти во вкус работы? Ввязаться самому или ждать Кольчу с рабочими? Надо пробудить в них трудовую гордость примером горячего напряжения. Самая тяжелая обида для человека — это обесценить его способность к труду.

Во всем скалистом кратере котлована работа шла приглушенно, точно люди доделывали последние ясла и готовились уйти на отдых. Не было того широкого волнения в труде, какое бурлило несколько дней назад. И людей было мало: всюду — по-ночному пустынно, только кое-где в седых гранитах, в обломках скал раскорякой дрожали над перфораторами бурильщики, и инструменты в их руках фырчали нехотя — захлебывались и кашляли. Кое-где распаренно, исгочая обильный пот, люди по-стариковски дрожало тыкали лопатами в кучи щебня, и железо лопаток хрюкало и дрябло грызло камни. Вдали, поодаль друг от друга, серые размытые тени истомленно боролись с тяжестью своего тела, взмахивали молотками и били по большим отколам монолитов — разбивали их на части.

Никто не работал на самом деле, хотя люди и топтались на месте, вытирали пот с лица грязными рукавами прозодежды. Только прожекторы накаливали воздух дымными водопадами ослепительного сияния, обрызгивали камни взрывами искр, четко, выпукло чеканили изорванные утесы и острые ребра камней — делали их живыми: они шевелились, передвигались с места на место целыми планами, хребтами и плоско-

горьями. Только на опалубках бычков и далеко, на высоком взгорье правого берега, над аркадой виадука, как на огромном экране кино, кипела и пылилась туманным огнем трудовая суматоха кукольных людских тел. И Мирон чувствовал, как оттуда, через воздушную ночную даль, через ослепительные огни электричества, через лунное сияние прожекторов, прибойным грохотом проносились к другому берегу необятные волны — глухой грохот железа, вздохи борьбы, выкрики, обрывки команды, колокольный звон дерриков...

— Не нравится мне ваша работа, друзья. Портки только о камни трете.

— Ну, не нравится, так не гляди, сорока-барыня. Кто тебя неволит? Погуляй, ежели скучно, — котлован велик...

Пегий мужик сплюнул через плечо и хитренько прищурился. Остальные сидели на камнях и безучастно, вдумчиво курили. Один из них, тщедушный, с жидким клочком на подбородке, задушливо кашлял, в горле у него свистело и лопались какие-то пленки. Парень скалил зубы и кивал кепкой на рабочего. Он сложил пальцы в трубочку и шлепнул по ним ладонью.

— Работа, товарищ Ватагин, по темпам — труба на полный ноль. Как прикажете рассуждать? Народ фигурирует в присядку и ползет лягушкой в свое болото. Никакого революционного нажима не принимает. Переводите меня на бегон, товарищ Ватагин, — мочи нет. Вследствие такого упадка производительности труда я здесь — пешка. Но имею же я свою красноармейскую гордость, товарищ Ватагин, или нет?

В этом парне есть зарядка, но она сейчас попадает впустую, тает, как оксидквит в патроне, у которого потух бикфордов шнур. В этом парне — горячая кровь, и в его тревоге Мирон ощутил себя, точно он мгновенно отразился в его глазах, как в осколке зеркала.

Такелажника уже не было на площадке — он стоял поодаль на стене ряжа и курил вместе с механиком деррика. Мирон сделал рупоо из ладоней и заорал в их сторону. Такелажник лениво оглянулся — не понял, откуда этот рев, а когда увидел Мирона, оскалил зубы, но с места не тронулся,

только по привычке поднял руку и заиграл пальцами.

— Такелажник! на место!

Мужики заржали и затряслись от удовольствия.

— Вот это — труба! Соцсоревнование на общественного быка.

— Хо, у нашего пороса нет такого пороха. Посади меня на хороший харч, я зареву зараз на обои дыры...

Опять заржали.

Парень с презрением сплюнул им в ноги.

— Да вы и так худодырые. А зад у вас тяжелее башки. Вы в кишку живете. Уж подлинно — индусы.

— Стерва ты, мот. Плох твой отец, а то давно бы измочалил тебя оглоблей.

— Свинтусы вы и несознательный элемент. Оглобля ваша уже давно чешет вас по заду. Но только зад ваш — безмозглый, как полагается, и бесчувственный. Многочисленные же массы великолепно уже испытали, как эта оглобля больно чекушит их по черепкам. Кратковременно дойдет очередь и до вас.

— Чесать языком ты насобачился — спроть ничего не скажешь...

Такелажник стал на место, и крюк стал опускаться на кучку мужиков.

— Берегись!

Мужики оторопело вскочили с камня. Мирон зацепил крюк за якорь и вскинул руку.

— Вира!

Трос натянулся, и крюк взвизгнул и захрятел. Камень, похожий на тушу быка, легко и плавно поднялся на воздух.

— Ну, ты, браток, орудуй с камнями и дерриком, а я распоряжусь насчет экскаватора. Как тебя зовут?

— А Прокоп... хотя фамилия — Микешин... Мишу до момента с папашей... Тоже индус... Это — по соседству с инженерками...

Мирон вспомнил. Это был сосед Фени и Татьяна, к которому они иногда ходили пить молоко. В тихие часы, в поздние ущербные зори, когда берега таяли в электрической мгле и с котлованов и с дальних участков работ доносился только глухой рокот скрытого в траншеях и карьерах труда, — на дворе рычали надсадные ревы и разъяренная тя-

жесть борьбы. Пронзительно визжала женщина. И потом вся эта возня быстро замирала, точно провалилась в погреб.

— Так-то вот, сорока-барыня!.. Слышал, какой еписот с Нефедом-то?.. Тайным манером ночком из больницы — в могилу. Иде его могила, никакие силы не откроют... Чисто сработано... Вот те и работай... трудись на чортову морду...

— Неужто ж — в тайне?

— А ты думаешь как? С красными флагами? Да с музыкой? Дураки они, как же... Ежели бы всенародно — так это же сурьезное дело: а ну, как народ встревожится и затребует ответа: как? почему? это каким побытом рабочего человека безответственно — в могилу?

— То-то, я гляжу, народ невеселый... мухотный какой-то...

Мужики говорили о недавнем случае с сезонником на скальных разработках. Парень нечаянно задел лопатой за короб под'емного крана, а ручка лопаты ударила его в нижнюю часть живота. От удара ручки разорвался мочевой пузырь — произошло внутреннее излияние мочи. Рабочий умер в ту же ночь.

«Какая-то сволочь работает среди них без промаха, — отметил Мирон и прикрикнул на себя: — Не даром же тебя били в райкоме. Может быть, и Ситный был более прав, чем ты, в своем презрении к нему?»

Вместе с парнем он возился над монолитом и прислушивался к разговору сезонников: пусть посудачат — нельзя их сейчас брать за загривок, надо найти удобный момент, чтобы вовлечь их в работу. Этот пегий — с норовом, он очевидно имеет на артель большое влияние. Надо узнать, в чем его гонор, и ухватить за нужную струну. И говорит он занятно, а парень умеет щекотать его слабые места. Должно быть, кулак.

— А к вашей Матрене я все-таки подсылаюсь в активисты, — не я буду. Парень задрал кепку и ударил по коленке.

— Брюхатая она, Матрена-то... Она во-о какую шайку арапов около себя держит... А ты ей — что? шалая безотцовщина... только что и есть у тебя бесполезное имя — Прокоп.

— Эх, ты, дядя! Дурило взял вымы да нацепил кудели... На бабу войной

пошел. Тебя, этого Матвея, баба под арестом сутки держала. Это что? Не баба, а сила активна. Ты и здесь ни к чорту не годишься. Лодырь, и борода у тебя лишняя. Зачем лодырю борода?

— Баба сейчас, верно, — сволочь. Действительно — актив. — Матвей смущенно закурил головой и уткнул глаза в камни. — Время чижолое подошло: всё — кулак да колхозы. Такая пошла кутерьма, такая перетряска жизни — пыль и дым, ядерцы! света не видать. Ну, и... чего, мол, петлю на свою шею накладывать — выбирай Матрену-красноармейку... еще мужнину вонь не выдуло... на границе пал... Какая, мол, там в бабе сила! Ни пасти, ни власти... у нее борода не на месте...

Он выпучил глаза, оторвался от кисета, оглядел всех с ехидной усмешкой. Зеленые ручки в глазах играли с затаенной злопамятностью.

Прокоп смотрел на него с нетерпеливым любопытством и восхищением. Он не выдержал молчания и подтолкнул Мирона локтем.

— А Матрена, гы-гы... не ворона... и вас всех, чертей, раком поставила... Верно?

— Не то ли что — раком... хрен ли! а вот, истинное слово, — зверь! Как начала башки рвать, как начала нажаривать и в хвост, и в гриву... бож-же мой!.. куда блока, куда сноха, куда улица, куда курица... Нам ране и невдомек, а она полсела кулаков нагвоздила... Да округ себя сбила самое зловерное бабье, из города еще нагнала городских слесарей да еще напялила на себя левольверт. Левольверт! с ремнями!.. Вот как!

— Зря! — Мужик с войлочной бородой равнодушно и послеповато сосал трубку и плевал в лапти. — Зря допустили. Этим бы, левольвертом — по морде ее...

— Ну-ну, давай дальше, Матвей... — Прокоп, не отрываясь от работы, поддразнивал Матвея и подталкивал локтем Мирона. — Ну, а потом — вилы... рогами вверх... Значит, в атаку на врага?

— Ну, ясное дело... Иду, а куделя-то по ветру — гривой... Умора!.. Иду по деревне и ору... до чего, понимаешь, ору —

кишки все надорвал... «Вываливай, православные, к совету — Матрену с трона скидывать!..» А ребята поросычий-тарарам за мной устраивают... А народ глядит кто в окошки, кто в ворота и... бож-же мой!.. сорока-барыня! так со смеху и ползают... Ну, дошел до совета... окошки открытые... народ... Заседают полным составом... А Матрена стоит оратором, глазами всех грызет. Распался я — в самый вошел раж. Сую это вилы свои в окошко и ору: «Круши всех бандитов. Долой грабителей!..» Ору, а сам вижу: чинно, хладнокровно она отдает команду и ноль на меня внимания. И не успел я в соображение войти — зацапали меня, гражданина Сесеер, скрутили в комочек и — в кутузку. Так сутки и высидел.

— Даю голову на отсечение... факт!.. каялся перед ней... ей-бо, каялся!..

— Покаешься... Такую, сволочь, власть взяла, так всех скрутила — не хошь, да покаешься... Хоть вилы-то отдала — на том спасибо... Да еще как отчитала — мужику не под силу. Средняк, говорит, а звание свое позоришь — на пользу мироедам комедию играешь. А что наипаче прискорбно было — Лениным цопрекнула: «Ты, говорит, несознательный враг себе: только покойную память Владимира Ильича Ленина позоришь...» Ведь вот какая арапина, сорока-барыня!..

— Должно, взопрел под ее разговорным арапником? Факт!

— Да ведь взопрешь... Коли бы она одна была, а то чешет и кулачишком в стол гвозди заколачивает. А округ нее — почетный караул... и все бритые. Даром что у меня — борода, и мешки в пять пуд одной рукой поднимаю, а вот кровь стала дурная от стыда. В голову бросилась... Стою, как дуботол — вот истинный бычок перед ножом... Пришел домой — и деться не знаю куда. Сверх силы, аж на карачках дополз до коновала Потапа, ну и спустил маленько дурную кровь. Вот какие наши порядки водворились!..

Он ткнул в сторону Мирона заляпаным грязью пальцем и подмигнул мужикам. Мирон понял, что Матвей хотел обескуражить его неотразимостью событий: ему нужно было возбудить в

нем и в артели мужскую гордость и протест против унижения мужского достоинства. Мужики пылливо и насмешливо смотрели на Мирона, уверенные в его беспомощности. Им было очень приятно увидеть его побитым, оцципаным, жалким. Он — какой-то командир на строительстве, надо испытать его силу. Они встретили его враждебно, как всякое начальство, а ежели начальство еще запросто подсыпается к ним — грош цена такому командиру: распорядитель, который поставлен свыше и не имеет ни голоса, ни мата, а трет зад об то же место с мужиками, достоин презрения. Эта рабская особенность старого мужа всегда вызывала в душе Мирона мутную тоску, похожую на тошноту.

Он осматривался вокруг, измерял ночную пустоту котлована и думал. Он впервые видел такое каменное безлюдье, впервые утопал в этой огромной тишине, которая дышала гулом необъятного ливня. Это под башнями бычков, в бетонной гребенке, бушевала вода. Он не смотрел на мужиков и угрюмо мял пальцами подбородок.

— Ну, и выходит, друзья: там — Матрена, здесь — индустрия, а сила одна. Какая бы Матрена ни была, все равно вам от нее не уйти.

— Во! видал? — Прокоп в восторге ударил себя по лбу и обвел всех победоносными глазами: — истинный бо!.. я как и размышлял: обязательно товарищ Ватагин эти слова скажет, а Матвею плевать некуда. Во! Я тоже идейно становлюсь на позицию. Тащить надо сюда такую Матрену, товарищ Ватагин. Ох, и организовала бы она здесь ударную силу — уму непостижимо!

— Она там нужнее. Да и Матвей уже не тот. Сначала о Матрену потерял, а здесь — о машину. Мы его еще сами на подмогу Матрене пошлем.

Мужик с трубкой сидел в позе идольского равнодушия. Он даже ухом не повел на слова Мирона и на выкрики Прокопа. Сидел он, весь разморенный духотой, горячей сыростью котлована и одурманенный трубкой. Он тыкал в нее слоистым ногтем, как копытцем, и бездумно смотрел на зеленую лужу у своих ног.

Матвей опасливо косился на Мирона,

встревоженный его словами, и небрежно буркнул с мудрым назиданием:

— Чего ты толкуешь, сорока-барыня! Тот труд хорош, который — мой, чтоб я утробой жил. А на кой он чорт мне сдался, этот вот труд. Этих бычков в двор не загонишь, а двугривенный и на пуговицу не годится. А что — колхоз? Свяжи скотину хвостами — без ума будет: и хвосты порвет, и вдрызг залягается.

Мирона давила тошнота, и мучительно хотелось раздавить ногою камень под подошвой, который шевелился, как черепашка. Покупаться бы сейчас или выпить холодной воды. Он поддел ломом камень и подвинул его к тяжелому крюку на тресе.

Экскаватор под утесом стоял без работы: людей около него не было, только дремал у машины механик.

Мируну было стыдно: мужики явно издевались над ним — над его беспомощностью и одиночеством. По молчаливому сговору они просто смотрели на него, как на чучело. Он пошел к экскаватору и услышал, как они что-то бормотали ему вслед и похохатывали. И он, взбешенный, думал: да, они — правы, здесь, рядом с этими мужиками, он — пешка: он не знает, как держать себя с ними, за какое место их взять, а вот среди рабочих масс он — сила, там он — в родной стихии, там каждое его действие, каждое слово — полновесны и значительны и сразу же находят отклик и в тысячах, и в каждом в отдельности. А почему он здесь смешон и растерян?

Двое мужиков стояли в стороне, угрюмо и обособленно, как чужие. Мирон только сейчас их заметил. Видно было, что они собрались уходить из котлована. Встревоженные им, они толкнулись плечами и сутуло пошагали по щебню, робко оглядываясь, как беглецы.

Мирон оглянулся и невольно остановился. Матвей усмехался щетиной на лице и целился в него злорадной прищуркой.

«Он убить может... зверски и мучительно...»

Мужик с реденькой бороденкой покорно сидел на камне, смотрел на Прокопа, дышал со свистом, часто сплевывал слюну и улыбался, ласково, себе на уме.

V

На высоте ряжей, за парашетом, длинной вереницей шли рабочие. Далекий говор, топот ног, смех слетали в глубь котлована волнами — то громко и отчетливо, то глухо, чуть слышно. Они подходили очень близко к перилам, опирались на них руками и заглядывали вниз. Лавируя между черными кубами кранов, они исчезали и опять появлялись, и тогда видны были только толпежное движение их кепок и взмахи рук. Кое-кто опять подбегал к парашету, переламывался через барьер и пылливо оглядывал котлован. И лица, и кепки при свете электричества мерцали прозрачно и беспокойно, как на пожаре. Пронзительно засвистел впереди паровоз, и перемычка зарокотала нутряным громом. Медленно проползли площадки с четырьмя бадьями, обляпанные цементом. Паровозик чихал и пыхал паром. Толпа опять исчезла за вагонами.

— Наши идут... — кивнул головою Мирон в сторону ряжей. Он даже рванулся навстречу им, но сейчас же остановился и вздохнул от волнения.

Прокоп вдруг посмирнел и смущенно забычился, и Мирону почудилось, что у него хрустнули челюсти. Прокоп был как будто обижен и как будто струсил перед толпою.

— Выходит, товарищ Ватагин, что нашему брату никаакой веры нет. Фактически катись отсюда колбасой... Подвели тугозадые бородачи!..

Матвей завертывал козью ножку и почесывал локтями бока. Он оглядывался вокруг себя, рассеянно поднимал лицо в ночную тьму, размышлял и шурился. Мужик с грубкой во рту сидел попрежнему неподвижно и бесстрастно, а другой, тщедушный, весь пыльный, уставился в лом между коленками, и в горле у него что-то сипело и надрывалось.

— Лом вот больно жалко... хороший лом... Из рук выпускать не хочется...

Матвей скосил на него глаза и презрительно усмехнулся.

— Ты, Микита, и без лома хорош. С ломом не выдюжишь. Чужой лом кости ломит, сорока-барыня. Человек ты квельый, мизерный... то ли в тебе —

свят дух, то ли ты — протух. Тебе только быть на деревенских харчах: лежи на печи да три кирпичи... В колхозе все едино зачтут. А тут — какие-то термоза, а из термозов этих идет питание. Слыхал? Питание, арапы!.. Хуже свиней, ей честная речь!.. Вша зала. А отчего вша ест? Вша ест от дурноты жизни — от думы, от тоски... Мы, мужики, сейчас — как на лыдине в поую воду: и туды—никуды и сюды—нелады... вертишься на волю божию... Гляди, какие железные мухоловы... Лом твой в хозяйстве пригодится, а эти громобон все твоё хозяйство вместе с твоей требухой жрут. И не вздишь, и невдомек. Вот оно как, сорока-барыня! Ты думаешь — вот, мол, я с ломом-то трясу портками на свое способности, а оно мелет тебя кажин день своей шестерней... Вот о чем, голова, подумать надо... жуть берет... Оттого и вши... оттого и человек — в бегах. Сейчас человек весь в бегах... осатанел и растерял все пути-дороги, сорока-барыня...

Матвей резонерствовал, рассеянно глядел на козью ножку и пристально изучал ее. Он был словоохотлив и склонен к мудрости, и видно было, что он не ожидал ничего хорошего ни дома, ни здесь.

Никита задыхался от хриплой задышки и, со страхом в выпученных глазах, сидел на камне, судорожно вцепившись пальцами в лом.

— Ну, а... куды ж податься?..

Матвей хитренько сверкнул глазами, зажег спичку и поднес ее к концу цыгарки. Его лицо, глянцевое, обожженное, вспыхнуло, потом погасло, потом опять вспыхнуло, и было похоже, что он подмигивает Никите, а волосы в усах, в стриженной бороде, в ноздрях и на ушах свирепо и коварно щетинятся. Он пристально посмотрел на спичку, которая жгла ему пальцы. Ему было больно, но он не бросал ее. И будто в этих ожогах блыч виноград и Мирон, и Прокоп. Он злобно смерил их с ног до головы и вдруг плюнул себе в пальцы.

— Глупый твой вопрос, сорока-барыня. Копаем вот, ворочаем горбом своим, а оно — гроб...

— Выходит... стал-быть, капкан?..

— Могила...

— И никаких, стал-быть, ходов?

— Крышка!.. Беги не беги — капут, сорока-барыня...

Прокоп рванулся к нему с свирепой угрозой. Матвей даже опасливо отстранился и отшагнул к Никите.

— Ты чего тут, балда, кулацкую агитацию разводишь? Матюха!.. Вот эта братва покажет тебе могилу... Видишь, прут?.. Смяли твоих бородачей. Где они? Двое ушло, а напоролись на сотню. Куда сейчас пойдешь, борода? Буквально итти тебе некуда...

Толпа рабочих уже грохотала шагами по камням, немного растерянная. не зная, что делать в этой трупобе. По трапу спускались отставшие. Мирон пошел им навстречу и призывно поднял руку.

— Сюда, сюда шагай, товарищи!

Издали он был похож на водолаза.

— Прокоп, иди-ка, браток, гаркни Вихляева. Пусть он распорядится насчет расстановки сил.

До сих пор он чувствовал себя лишним среди этих бездельников, которые держались обособленно от него, с опаской, враждебно. Говорили они не с ним, а между собою, говорили по-деревенски основательно и бестолково. Они были глухи к нему, а у него не находилось нужных и близких слов, которые ухватили бы их за душу. Он был бессилен подчинить их себе, вовлечь их в работу, взволновать их порывом. Но личный его порыв не мог даже вспыхнуть, а Вихляев носится здесь, как призрак, и о нем забывают сейчас же. Дело не в личном порыве и не в налетах Вихляева. Эпидемии не лечат словами, а здоровый человек — враг для пораженных заразой. Дело — в строгой системе массового труда, в том, чтобы отдельная личность чувствовала себя захваченной шквалами согласованных сил, чтобы она переживала подлинный страх от одной мысли, что она может оторваться от множества и остаться сиротой среди пустоты.

И Мирон взволновался, когда увидел рабочих на перемычке: он даже пошел навстречу им, как только они спустились в котлован, хотя в этом не было надобности: люди шли к нему сами. Их гени метались по камням и скалам, уродовались и летали, как черные птицы.

Но по привычке сдерживать свои порывы, он остановился, и от этой борьбы с собою лицо его стало холодным и суровым.

Первый подбежал к нему Кольча, а за ним — кузнец из мастерской на шлюзовом канале Репей, с выпуклыми, дерзкими глазами.

— Ну, Мирон, вот и мы... — задыхаясь не то от какой-то радости, не то от быстрой ходьбы, пылко выдохнул Кольча. Лоб его с вертикальной вдавленной искрился потом. Ноздри раздувались, а губастый рот смачно растягивался, раздирая щеки. — Пятьдесят! Ударим что ли этаким горячим нажимом? Поди ж ты, какая оказия!.. Не котлован, а выеденный арбуз...

— Вездь чорт тебя дерит, Ватагин! — хлопнул себя по лбу Репей. — Совсем не узнал... Вот перелицевался! Вместо того, чтобы сидеть на вышке и возглавлять, ты размениваешься на мелкую монету.

— Чтобы возглавлять, надо быть вместе с массами. Осади, Репей!

— В том-то и дело, что массы-то вышли помимо тебя... Так не возглавляют масс. Надо именно возглавлять, а не трепаться в ногах. Умей руководить со своей колокольни.

«Он — не только пустоболт и бузотер... — отметил Мирон. — У него есть и неплохие мысли. Толкаться в толпе — не значит руководить. Руководить — это знать весь фронт, весь график работ. Он — прав».

— Давай-ка, Репей, оставим это до другого раза. Орудуй по своей линии.

Репей криво усмехнулся, махнул рукою и отшагнул назад. Он лез в словесную драку при каждом подходящем случае. В нем беспокойно и назойливо жил дух противоречия. Он был надоедлив и всегда возбужден: он только нападал — ведался, нахраписто, очертя голову. Всегда прислушивался, чутко вытягивал шею и нюхал остреньким носиком. Вероятно он и кличку — Репей — получил за эту свою слабость к спорам.

Мирон и виду не показал, что он взволнован приходом этого отряда рабочих, точно это было в порядке вещей. Он деловито, по-хозяйски, почти

небрежно оглядел толпу и сказал равнодушно, с ноткой недовольства.

— Сейчас будет Вихляев, ребята: он разведет по участкам.

Репей сейчас же вцепился в слова Мирона.

— Почему же — Вихляев? Мы пришли не для того, чтобы нами распорядился Вихляев. У тебя, Ватагин, неправильная установка: нельзя выпускать руководство из своих рук.

Мирон пошел на него, тускло смотря поверх его головы.

— Репей! Где твоя бригада?

— Верно! Что в самом деле за болтология!..

Рабочие густой массой сдвинулись вокруг Мирона, Кольчи и Репея и стали прислушиваться. Кто-то весело засмеялся от удовольствия.

— Этот Репей и здесь успел вцепиться в самую шерсть... Не человек, а заноза...

— Да ну его к чорту, этого Репья!.. Раз пришел работать, брось разводить антимонию... Умница!

Мирон встал на большой камень, негоровливо, затяжеленно, и выдержал паузу.

— Ну, так вот, товарищи, вы сами видите: котлован пустеет. Работы останавливаются. Нам нужно, с одной стороны, прекратить отлив сезонников, а с другой — взяться за дело основными рабочими кадрами. Не забывайте, что ответственность — только на нас. Огромная ответственность перед страной и партией. Вы первый отряд ударников, который осознал всю глубину опасности. Это — наше кровное дело и дело нашей классовой чести. Завтра должны быть мобилизованы уже не пятьдесят человек, а пятьсот, а послезавтра — пять тысяч. Мы должны поднять на ноги всех, кто работает на строительстве. Вовлеките в это движение жен и детей. Мне нечего раз'яснять вам, что такое этот наш прорыв в котловане: это значит, что если мы не очистим через месяц котлован и не заложим основания бычков, строительство будет выведено из строя, и мы не смоём этого позора никогда. Допустить этого нельзя. Ясно, кажется?

— Мы не уйдем отсюда, Ватагин, до победы! — нетерпеливо крикнул Коль-

ча и взмахнул своей кепкой. — Молодежь идет первой в рядах, первой будет на работе, но уйдет последней.

— Да что там толковать, ребята... Давайте начинать... Всегда у нас так: сначала начнут париться словами... измочалят друг друга вдрызг..., а как до дела — глаза таращут... Пора уж это сдать в музей брака...

— Слово — это дело. Верно! А ежели слово — барабан, брать за горло, как вольтыжника.

— Да товарищ Ватагин! ну мы работали дсселе восемь часов, будем работать шестнадцать... В чем дело?.. Давай!..

Крики рабочих, взволнованных и растревоженных, полыхнули в Мирона, как ветер. Он видел ярко освещенные проектором лица, горящие глаза и чувствовал их беззаветную готовность идти на всякие жертвы и сделать невозможное возможными.

...Кольча смотрел на мертвый лунный пейзаж, на деррики, краны и сандерсоны, застывшие в столбняке. Они точно ждали людей и изнывали в тоске, они звали к себе и стонали нутряными звонами. Тут одни крепчайшие монолиты, тут сотни тысяч кубометров гранитов, которые должны быть взорваны и выброшены отсюда десятками тысяч рабочих рук. Деревенские люди трусливо сбежали, раздавленные утесами. И вот он, Кольча, первый увидел и почувствовал, что природа берет в плен слабых людей, привыкших к голому мускульному труду. Эти люди всегда боялись природы. Он ходил по работам, наблюдал за котлованом и замечал, как угасала работа, как таяли людские массы, как останавливались машины и вода зеленела болотом: она будто чувствовала, как утекала живая сила людей, фильтровала жирнее и просасывала новые щели и норы на дне под перемышками и шандорами. И он решил бороться — броситься сюда целыми отрядами и бурным натиском произвести штурм на граниты. Это только может сделать комсомол — смелые, горячие головы ребят и упорная выдержка металлостов. Сейчас же поднять и взбунтовать людей — зажать их, чтобы кровь их забурлила в сердцах и мускулы напряглись бы, как тросы. Сегодня он весь день работал в

цеху с бурей в душе. Сердце замирало у него от ожидания обеденного перерыва. Вот он после сирены гаркнет на весь размах цеха и оглушит всех призывной речью. Он жил одним: он, Кольча, — впереди всех этих людей, они пойдут за ним, как за вождем, и они сделают чудеса — взорвут и разнесут все эти скалы и снесут пласты гранита на целую сажень глубины. И вот, люди пошли за ним... пусть еще мало... но люди пошли... Он взволновал и поднял их. Пусть их мало — завтра их будет больше. Если нужно, он умрет здесь, надорвется, но не отступит. Чорт се возьми, если они разобьют себе головы, — пусть дальше строят на их телах... И он на мгновение увидел себя на камнях окровавленным, изуродованным, — он принес себя в жертву ради победы... И люди, с красными знаменами, потрясенные, кланутся над его трупом выполнить то дело, к которому он звал. А Мирон скорбно и грозно показывает на него и кричит на весь размах работ:

— Вот он—наш Кольча... Он—пример для нас всех... Это—герой, это—самоотверженный энтузиаст...

Плачут девушки. Феня — впереди всех.

Он вскочил на камень рядом с Миронем и поднял обе руки. В правой трепыхалась засаленная кепка. Мокрые косяцы лоснились на лбу. От резких черных пятен на лице он казался суровым и постаревшим.

— Товарищи! Мы первые берем на себя всю тяжесть труда. Мы должны повести за собой тысячи или издохнуть. Мы пошли первыми и уйдем последними.

Он призывно потряс кепкой, слетел с камня и исчез в толпе.

Репей тоже вскочил на камень и рассудительно затараторил:

— Товарищи, по-моему, это — неправильная установка. Слишком много пустельги. Чувства — целое болото, а ума — с наперсток. Тут надо с плана начинать...

— Довольно!.. Слетай с трибуны!.. Словами ты орудуешь лобком... Знаем... Докажи, как ты камни будешь рвать... Не словами, Репей, эй!..

Шумели, смеялись, негодовали. А Репей напористо внушал фистулой:

— Товарищи, никто не может заткнуть мне глотки. Я нахожу принципиально неверной эту установку...

Но его кто-то толкнул сзади, и он кубарем слетел с камня.

Около Мирона стоял Вихляев и смотрел на толпу рабочих без всякого удивления, со скептическим равнодушием. Рабочие разбивались по группам, перекликались друг с другом, невнятно гомонили и смеялись. Кольча с двумя группами комсомольцев стоял уже готовый к работе. Он нетерпеливо рвался куда-то, но стоял настроенно и подтянуто, как дисциплинированный бригадир.

— Ну, Вихляев, вот вам пока рабочие руки. Расставьте их, где нужно. Завтра вечером нагрянем сюда погуще. Распоряжайтесь.

Вихляев исполнительно кивал головой и поглядывал на бригады.

— Слушаю-с.

И деловито распорядился:

— Одна бригада — здесь, а остальные — за мной...

И пошел по камням, размахивая полыми макинтоша. Рабочие двинулись за ним, хрустя сапогами по щебню.

Мирон внезапно увидел неподалеку от себя Репея, который смотрел на него обиженно, с гримаской уязвленного самолюбия.

— Вихляев, захватите еще одного парня... и поставьте его на щебень.

— Это что же, Ватагин? Командирские замашки? Я такой же партиец, как и ты.

— Вот потому, что ты партиец, тебя и необходимо приручить. Марш за Вихляевым.

— Тут — не военный режим. Не разоряйся.

— Репей! — гаркнул Мирон, бледнея. — Тут именно военный режим. Изволь быть примером для других.

Репей послушно зашагал за толпой.

Мужики попрежнему сидели на камнях и хмуfo смотрели на людей, которые ворвались в котлован. Матвей вздрагивающими пальцами завертывал новую цыгарку и следил за рабочими со скрытой усмешкой презрения: пусть, мол, попробуют поломать горбы на

камнях — это не то, что стоять у станка и сморкаться в платочек. Прокоп уже стоял в кучке комсомольцев, плечом к плечу с Кольчей, и опять был в своем веселом ударе. Он чувствовал себя среди парней как равный по возрасту и даже попробовал побороться с кем-то из них.

— Тут у нас эти вот индусы лодыря валяют. В деревне им Матрена житья не дает — и в хвост, и в гриву... А тут, вследствие индустриализации страны, машины страху нагоняют...

— Какие же это индусы? — засмеялся один из парней, еще мальчик, проверяя взглядом мужиков. — Только и есть, что наши колхозники.

— Потому и индусы, что не колхозники. У них Матрена — колхозница, а они — индусы.

Матвей молчал и брезгливо поглядывал на Прокопа из-под бровей. Он уже чувствовал себя отброшенным в сторону, чужим, лишним, но уйти не мог: слепое упрямство приковало его к месту. Если бы даже его и прогнали, он все равно остался бы здесь и не дал бы уйти мужикам.

— Ну, так как же, Матвей?.. — прохрипел задумавшись Никита. — Выходит, нам — отставка... Труба...

— Сиди! все едино лома тебе не утащить... Поглядим, как пролетары потрутся...

Миرون чувствовал себя бодро, приподнято, уверенно. Ему хотелось хлопотать, ворочать тяжести. Он распорядился стать комсомольцам на деррик, на подъем больших камней. Прокоп был прикреплен к Кольче, чтобы ввести бригаду в курс дела. С тремя ребятами Миرون отошел к вагонеткам. Недалеко у экскаватора уже возилась новая группа рабочих. По котловану опять кричали и звенели машины и уже слышно было, как поднимались новые волны труда. Певуче летали выкрики и смех. Кого-где опять задрезали перфораторы.

— Такелажник! — запел залихватно Прокоп и заиграл рукою. — Такелажник! Куда тебя черти зачихали? А то сам пойду на твое место... Эй, вольтышники!..

Кольча и комсомольцы возились с крюком над камнем.

— Лом сюда давай!.. Надо помочь ему в его полете... Эй, ты, лом! Подходи-ка сюда, милый человек.

Один из парней, плосколицый и курносый, подбежал к Никите и схватился за лом. У Никиты затряслась борода, и глаза осовели от ненависти.

— Не дам!.. Ищи себе другой лом... Ишь, прыткий какой на чужое добро!..

— Да чудак ты!.. — смущенно и озадаченно закричал парень. Он хотел рассердиться, но не удержался — захохотал. — Чудак ты, братуха! Сидишь над ломом, как собака над костью. Раз не работаешь, орудие отдай...

— Не отдам!.. Я ломом работаю...

— Ну, и иди, работай...

— Ну, и пойду... а нечего озорничать... Я вот сел... этак... одышка у меня... Сердце зашло маленько... а ты озоуешь, мозгляк...

Он вскочил с камня и зыбко засеменял к ребятам.

— Надо... этак... с ломом-то... уметь обращаться... А то налетели вороньем... а спорыньи нет...

И он утонул в куче молодежи.

— Ну-ка, ну-ка!.. Раз!.. еще разок!.. Поддавай, Никита!.. Молодец, милачок!.. — разливался Прокоп. Парни кряхтели и боролись с камнем врасос. — Так его... так!.. Эх, ты, пузатенький!.. Вира-а!..

Камень поднимался медленно и невесомо, и кружился на тресе, сверкая кристаллами на изломах. Все подняли головы и следили за его полетом.

— Давай другой!.. Подходи, ребята!.. Давай другой лом... Эй, где там другая Матрена?..

Прокоп увидел Матвея, и глаза его стали круглыми и злыми.

— Ну, ты, лодырь!.. а еще Матвеем называешься... Сейчас тебя на крюк насадим и — вира в полет... Тут, брат, лодырям места нет... Чучело!

— Это я-то лодырь?

— Ты-то... Недаром тебя Матрена в каталажке держала. А так как ты фактически лодырь — проваливай отсюда к чортовой матери... не воняй в наш воздух... да и вот этого трубоча захвати... А то, ей-право, ручательства не беру... На крюк и — на перемышку... Вы здесь вреднее камней — атмосферу гадите...

— Сам ты гад, сорока-барыня. Ты меня не гони, гы здесь — не хозяин...

— Молчи, индус... и без тебя обойдемся. Видишь, какие орлы? Мы тебе покажем, кто — хозяин. Один — не господин... Как в бою, так и в работе, умеи ответствовать за дело. Надо, чтобы дело в печонках пело. Во! А ты — дезертир. И потому ты — дезертир, что лодырь. Кто такой лодырь — изменник и дезертир фронта. Закон, брат, социализма.

Камень был огромный. Он не поддавался усилиям парней. Они напирали на него, и лица их набухали кровью. Никита кричал и задыхался, позвякивал ломом. Ребята весело и молодо орали.

— Давай, давай!.. Еще разок... А ну — разок!..

— Где же ломы? Куда вы их задевали, черти бородатые?

Мужик сосал трубку и был идольски нем и невозмутим. Лом лежал под его ногами, у камня, а он сидел и молчал.

Матвей стоял, как побитый. Пришли эти люди и раздавили его. Он и в деревне стал какой-то посторонний и потерял свое место в полях. Ну, придет он в деревню. Его спросят в сельсовете: почему ушел с работ? Тяжела работа, бесприютно и голодно. Ага, лодыря тынешь!

Он всю свою жизнь гнул горб — и у отца-покойника был единственным работником. как батрак, и у себя в хозяйстве, как проклятый, обломал кости и надорвал живот. И вдруг — лодырь. Даже мальчишки над ним издеваются. Значит, как ни считай себя дюжим, самосильным работником, но когда артель припаяла тебе лодыря — ты не спасешься. И защититься нечем. Жизнь изменила свои устои. Произойшла какая-то страшная передвижка во всем — и жизнь, и люди стали другие. И он, Матвей, стоит вот ненужный никому, презренный раб. Его тело можжит от труда. Он всю жизнь обречен был тянуть безнадежное тягло. Раньше один был хозяин, а теперь другой: артель — хозяин. И каждый из этих парней тоже чувствует себя силой и властью. А у него, Матвея, ноги приросли к земле, и некуда податься.

Он подошел к мужику с трубкой и уставился глазами в его ноги. Мужик

наступил на лом сапогами и равнодушно засопел трубкой.

Матвей молча изучал его, как чужого, потом нагнулся и протянул руку к его сапогам. Мужик устойчивее поставил сапоги на железо. Матвей вдруг выпрямился и ошалел от злобы. Он размахнулся и ударил мужика по уху. Мужик кувырнулся на щебенку. Трубка отлетела в сторону.

— Это ты чего же, Матвей?.. на своего брата?..

Матвей взял лом и деловито звякнул железом о камни.

— Ну-ка, сорока-барыня... поднимайся... (Он шоркнул сапогом по щебню.) Вот и трубку подбери... Воряга, сукин сын!.. струмент — под подошву, арап?.. Убью!..

Он сорвался с места, вскинул лом наотмащ и побежал к артели парней.

Мирон замер и инстинктивно бросился за Матвеем: еще мгновение — и железная палка раскроит череп Прокопу. Мужик без трубки сидел на щебне и беспомощно, по-женски, крикнул, как раненый:

— Ой, бож-же ж мой!.. что делается!..

Мирон не успел подскочить к Матвею и схватить его за руки. Лом сразмаху ткнулся под камень, и мужик почти с восторгом взревел с той радостью, которая бывает только в драке.

— Нажмем, арап! Так его, сорока-барыня! Наддай!..

— Дуй, дуй, борода! Живо! Вот это — так!.. Вот молодец, друг живой, вот это по-родному.

Прокоп поймал крюк и поддел им якорь.

— Вира!

И смотрел на Матвея, задыхаясь от утомления.

— Я, брат, раньше знал, что ты не подгадишь. Нутром чую человека, потому и за душу тебя цапал... любя...

И Матвей тоже смеялся, как слепой, не понимая, что происходит вокруг него.

Мужик с трубкой в зубах конфузливо вытирал руки о рубаху.

— Эх, леший тебя задеря!.. Не узнаешь, какая оказия бунтует в человеке. Думаешь, что человек пятится, а он, оказывается, — на кулаки. Думаешь, что он на душегубство идет, а глядишь —

человек на под'ем берет. Вот ведь какая вещь!

Мирон смеялся от волнения. Уже не было в нем обычной, сосредоточенной сдержанности.

— Ну, ребята, дело пошло на лад. Хорошо. Прокоп, орудуй с дерриком. А Матвей пойдет к крану за бригадира.

Матвей смущенно улыбался, крутил головой и ворочал сухим языком.

Прокоп уже смеялся попрежнему дурашливо, но добродушно.

— А все Матрена, подлая, кровь мужику растрвила. Хоть бы глазком ее повидать. Ну и баба!.. Что ж, товарищ Ватагин, придется распространиться с бригадирством... Думал, вот, мол, меня за бригадира поставят, а оно выходит—Матвей счастливее. Что ж. Матвей так Матвей... Мужик он, надо прямо сказать, сурьезный... ответственный мужик...

Сезонники, которые ушли с работ, неожиданно очутились около Матвея и конфузливо сморкались в ноги.

— Ты уж, Прокоп, пока здесь поработай—в помощь Матвею—подручным. А потом мы тебе поручим составить бригаду на бетоне.

— Точка, товарищ Ватагин. Есть. Я, как красноармеец, должен беспрекословно выполнить боевое задание.

Матвей вдруг строго прикрикнул на мужиков:

— Эй, вы! арапы! Чтобы по местам все... Позабавились, сорока-барыня.

И, не стесняясь их, ухмыльнулся в лицо Мирону.

— Не уйдут...

Он стал иным — строгим, сердитым, взыскательным, как привередливый хозяин.

— Не уйдут... Куда им к лешему уйти... совесть заест...

Никита и мужик с трубкой тоже хитренько улыбались и тянули ему в тон:

— Не уйдут... Разве это мыслимо... Где мы — там и они... Им места в бараке не найти...

VI

В открытое окно, как в раму, всунулось маленькое личико с остреньким носиком и рыжей щеточкой на подбородке. Выпуклые глаза в припущих веках брызнули смешливыми искорками. Че-

ловек был в серой кепке, надвинутой на лоб, и одет в чесучевую рубаху еще довоенного времени. Это—Игнатий Игнатьевич Шагаев, инженер, заведывающий техникой безопасности. Он давно уже привязался к Мирону и часто приходил к нему играть в шахматы.

— Вижу, что дома, Мироша. Знаю, что пришел из котлована. Сейчас зайду и двинем одну партию. Кстати знаю, что хочешь холоденького. Этим я тебя и подсеку. Держи, голубчик.

И он выхватил откуда-то из-за подоконника две бутылки пива. Бутылки были покрыты росой и ласкали глаз мокрой прохладой.

— Вот не во-время притащила тебя нелегкая, Игнатьич. Устал я чертовски. А ты бродишь, как бездельник.

— Дорогой мой, судьба интеллигенции трагична. Интеллигенция — бездомна, как беспризорник, и у нее никогда не было собственной подушки. Ей всегда приходилось стоять почтительно перед хозяевами, которые сидели в уютных креслах. Вот я и прихожу к тебе, чтобы опереться на незыблемое твое плечо. Ты — надежная ведущая сила, мудро шествующая по стезям истории. Ты — вождь, а вождь не ошибается. Вот тебе мой рапорт о преданности.

Он вскинул руку ко рту и выщелкнул большой палец. Склеротическое личико его морщилось воспаленной улыбкой. Обожженная солнцем кожа лоснилась, и искорки в глазах играли хитренькой, пронзительной улыбочкой.

— Ну, заходи... или лезь в окно. Тебе это все равно: ты — игла.

Они оба на мгновение укололись глазами, и оба засмеялись, как заговорщики.

Шагаев вошел незаметно, как призрак, и Мирон увидел его в тот момент, когда он зашелестел в комнате, как бумага. Колоди искорки в глазах, носик, воспаленный, красненький, шелушился и был нервно горяч, а тонкие мокрые губы кривились ехидной улыбочкой.

— Слышал, Мирон Васильевич? Наш хозяин созывает технический совет. Будет гроза: всем морды исковеркает. А наши спецы будут сопеть и даже высморкаться не посмеют. Ничтожный народец — обтрепыши, без-

дарная шваль, которая потеряла всякое былое величие. А посмотрел бы ты, как они держат себя друг с другом, в стенах кабинета: спесь, гонор, каждый пускает друг другу пыль в глаза, точно непризнанные гении. Уж несомненно мир погиб бы, а советская власть разлетелась бы в прах, если бы они оказались в гордой самоизоляции.

— Но ведь самоизоляция, Игнатьич, — особый вид самоубийства.

— Хуже. Самоубийство — это мгновенное и надежное исчезновение. Самоизоляция — это добровольное юридство. Гаже этого ничего нет.

Шагаев издевательски кривил судорогой губы и тыкал твердым загнутым вверх пальцем.

— Торчит этакий Симеон-столпник и гадит под себя. Думает, что олицетворяет собою свободный дух великой русской интеллигенции, а к нему подойти нельзя — весь протух от нечистот. Думает, что он утверждает надживненность святой нейтральности, а он — только всенародное чучело. Каждый мальчишка свистнет камешком, и эта надживненная нейтральность кувырнется вверх тормашками. Есть ядовитые словечки на языке интеллигенции: например рамоли, ну, еще кадавр, то есть этакое гнильцо. Вот этот рамоли и есть та тень трагического кадавра, который носит на фвражке значок былого величия и благородства.

— Ты — злой и мстительный бес, Игнатьич. Вероятно ты злословишь потому, что они, эти твои кадавры, здорово тебе насолили: не признали, должно быть, твоих талантов.

Судорога уродозала рот Шагаева, и воспаленная влага вскипала на губах и на красных веках. Он смеялся позмеиному, и казалось, что у него трепетал тоненький черный язычок.

— Вечная трагикомедия Моцарта и Сальери. Непризнанные гении всегда изображают из себя Манфредов. — этакя мировая скорбь от импогентности сил и скудости мысли... и всегда кончают гаденьким предагельством. Наши Манфреды — это каста, а кастовые мозги убоги: их горизонты — это заколдованный круг их мизерной замкнутости. И чем шире, чем огромнее размахи действительных, так сказать, об-

ективных горизонтов, тем истеричнее становится трагедия кастового человека. Он превращается в маньяка: ему кажется, что он в плену, что мир — тесен, что жизнь для него теряет всякий смысл. Фауст скулит пошленьким Анатемой, Манфред ведет себя, как последний смердящий сплетник и склочник. Ты смердящий сплетник и склочник. Ты прав, я тоже заражен ядом этакостового кадавра, но я хочу быть здоровым и бодрым и играть с тобою в шахматы.

— Ого, да ты, Игнатьич, — предатель... да еще предатель с принципом и темпераментом.

— В предательстве, Мироша, есть свой захватывающий героизм и энтузиазм

— Берегись, Игнатьич. Предатель — это тоже маньяк. Это — или мания места, или мания страха перед силой.

— Хо, милый! Ты поав с одной стороны. Настоящее предательство по существу очень принципиально. У Андреева Ивда-Искарлот — принципиальнее самого Иисуса. А всякий классовый перебежчик — это уже настоящий герой. Класс с мировыми идеалами отрицает касту, а каста в наших условиях неизбежно превращается в подпольный штаб заговорщиков.

Он вынул перочинный ножик, ввинтил штопор, всунул бутылку между коленами и со смачным взрывом вырвал пробку.

— Давай стакачки. Мироша. Ага! Немецкий язык. Ты упрям, друг. Но будь увенен, что ты не выучишь этакго языка. Блажь. Не выучишь. На кой чоот тебе немецкий язык? Я учил его десять лет, но ни читать, ни говорить не умею. Блажь. Зачем тебе немецкий язык?

— Для тебя. Игнатьич, немецкий язык был кастовой роскошью. А для меня — необходимость.

— Это здесь-то, среди расейской артели, необходимость? Уморил. С сезонниками что ли балаболить?

— Нет, Игнатьич, в Германии.

— Чего? В какой Германии? Будет тебе перед пивом-то живот надрывать. Революцию что ли в Германии хочешь делать?

— Вот именно. Наш опыт, моя школа там будут очень нужны. В управлении Главинжа есть одна немочка-стенографистка. Я ее вызволю для работы в парткоме, а по вечерам мы будем вести разговоры.

— В постели?

— Какой ты пошляк!

— Чудак ты, Мироша. Душа всякого языка — в его интимном лиризме, в его эмоциональности. Язык без постели — абстракция. Вон Кряжич, наша гордость, выдающийся гидротехник... женился на немке, чтобы вжиться в душу этого языка. Затынула перина, и немка плотоядно всосалась в него с чисто немецкой добродетелью.

Они выпили по стакану и осовело посмотрели друг на друга, наслаждаясь холодной свежестью и терпкой жженой горечью пива. Духота комнаты стала легче, и потолок как-будто поднялся выше. Рубахи их были мокры на спинах и подмышками. На углу стола Мирон разложил шахматный футляр, и глянцевого — черные и желтые — фигурки брызнули искрами.

— Ну, Мироша, последняя партия гобою была проиграна. Это знаменует неустойчивость твоего положения как вождя масс. Ты и сегодня в райкоме потерпел поражение.

— Ах, какой ты прозорливец, Игнатич! Ты живешь интуицией. А ведь интуиция — сова.

— Ну, нет-с, Мироша. Я — человек весьма реалистический. Моя роль охранителя трудовой безопасности сделала из меня трезвого муравья. Я имею дело только с фактами, а посему привержен к острой наблюдательности. Ты озабочен. Твой дух угнетен, ибо над левой бровью у тебя шевелится морщинка, которой не бывает при душевной ясности и равновесии.

Они замолчали и некоторое время передвигали фигуры. Шагаев напористо и рьяно орудовал конем. Так же молча и сосредоточенно они обменялись пешками. Мирон играл спокойно, равнодушно, без увлечения. Шагаев насвистывал арию шута из «Риголетто». Потом в ожидании хода Мирона выпил еще стакан и заговорил смешливо:

— Сезонник панически удирает со строительства, как трусливый солдат с

позиций. А лодыри лежат на брюхе в котлованах, в шлюзе, на комбинате и курят почему зря — все перемычки пропахли махоркой. Кряжич сегодня вихрем носился по участкам работ и бушевал, а его окружала толпа и с удовольствием надрывала животики. Но сегодня же он ураганом разметал все вещи у себя дома, разбил трельяж своей жены, а ее загнал в уборную, при чем эта буря бесновалась на немецком языке. Это лишний раз подтверждает, Мироша, что подлинная душа языка — в его эмоциональности.

— Ты — сплетник, Игнатич.

— Сплетник, это верно. Я, как подлинно живой человек, эмоционален. А сплетня — это беспокойная эмоция. Это — творчество. Художник слова — это талантливый сплетник. Да-с, большой во мне талант погибает.

— Несомненно. Сплетня — творчество уличное, она — от зависти.

— Ходи. Я тебе сегодня сделаю эффектный мат, Мироша. Неизбежно. Тебя обессиливает морщинка над левой бровью.

Опять долго молчали. Аоия шута надоедно сверлила уши, и Мирону хотелось прикрикнуть на Шагаева, но он сам инстинктивно подхватил этот мотив и стал вторить свисту. Игра становилась интересной и ответственной.

— Кряжич влюблен в Татьяну, влюблен бессильно и с негодованием. А ты влюблен в Феню — в желтоволосую девочку, которую ты раздавишь, как цыпленка. Но она все-таки задаст тебе перцу.

— Не пророчествуй, Игнатич. Ты болтаешь чепуху, как плохой конфетансье.

Но Мирон чувствовал, как голова его глухо налилась кровью.

— Мироша, не думай краснеть. Вождь не может и не должен краснеть. Бью твою конницу. Ты поигрываешь. Потому что краснеешь. Вождь и в ошибках своих должен быть прав и непогрешим. Понтифекс-максимус.

— Ну, еще посплетничай немножко, только не философствуй. У тебя это плохо выходит. Твоя дама сейчас погибнет. Вот до чего доводит сплетня.

— Я всегда жил и проживу без собственной женщины, особенно без нем-

ки. Я — художник и зав. техникой безопасности. Я превыше всего дорожу личной свободой. Наш начстрой Балеев в этом отношении цельный человек, хотя совершенно лишен воображения, поэтому дальше своего деловитого носа ничего не видит. Это — человек без слабостей, это — математик, у которого жизнь только преобразована в формулы и деловые планы. Отлив рабочей силы на строительстве, это для него — не общественно-экономический факт, а нарушение календарного плана. Ему нужно влюбиться, хотя и с опозданием. Впрочем, он уже влюблен... Балеев влюблен... Да-с, Мироша... влюблен...

— Это в кого же? Что за чушь!.. Об этом можно слышать только от тебя.

— Да-с, милачок... влюблен... влюблен... целомудренно влюблен...

Эти слова он пропел той же мелодией из «Риголетто», обдумывая ход.

— Ты — шут, Игнатъич, и как всякий шут, хитришь и играешь в невинность. Ты отличаешься кастовой скрытностью.

— Да, да-с... да, да-с... он в белку... он в белку-пленницу влюблен... Шах королю, Мироша. Видишь, насколько ты неустойчив? Будешь бит, ручаюсь избытком своей честности. Сегодня удирали целые артели каменоломов с травматическими повреждениями и с массовой симуляцией. Сезонник — мужичок: его потянула деревня, которая сейчас пахнет медом урожая. Колхозы нуждаются в рабочих руках и в квалифицированной силе. Берегись, Мироша, разгром несомненный...

— Это — не страшно, Игнатъич. Ты меня все хочешь встретить, как сплетник. Но в твоей сплетне есть что-то зловещее... ты таишь что-то под кофеем как опытный болтун.

Шагаев на мгновение оторвался от игры, и лицо его стало неврастенически-злым и желчно-пьяным. Он пристально прилип к лицу Мирона колючими зрачками и посмаковал горячую слюну на губах. Потом молча поднял руку и потыкал пальцем, тоже странно горячим, над головой Мирона. На мгновение в глазах его метнулся нетерпеливый, угрожающий намек. Мирон

ничего не понимал и с недоумением взглянул на его палец над своей головой, который настойчиво и раздраженно протыкал воздух. И вдруг глаза Шагаева опять заискрились остренькой улыбочкой потешника.

— Ты чего это колдуешь, Игнатъич? Ты даже в пустоте видишь интриги и зловещие тени.

— Урна Пандоры открылась, чтобы выпустить мрачные тени бедствий. А я, как сивилла, предсказываю и предупреждаю тревогу. Выпьем еще холодненького... для освежения сил... а?

Он засмеялся скрипучим хохотком, и глаза его налились кипящей влагой. Выпили.

— Ну-с, продолжаем игру. Я обдумывал сокрушительный ход, Мироша. Да-с, только сокрушительный ход. Шлохи твои дела — неотвратимая на тебя движется катастрофа. Берегись — сивилла не лжет. Сегодня у нас произошло самовзрывание окисилквитов в средней камере шлюза. Один рабочий был брошен в небеса и оросил землю мясным дождем и кишками.

— Ты хоть бы под руку не говорил мне таких вещей, Игнатъич. Ты это говоришь, как жуликоватый игрок, чтобы сбить меня с твердой позиции. Это тебе не удастся. Попробуй смутить меня чем-нибудь похлеще. Самовзрывание окисилквитов происходит не только на нашей советской почве. Это часто бывает и в зарубежных строительствах. У нас это — не первый раз. Ты забывчив. Тебя надо подтянуть. Где же твоя безопасность?

Шагаев опять захихикал с хитренькой судорогой в лице.

— Радуюсь твоей выдержке, Мироша. Сразу видно испытанного бойца. Но при чем же здесь техника безопасности? Нужно греть химиков. До сих пор они разводят руками и сконфуженно боомочут: причины выяснить не удастся. Но почему оказался песочек в двух кранах — этого я понять не могу.

Не отрывая глаз от фигурок, Мирон пробормотал рассеянно:

— Ну, тут уж, Игнатъич, очевидное вредительство.

— Да-с, Мироша. Очень люблю я мелочи жизни. Я творю из них малень-

кие новеллы для собственного удовольствия. Так например я сегодня толкался среди бетонщиков и убедился в их трогательной осведомленности насчет качества бетона на бычках. Консистенция бетона такова, что кое-какие бычки придется взрывать.

— То-есть, как это взрывать?

— А так. Самым обыкновенным образом. Высверлят бурки и вложат туда патроны с окисилквитом, подпалят шнуры и слой за слоем будут взрывать отвердевший бетон. Бычки — в пузырях и трещинах.

— Это — Кряжич?

— Кряжич — чудесный инженер, с всесоюзным именем. Но как ты мало знаешь своих коммунистов! На комбинате есть инженер Хабло.

— Знаю. Он немножко хамоват. Его ненавидят мостовики. Я возьмусь за его воспитание.

— По-моему, он такой же инженер, как я — факир. Хочешь, я разоблачу его в твоём присутствии? Люблю острые положения. Во всякой комедии есть свой драматический пафос. В этом то и состоит вся соль настоящей жизни.

— Ну, ты плетешь какой-то вздор.

— Стоп, Мироша. Ты что это сделал с фигурами?

— Играл на выдержку и холодный расчет. Мат, Игнатич.

Они оба влипли друг другу в глаза и застыли, как в столбняке.

— Мироша, тебе надо сблизиться с Балеевым. А то Викентий Михайлович тоскует по дружбе, и все запасы своих чувств переносит на белку. Он очень с ней нежен.

Он неожиданно взял руку Мирона, и лицо его стало жалким и болезненно переутомленным. Глазки затуманились слезами, и в них дрожали мольба, собачья привязанность и тоска.

— Я—человек маленький, Мироша. И в жизни своей никогда не имел близкого человека. Ты—единственный, с которым я не могу кривить душой. Ты обогрел меня, а в наше жестокое время—это взять душу на ладошку. В среде инженеров я—изгой. Они меня не допускают к порогу. А я только—наивен, потому что честен. Ты поддержи меня в тяжелую минуту... А эта мину-

та может обрушиться каждый день. Среди них есть только два человека, к которым я могу подойти без опаски, это—геолог Борзый и архитектор Митрохин.

Мирон встал и пристально оглядел его, точно заметил в нем что-то новое и опасное.

— Игнатич, брось, я не сомневаюсь в твоей честности и дружбе.

Шагаев вдруг вскочил со стула и ошаршил Мирона: он обнял его и погладил по спине. Дыхание у него хрипело и рвалось.

— Мироша, голубчик! Я сегодня не в себе. Я расскажу тебе... но не сейчас... Есть многое на нашем свете, друг Го-рацио...

И он так же неожиданно и ошеломительно выбежал из комнаты. Мирон смотрел на полуоткрытую дверь, где во мраке разинутой пустоты еще дымилась фигура Шагаева, и чувствовал смутную тревогу в сердце. Она ныла волнами и наплывала болью предчувствия. Этот издерганный человек всегда приносит с собой какой-то тлетворный дух истерического угара. Он весь воспален, и мир в его мозгу теряет свою обычность: коверкаются перспективы, кувыркается время, и люди, и дела их теряют всякий реальный смысл. Кажется, что после себя он оставил бредовые тени, и они шмыгают во тьме прихожей, за полуоткрытой дверью и здесь, в комнате, в затемненных углах, под столом и кроватью. Вот такие люди, как этот нелепый Игнатич, всегда сбивают с толку и путают мысли здоровых и уравновешенных людей. От них—и бес-толочь, и слухи, и сплетни, и паника. Вероятно Шагаев многолетней своей работой по охране безопасности просто стал маньяком: во всем—и в поступках людей, и в вещах, и в трудовых процессах—ему мерещатся пугающие призраки. он во всем видит опасность, и эта мания не дает ему покоя.

Чорт с ним, надо заняться немецким языком. Мирон притворил дверь и пошел к столу. Шаги его хрустели тоже тревожно и отдавались внутри необычным беспокойством.

Для него занятие немецким языком было всегда большим удовольствием. Эта муштровка памяти, бодряя хло-

потня с расшифровкой незнакомых, немножко суровых слов, не поддающихся скороговорке, захватывали его. И он всегда с сожалением, но удовлетворенно откладывал книжки в сторону и вставал с очищенной от дневного напряжения головой. Это был хороший душ для его мозгов. И всегда, как только он увлекался работой, он по неуловимым ассоциациям представлял себя в Берлине, в Эссене, в Гамбурге, которых он никогда не видел, и там, среди потомственных рабочих, выступал как парторганизатор с огромным опытом и авторитетом. Вот он появляется на трибуне перед многочисленной массой где-нибудь в Люстгартене или в огромном цирке.

Его встречают овациями, которые бурей потрясают стены, и он долго не может произнести первых призывных слов, которые всегда гремят как колокола.

За окном густой ночью чернела тьма. По дороге шаркали шаги, и где-то рядом гомонили голоса, точно люди говорили на незнакомом языке. Где-то очень далеко мурлыкала гармоника. И где-то, тоже очень далеко, красивая и печальная песня вспоминала о чем-то незабвенном, что желанной болью будет дышать в душе до конца жизни. Должно быть песня мечтала о любви. Огни на горе, у клуба и на поселке тоже задумчиво трепетали и тоже пели о чем-то далеком... вероятно о будущем.

(Продолжение следует).

Пролог к поэме

БРУНО ЯСЕНСКИЙ

Героическим русским рабочим, впервые показавшим мировому пролетариату, как надо драться и побеждать в борьбе за власть, посвящает автор эти первые стихи, написанные им на русском языке.

Я много стран
 сменял,
 как паспорта.
Как зубы, выбитые
 в свалке демонстрации,
Я выплюнул
 из окровавленного рта
Слова:
 «земляк»,
 «отечество»
 и «нация».
Учился петь
 гимн
 классовой войны
На языке рабочих
 той страны,
В которой
 приходилось
 драться.
Я брал слова,
 которые
 обоймами
Вошли б
 в зарядные коробки черных рук.
Искал таких,
 чтобы,
 с поличным пойманный,
Знать,
 что не вырвут их
 и не сотрут.
Менял язык,
 чтоб их промчать скорей
Сквозь строй годов,
 тех,
 что еще не пройдены,

Чтоб пулями
 пропели
 на заре...
Пока меня
 месяц Пуанкаре
Не вышвырнул
 из своей тухлой родины.
И вот,
 шагнув
 через грудь знойных лет
Туннелью трюма,
 в пассажирской гуще,
Зажав в руке
 помятый
 партбилет —
Вселенский паспорт
 с визою в грядущее, —
Без уэллсовских машин
 и дикпурьерских виз,
Но с ветром времени,
 в ушах еще звенящим,
Как входят в дом,
 вошли мы в социализм, —
Грядущий день,
 к которому рвались, —
В Стране Советов
 ставший
 настоящим.
На стройке дней,
 леса вздыбившей вверх.
Готовой
 скоро
 небо подпереть ими,
Хочу,
 чтоб голос мой
 взывал к борьбе

За темп,
 за план,
 за эстафетный бег
Миллионов
 в перегонку с пятилетиями!
Чтоб стих мой,
 не разбавленный никем,
Для армии
 здесьних
 стойких
 поколений

Ключом воды студеной
 бил в песке, —

Хочу
 и выучусь
 писать на языке,
Которым
 говорил с ней
 Ленин.

Поднятая целина

Роман

М. ШОЛОХОВ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В конце января, овеванные первой оттепелью, хорошо пахнут вишневые сады. В полдень где-нибудь в затишке (если пригревает солнце) грустный, чуть внятный запах вишневой коры понимается с пресной сыростью талого снега, с могучим и древним духом проглянувшей из-под снега, из-под мертвой листвы земли.

Тонкий многоцветный аромат устойчиво держится над садами до голубых потемок, до поры, пока не просунется сквозь голызины ветвей крытый прозеленью рог месяца, пока не кинут на снег жирующие зайцы опущенные крапины следов...

А потом ветер принесет в сады со степного гребня горчайшее дыхание опаленной морозами полыни, заглохнут дневные запахи и звуки, и по чернобылу, по бурьянам, по выцветшей на стернях брице, по волнистым буграм зяби, неслышно, серой волчицей придет с востока ночь, как следы, оставляя за собой по степи выволочки сумеречных теней.

По крайнему в степи проулку январским вечером 1930 года вехал в хутор Гремячий Лог верховой. Возле речки он остановил усталого, курчаво заиневшего в пахах коня, спешился. Над чернетью садов, тянувшихся по обеим сторонам узкого проулка, над островами тополевых левад высоко стоял ущербленный месяц. В проулке было темно и тихо. Где-то за речкой голосисто подвывала

собака, желтел огонек. Всадник жадно хватнул ноздрями морозный воздух, неспеша снял перчатку, закурил, потом подтянул подпругу, сунул пальцы под потник и, ощутив мокрое горячее тепло запотевшей конской спины, ловко вкинул в седло свое большое тело. Мелкую, незамерзающую и зимой речушку стал переезжать вброд. Конь, глухо звякая подковами по устилавшим дно голышам, на ходу потянулся было пить, но всадник заторопил его, и конь, ёкая селезенкой, выскочил на пологий берег.

Заслышав встречу себе говор и скрип полозьев, всадник снова остановил коня. Тот на звук сторожко двинул ушами, повернулся. Серебряный нагрудник и окованная серебром высокая лука казачьего седла, попав под лучи месяца, вдруг вспыхнули в темени проулка белым, разящим блеском. Верховой кинул на луку поводья, торопливо надел до этого висевший на плечах верблюжьей шерсти казачий башлык, закутал лицо и поскакал машистой рысью. Миновал подводу, он попрежнему поехал шагом, но башлыка не снял.

Уже в'ехав в хутор, спросил у встречной женщины:

— А, ну, скажи, тетка, где тут у вас Яков Островнов живет?

— Яков Лукич-то?

— Ну, да.

— А вот за тополем его курень, крытый черепицей, видите?

— Вижу. Спасибо.

Возле крытого черепицей просторного куреня спешился, ввел в калитку коня и, тихо стукнув в окно рукоятью плети, позвал:

— Хозяин! Яков Лукич, выйди-ка на час.

Без шапки, сюртук—внапашку, хозяин вышел на крыльцо, всматриваясь в приежжего, сошел с порожек.

— Кого нелегкая принесла? — улыбаясь в седеющие усы, спросил он.

— Не угадаешь, Лукич? Ночевать пускай. Куда бы коня поставить в теплое?

— Нег. дорогой товарищ, не призначу. Вы не из рика будете? Не из земотдела? Что-то угадываю... Голос ваш, сдается мне, будто знакомый...

Приезжий, морща улыбочкой бритые губы, раздвинул башлык.

— Половцева помнишь?

И Яков Лукич вдруг испуганно озирнулся по сторонам, побледнел, зашептал:

— Ваше благородие!.. Откель вас?.. Господин есаул!.. Лошадку мы зараз определим... Мы в конюшню... Сколько лет-то минуло...

— Ну-ну, ты потише! Времени много прошло... Попонка есть у тебя? В доме у тебя чужих никого нет?

Приезжий передал повод хозяину. Конь, лениво повинувшись движению чужой руки, высоко задирая голову на вытянутой шее и устало волоча задние ноги, пошел к конюшне. Он звонко стукнул копытом по деревянному настилу, есхрапнул, почуяв обжитый запах чужой лошади. Рука чужого человека легла на его хруп, пальцы умелые и бережно освободили натертые десны от пресного железа удилов, и конь благодарно припал к сену.

— Подпруги я ему отпустил, нехай постоит оседланный, а трошки охолонет, — тогда расседлаю, — говорил хозяин, заботливо накидывая коня находившей попонкой. А сам, ошупав седловку, уже успел определить по тому, как была затянута чересподушечная подпруга, как до откату свободно распушена соединяющая стремленные ремни скошевка, что гость приехал издалека и за этот день сделал немалый пробег.

— Зерно-то водится у тебя, Яков Лукич?

— Чудок есть. Напоим, дадим зернца. Ну, пойдёмте в куреня, как вас теперича величать, и не знаю... По-старому — отвык и в роде неудобно... — Не-

ловко улыбался в темноте хозяин, хотя и знал, что улыбка его не видна.

— Зови по имени, отчеству. Не забыл? — отвечал гость, первый выходя из конюшни.

— Как можно! Всю германскую вместе сломали и в эту пришлось... Я об вас часто вспоминал, Александр Анисимович. С этих пор, как в Новороссийском расстрелялись с вами, и слуху об вас не имели. Я так думал, что вы в Турцию с казаками уплыли.

Вошли в жарко натопленную кухню. Приезжий снял башлык и белого курпя папаху, обнажив могучий угловатый череп, прикрытый редким белесым волосом. Из-под крутого, волчьего склада, лысеющего лба он бегло оглядел комнату и, улыбочиво сощутив светлоголубые глазки, тяжко блестевшие из глубоких провалов глазниц, поклонился сидевшим на лавке бабам — хозяйке и снохе.

— Здорово живете, бабочки!

— Слава богу, — сдержанно ответила ему хозяйка, выжидательно, вопрошающе глянув на мужа: «Что это, дескать, за человека ты привел и какое с ним нужно обхождение?»

— Соберите повечерять, — коротко приказал хозяин, пригласив гостя в горницу к столу.

Гость, хлебая щи со свиной, в присутствии женщин вел разговор о погоде, о сослуживцах. Его огромная, будто из камня тесаная нижняя челюсть трудно двигалась; жевал он медленно, устало, как приморенный бык на лежке. После ужина встал, помолился на образа в запыленных бумажных цветах и, стряхнув со старенькой, тесной в плечах толстовки хлебные крошки, проговорил:

— Спасибо за хлеб-соль, Яков Лукич! Теперь давай потолкуем.

Сноха и хозяйка торопливо приняла со стола, повинувшись движению бровей хозяина, ушли в кухню.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Секретарь райкома партии, подслеповатый и вялый в движениях, присел к столу, искося посмотрел на Давыдова и, жмурясь, собирая под глазами мешковатые складки, стал читать его документы.

За окном, в телефонных проводах, свистал ветер. на спине лошади, привязан-

ной недоуздом к палисаднику, по самой кабаржине кособоко прогуливалась и что-то клевала сорока. Ветер заламывал ей хвост, поднимал на крыло, но она снова садилась на спину старчески изможденной, ко всему безучастной кляче, победно вела по сторонам хищным глазом. Над станицей низко летели рваные хлопья облаков. Изредка в просвет косо ниспадали солнечные лучи, вспыхивал по-летнему синий клочок неба, и тогда видневшийся из окна изгиб Дона, лес за ним и дальний перевал с крохотным ветряком на горизонте обретали волнующую мягкость рисунка.

— Так ты задержался в Ростове по болезни? Ну, что ж... Остальные восемь двадцатипяти тысячников приехали три дня назад. Митинг был. Представители колхозов их встречали.— Секретарь думает пожелал губами: — Сейчас у нас особенно сложная обстановка. Процент коллективизации по району — 14,8. Все больше ТОЗ. За кулацко-зажиточной частью еще остались хвосты по хлебозаготовкам. Нужны люди. Оч-чень! Колхозы посылали заявки на сорок трех рабочих, а прислали вас только девять.— И из-под припухлых век как-то по-новому, пытливо и долго, посмотрел в зрачки Давыдову, словно оценивая, на что способен человек.

— Так ты, дорогой товарищ, стало быть, слесарь? Оч-чень хорошо! А на Путиловском давно работаешь? Кури.

— С демобилизации. Девять лет.— Давыдов протянул руку за папирсой, и секретарь, уловив взглядом на кисти Давыдова тусклою синеву татуировки, улыбнулся краешками отвислых губ.

— Краса и гордость? Во флоте был?

— Да.

— То-то вижу якорек у тебя...

— Молодой был, знаешь... с зеленью и глупой, вот и вытравил... — Давыдов досадливо потянул книзу рукав, думая: «Эка, глазастый ты на что не надо. А вот хлебозаготовки-то едва не просмотрел!»

Секретарь помолчал и как-то сразу согнал со своего болезненно одутловатого лица ничего незначащую улыбку гостеприимства.

— Ты, товарищ, поедешь сегодня же в качестве уполномоченного райкома

проводить сплошную коллективизацию. Последнюю директиву крайкома читал? Знаком? Так вот, поедешь ты в гремяченский сельсовет. Отдыхать уж после будешь, сейчас некогда. Упор — на 100-процентную коллективизацию. Там есть карликовая артель, но мы должны создать колхозы-гиганты. Как только организуем агитколхозы, пришлем ее и к вам. А пока едешь и на базе осторожного ущемления кулачества создавай колхоз. Все бедняцко-средняцкие хозяйства у тебя должны быть в колхозе. Потом уж создадите и обобщественный фонд на всю площадь колхозного посева в 1930 г. Действуй там осторожно. Средняка ни ни! В Гремячем — партиячка из трех коммунистов. Секретарь ячейки и гредседатель сельсовета — хорошие ребята, красные партизаны в прошлом, — и спать пожелал губами, добавил: — со всеми вытекающими отсюда последствиями. Понятно? Политически малограмотны, могут иметь промахи. В случае, если возникнут затруднения, едешь в район. Эх! телефонной связи еще нет, вот что плохо. Да, еще: секретарь ячешки там краснознаменец, резковат, весь из углов и... все острые.— Секретарь побарабанил по замку портфеля пальцам и, видя, что Давыдов встает, с живостью сказал:

— Обожди, еще вот что: ежедневно коннонарочным или сводки, подтяни там ребят. Сейчас зайти к нашему завсору и едешь. Я скажу, чтобы тебя отправили на риковских лошадях. Так вот, гони вверх до ста процент коллективизации. По проценту и будем расценивать твою работу. Создадим гигант-колхоз из восемнадцати сельсоветов. Какое? Сельскохозяйственный Краснопутиловский, — и улыбнулся самому понравившемуся сравнению.

— Ты что-то такое мне говорил насчет осторожности с кулаком. Это как надо понимать? — спросил Давыдов.

— А вот как, — секретарь покровительственно улыбнулся, — есть кулак, выполнивший задание по хлебозаготовкам, а есть — упорно невыполняющий. Со вторым кулаком дело ясное: 107-ю статью ему и — крышка. А вот с первым сложнее. Как бы ты примерно с ним поступил?

Давыдов подумал...

— Я бы ему — новое задание

— Это здорово! Нет, товарищ, так не годится. Этак можно подорвать всякое доверие к нашим мероприятиям. А что скажет тогда середняк? Он скажет: «Вот она какая, советская власть! Туда-сюда мужиком крутит». Ленин нас учил серьезно учитывать настроения крестьянства, а ты говоришь «вторичное задание». Это, брат, мальчишество.

— Мальчишество? — Давыдов побавровел, — Сталин, как видно... ошибся, по-твоему, а?

— При чем тут Сталин?

— Речь его читал на конференции марксистов, эгих, как их... Ну, вот земельным вопросом они, да как их, чорт? Ну, земельных что ли!

— Аграрников?

— Вот-вот!

— Так что же?

— Спроси-ка «Правду» с этой речью. Управдел принес «Правду». Давыдов жадно шарил глазами.

Секретарь, выжидательно улыбаясь, смотрел ему в лицо.

— Вот. Это как?.. «...раскулачивания нельзя было допускать, пока мы стояли на точке ограничения...» Ну, и дальше... да вот: «А теперь? Теперь другое дело. Теперь мы имеем возможность повести решительное наступление на кулачество, сломить его сопротивление, ликвидировать его как класс...» Как класс, понял? Почему же нельзя дать вторично задание по хлебу? Почему нельзя совсем его — к ногтю?

Секретарь смахнул с лица улыбку, по-серьезней.

— Там дальше сказано, что раскулачивает бедняцко-средняцкая масса, идущая в колхоз. Не так ли? Читай.

— Эка ты!

— Да ты не «экай»! — озлобился секретарь, и даже голос у него дрогнул. — А ты что предлагаешь? Административную меру для каждого кулака без разбора. Это — в районе, где только 14 проц. коллективизации, где середняк пока только собирается идти в колхоз. На этом деле можно в момент свернуть голову. Вот такие приезжают, без знания местных условий... — Секретарь сдержался и уже тише продолжал. — Дров с такими воззрениями ты можешь наломать сколько хочешь.

— Это как тебе сказать...

— Да уж будь спокоен! Если бы необходимо и своевременна была такая мера, крайком прямо приказал бы нам: «Уничтожить кулака!..» И по-жа-луй-ста! В два счета. Милиция, весь аппарат к нашим услугам...

А пока мы только частично, через нарсуд, по 107-й статье караем экономически кулака — укрывателя хлеба.

— Так что же, по-твоему, батрачество, беднота и середняк против раскулачивания? За кулака? Вести-то их на кулака надо?

Секретарь резко щелкнул замком портфеля. сухо сказал:

— Тебе угодно по-своему истолковывать всякое слово вождя, но за район отвечает бюро райкома, я персонально Потрудись там, куда мы тебя посылаем, проводить нашу линию, а не изобретенную тобой. А мне, извини, дискутировать с тобой некогда. У меня, помимо этого дела, — и встал.

Кровь снова густо прихлынула к щекам Давыдова, но он взял себя в руки. сказал:

— Я буду проводить линию партии, а тебе, товарищ, рубану напрямки, по-рабочему: твоя линия ошибочная, политически неправильная, факт!

— Я отвечаю за свою... А это, «по-рабочему» — старо, как...

Зазвенел телефон. Секретарь схватил трубку. В комнату начал сходить народ, и Давыдов пошел к заворгу.

«Хромает он на правую ножку.. Факт! — думал он, выходя из райкома. — Почитаю опять всю речь аграрника, неужели я ошибаюсь? Нет, братишка, извини! Через твою терпимость веры ты и распустил кулака. Еще говорили в окружке: «дельный парень», а за кулаками — хлебные хвосты. Одно дело ущемлять, а другое — с корнем его как вредителя. Почему не ведешь массу?» — мысленно продолжая спор, обращался он к секретарю. Как всегда, наиболее убедительные доводы приходили после Там, в райкоме, он в горячах, волнуясь хватал первое попавшееся под руку возражение. Надо бы похладнокровней. Он шел, шлепая по замерзшим лужам, спотыкаясь о смерзки бычьего помета на базарной площади.

— Жалко, что кончили скоро, а то бы я тебя прижал, — вслух проговорил Давыдов и досадливо смолк, видя, как по-

встречавшаяся женщина проходит мимо него с улыбкой.



Забежав в «Дом казака и крестьянина», Давыдов взял свой чемоданчик и, вспомнив, что основной багаж его, кроме двух смен белья, носков и костюма, это — отвертки, плоскогубцы, рапила, крейц-мессель, кронциркуль, шведский ключ и прочий немудрый инструмент, принадлежащий ему и захваченный из Ленинграда, улынулся. «Чорта с два его использую! Думал, может-быть, в колхозе окопаться и придется какой ни на есть тракторишко подлечить, а тут и тракторов-то нет. Так, должно быть, и буду мотаться по району уполномоченным. Подарю какому-нибудь колхознику-кузнецу, прах его дери» — решил он, бросая чемодан в сани.

Сытые, овсяные лошади рика легко понесли тавричанские сани со спинкой, крикливо окрашенной пестрыми цветами. Давыдов озяб, едва лишь выбрались за станицу. Он гнетно кутал лицо в потерый барашковый воротник пальто, нахлобучивал кепку: ветер и сырая изморозь проникали за воротник, в рукава, знобили холодом. Особенно мерзли ноги в скороходовских стареньких ботинках.

До Гремячего Лога от станицы 28 километров безлюдным гребнем. Бурый от подтаявшего помета шлях лежит на вершине гребня. Кругом — не обнять глазом — снежная целина. Сбочь жалко горбятся засыпанные макушки чернобыла и татарника. Лишь со склонов балок суглинистыми глазищами глядит на мир земля; снег не задержался там, сдуваемый ветром, зато теклины балок и чогов доверху завалены плотно осевшими сугробами.

Давыдов долго бежал, держась за грядущку саней, пытаясь согреть ноги, потом вскочил в сани и, пригаившись, задремал. Повизгивали подреза полозьев, с сухим хрустом вонзались в снег шипы лошадиных подков, позванивал валец у правой дышловой. Иногда Давыдов из-под запущенных инеем век видел, как фиолетовыми зарницами вспыхивали на солнце крылья стремительно поднимающихся с дороги грачей. и снова сладкая дрема смежала ему глаза.

Он проснулся от холода, взявшего в

тиски сердце, и, открыв глаза, сквозь блещущие радужным разноцветьем слезинки увидел холодное солнце, величественный простор безмолвной степи, свинцово-серое небо у кромки горизонта и на белой шапке кургана невдалеке — рдяно-желтую, с огнистым отливом лису. Лиса мышковала. Она становилась в дыбки, извиваясь, прыгала вверх и, падая на передние лапы, рыла ими, окутывалась сияющей серебряной пылью, а хвост ее, мягко и плавно скользя, ложился на снег красным языком пламени.

В Гремячий Лог приехали перед вечером. На просторном дворе сельсовета пустовали пароконные сани. Возле крыльца, покуривая, толпилось человек семь казаков. Лошади с шершавой, смерзшейся от пота шерстью остановились около крыльца.

— Здравствуйте, граждане! Где тут конюшня?

— Доброго здоровья, — за всех ответил пожилой казак, донеся руку до края заячьей папахи. — Конюшня, товарищ, вон она, которая под камышом.

— Держи туда, — приказал Давыдов кучеру и соскочил с саней, приземистый, плотный. Растирая щеки перчаткой, он пошел за санями. Казаки тоже направились к конюшне, недоумевая, почему приезжий, по виду служащий, говорящий на жесткое российское «г», идет за санями, а не в сельсовет.

Из конюшенных дверей теплыми клубами валил навозный пар. Риковский кучер остановил лошадей. Давыдов уверенно стал освобождать валец от постромочной петли. Толпившиеся возле казаки переглянулись. Старый в белой бабьей шубе дед, соскребая с усов сосульки, лукаво прижмурился.

— Гляди, брыкнет, товарищ!

Давыдов, освободивший из-под репицы конского хвоста шлею, повернулся к деду, улыбаясь почернелыми губами, выказывая при улыбке нехватку одного переднего зуба.

— Я, папаша, пулеметчиком был, и на таких лошадаках мотался!

— А зубато нет, случаем не кобыла выбила? — спросил один черный, как грач по самые ноздри заросший курчавый бородой. Казаки беззлобно засмеялись, но Давыдов, проворно снимая хомут, отшутился:

— Нет, зуба лишился давно, по пьяному делу. Да оно и лучше: бабы не будут бояться, что укушу. Верно, дед?

Шутку приняли, и дед с притворным сокрушением покачал головой.

— Я, парень, откусался. Мой зуб-то уж какой год книзу глядит...

Чернобородый казак ржал косячным жеребцом, разевая белозубую пасть, и все хватался за красный кушак, туго перетянувший чекмень, словно опасаясь, что от смеха рассыплется.

Давыдов угостил казаков папиросами, закурил, пошел в сельсовет.

— Там, там председатель, иди. И секретарь нашей партии там, — говорил дед, неотступно следуя за Давыдовым. Казаки, в две затяжки поглощая папиросы, шли рядом. Им шибко понравилось, что приезжий не так, как обычно кто-либо из районного начальства: не соскочил с саней и мимо людей, прижав портфель, в сельсовет, а сам начал распрягать коней, помогая кучеру и обнаруживая давнишнее умение и сноровку в обращении с конем. Но одновременно это и удивляло.

— Как же ты, товарищ, не гребуешь с коньми вожжаться? Разве ж это, скажем, служащего дело? А кучер на что? — не вытерпел чернобородый.

— Это нам дюже чудно, — откровенно признался дед.

Ответить Давыдов не успел.

— Да он — коваль! — разочарованно воскликнул молодой желтоусый казачишка, указывая на руки Давыдова, покрытые на ладонях засвинцованной от общения с металлом кожей, с ногтями в застарелых рубцах.

— Слесарь, — поправил Давыдов. — Ну, вы чего идете в совет?

— Из интересу, — за всех отвечал дед, останавливаясь на нижней ступеньке крыльца. — Любопытствуем, из чего ты к нам приехал? Ежели обратно по хлебозаготовкам...

— Насчет колхоза.

Дед протяжно и огорченно свистнул, первый повернул от крыльца.

Из низкой комнаты остро пахло кислым теплом оттаявших овчинных полушубков и дрявнющей золой. Возле стола, подкручивая фитиль лампы, лицом к Давыдову стоял высокий прямоплечий человек. На задижной рубахе его черво-

нел орден Красного знамени. Давыдов догадался, что это и есть секретарь гремяченской партиячки.

— Я — уполномоченный райкома. Ты — секретарь ячейки, товарищ?

— Да, я секретарь ячейки Нагульнов Садитесь, товарищ, председатель совета сейчас придет. — Нагульнов постучал кулаком в стену, подошел к Давыдову. Был он широк в груди и по-кавалерийски клещеног. Над желтоватыми глазами его с непомерно большими, как смолой налитыми, зрачками срослись разлтые черные брови. Он был бы красивой неброской, но запоминающейся мужественной красотой, если бы не слитком хищный вырез ноздрей небольшого скопцеватого носа, не мутная наволочь в глазах.

Из соседней комнаты вышел плотный казачок в козьей серой папахе, сбитой на затылок, в сюртуке из шинельного сукна и казачьих с лампасами шароварах, вобратых в белые шерстяные чулки.

— Это вот и есть председатель совета Андрей Разметнов.

Председатель, улыбаясь, пригладил ладонью беселье и курчеватые усы, с достоинством протянул руку Давыдову.

— А вы кто такой будете? Уполномоченный райкома? Ага. Ваши документы... Ты видал, Макар? Вы, должно быть, по колхозному делу? — Он рассматривал Давыдова с неизой беззастенчивостью, часто мигая ясными, как летнее небушко, глазами. На смуглом, давно небритом лице его с косо опоясавшим лоб голубым шрамом явно сквозило нетерпеливое ожидание.

Давыдов присел к столу, рассказал о задачах, поставленных партией по проведению двухмесячного похода за сплошную коллективизацию, предложил завтра же провести собрание бедноты и актива.

Нагульнов, освещая положение, заговорил о гремяченском ТОЗ¹⁾.

Разметнов и его слушал так же внимательно, изредка вставляя фразу, не отнимая ладони от щеки, заплывшей коричневатым румянцем.

— Тут у нас есть называемое товарищество по совместной обработке земли. Так я скажу вам, товарищ рабочий, что

¹⁾ Товарищество по совместной обработке земли.

это есть одно измывание над коллективизацией и голый убыток советской власти,—говорил Нагульнов, заметно волнуясь.—В нем состоит восемнадцать дворов — одна горькая беднота. И что же выходит из этого? Обязательно надсмешка. Сложилась она, и на восемнадцать дворов у них — четыре лошади и одна пара быков, а едоков сто семь. Как им надо оправдываться перед жизнью? Им конечно дают долгосрочные кредиты на покупку машин и тягла. Они кредиты берут, но отдать их не смогут и за долгий срок. Зараз объясню почему: будь у них трактор — другой разговор, но трактора им не дали, а на быках не скоро разбогатеешь. Еще скажу, что они порченную ведут политику, и я их давно бы разогнал за то, что они подлегли под советскую власть, как куршивый теленок, сосать — сосут, а росту ихнего нету. И есть такие промеж них мнения: «Э, да нам все равно дадут! А брать с нас за долги нечего». Отсюда у них развал в дисциплине, и ТООЗ этот завтра будет упокойником. Это — даже верная мысль всех собрать в колхоз. Это будет прелесть, а не жизнь! Но казаки — народ закоснелый, я вам скажу, и его придется ломать...

— Из вас кто-нибудь состоит в этом товариществе? — оглядывая собеседников, спросил Давыдов.

— Нет,—ответчал Нагульнов.—Я в 20-м году вошел в коммуну. Она впоследствии времени распалась от шкурничества. Я отказался от собственности. Я зараженный злобой против нее, а поэтому отдал быков и инвентарь соседней коммуне № 6 (она и до сих пор существует), а сам с женой ничего не имею. Размётнову нельзя было подать такой пример: он сам вдовый, у него одна толечко старуха-мать. Вступит ему — это нареканий, как оrepьев, не оберешься. Скажут: «Навязал старуху на нас, как на цыгана матерю, а сам в поле не работает». Тут — тонкое дело. А третий член нашей ячейки — он зараз в отъезде — безрукий. Молотилкой ему руку оторвало. Ну, он и совестится иттить в артель, едоков там, дескать, без меня много.

— Да с ТООЗом нашим беда,—подтвердил Размётнов. Председатель его, Аркашка-то Лосев, плохой хозяин. Ведь нашли же кого выбирать! При-

знаться, мы с этим делом маху дали. Не надо бы его допускать на должность.

— А что?—спросил Давыдов, просматривая поимущественный список кулацких хозяйств.

— А то,—улыбаясь, говорил Размётнов,—больной он человек. Ему бы по линии жизни купцом быть. Этим он и хворает: все бы он менял да перепродывал. Разорил ТООЗ вчистую! Бугая племенного купили—вздумал променять на мотоциклу. Округил своих членов, с нами не посоветовался, глядим, везет со станции эту мотоциклу. Ахнули мы, за головы взялись! Ну, привез, а руководствовать ею никто не может. Да и на што она им? И смех, и грех. В станицу ее возил. Там знающие люди поглядели и говорят: «Дешевле ее выкрасить да выбросить». Не оказалось в ней таких частей, что только на заводе могут их исделать. Им бы в председатели Якова Лукича Островнова. Вон — голова! Пшеницу новую из Краснодара выписывал мелонпусой породы, в любой сухой выстайвает, снег постоянно задерживает на пашнях, урожай у него всегда лучше. Скотину развел породную. Хоть он трошки и кряхтит, как мы его налогом придавим, а хозяин хороший, похвальный лист имеет.

— Он, как дикой гусак середь своих, все как-то на отшибе держится. На отдалке,—сомнительно покачал головой Нагульнов.

— Ну, нет! Он — свой человек, — убежденно заявил Размётнов.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В ночь, когда к Якову Лукичу Островнову приехал его бывший сотенный командир, есаул Половцев, был у них долгий разговор. Считался Яков Лукич в хуторе человеком большого ума, лисьей повадки и осторожности, а вот не удержался в стороне от яростно вспыхавшей по хуторам борьбы, коловертью втянуло его в события. С того дня и пошла жизнь Якова Лукича под опасный раскат...

Тогда после ужина Яков Лукич достал кисет, присел на сундук, поджав ногу в толстом шерстяном чулке; заговорил-вылил то, что годами горько накипаало на сердце:

— О чем толковать-то, Александр Анисимович? Жизнь никак не радуется, не веселит. Вон энтэ трошки зачали казачки собираться с хозяйством, богатеть. Налоги в 26-м али в 27-м году были, ну, сказать, относительные. А теперь опять пошло навыворот. У вас в станице как, про коллективизацию что слыхать ай нет?

— Слыхать,—коротко отвечал гость, «люнявя бумажку и внимательно исподлобья посмагивая на хзяина».

— Стало быть, от этой песни везде «лезьми плачут»? Вот зараз про себя вам скажу: вернулся я в 20-м году из отступа. У Черного моря осталось две пары коней и все добро. Вернулся к голому куреню. С энтих пор работал день и ночь. Продразверсткой в первый раз обидели товарищи: забрали все зерно под гребло. А потом этим обидам и счет я потерял. Хоть счет-то им и можно произвести: обидют и квиток выпишут, чтоб не забыл.—Яков Лукич встал, полез рукой за зеркало и вытянул, улыбаясь в подстриженные усы, связку бумаг. — Вот они, тут квитки об том, что сдавал в 21-м году: а сдавал и хлеб, и мясу, и маслу, и кожи, и шерсть, и птицу, и целыми быками водил в заготконтору. А вот это окладные листы по единому сельскому налогу, по самооблагу и опять же квитки за страховку... И за дым из трубы платил, и за то, что скотинья живая на базу стоит... Скоро энтих бумажек мешок набираю. Словом, Александр Анисимович, жил я — и сам возля земли кормился и других возля себя кормил. Хоть и не раз шкуру с меня сымали, а я опять же ею обрастал. Нажил спервоначалу пару бычат, они подросли. Одного сдал в козну на мясу. За швейную машину женину купил другого. Слвствя время, к 25 году подошла еще пара от своих коров. Стало у меня две пары быков и две коровы. Голосу меня не лишали, в будущие времена зачислили меня крепким середняком.

— А лошади-то у тебя есть? — понтересовался гость.

— Погодите трошки, скажу и об лошадях. Купил я у соседки стригунка от чистых кровей донской кобылки (осталась одна на весь хутор). выросла кобыленка — ну, чистое дитя! Мала ростом;

нестроевичка, полвершка¹⁾ нету, а уж резва — неподобно! В округе получил я за нее на выставке сельской жизни награду и грамоту, как на племенную. Стал я к агрономам прислушаться, начал правильный севооборот вести. начал за землей ходить, как за хворой бабой. Кукуруза у меня первая в хуторе, урожай лучше всех. Я и зерно протравливал, и снегозадержание делал. Сеял яровые только по зяби без весновспашки, пары у меня завсегда первые. Словом, стал культурный хозяин и об этом имею похвальный лист от окружного ЗУ, от земельного, словом, управления. Вот поглядите.

Гость мельком взглянул по направлению пальца Якова Лукича на лист с сургучной печатью, вправленный в деревянную рамку, висевшую сбоку образов урядом с портретом Ворошилова.

— Да, прислали грамоту, и агроном даже пучок моей пшеницы-гарновки возил в Ростов на показ властям, — с гордостью продолжал Яков Лукич. — Первые года сеял я пять десятин, потом, как оперился, начал дюжей хрип выгнать: по три, по пять и по семь кругов²⁾ сеял, во как! Работал я и сын с женой. Два раза толечко поднимал работника в горячую пору. Советская власть энти года диктовала как? — сей как ни могá больше! Я и сеял, ажник кутница вылазила, истинный христос! А зараз, Александр Анисимыч, добродетель мой, верьте слову — боюсь! Боюсь, за эти семь кругов посева протянут меня в игольную ушку, обкулачат. Наш председатель совета, красный партизан товарищ Размётнов, а попросту сказать Андрюшка, ввел меня в этот грех. ::рести его мать! «Сей, — говорит бывало, — Яков Лукич, максимум, чего осилишь, подсобляй советской власти, ей хлеб зараз дюже нужен». Сомневался я, а теперь запохаживается, что мне эта максима ноги на затылке петлей завяжет, побей бог!

— В колхоз у вас записываются? — спросил гость. — Он стоял возле лежанки, заложив руки за спину, широкопле-

¹⁾ В дореволюционное время строевую лошадь на которой казак должен был отбывать военную службу, принимали при условии, если она ростом была не меньше 2 аршин и $\frac{1}{2}$ вершка.

²⁾ Круг — четыре десятины.

чий, большеголовый и плотный, как чувал с зерном.

— В колхоз-то? Дюже пока не докучали, а вот завтра собрание бедноты будет. Ходили, перед тем как смеркаться, оповещали. Свои-то галду набили с самого рождества. «Вступай да вступай». Но люди отказались на отруб, никто не вписался. Кто же сам себе лиходеи? Должно, и завтра будут сватать. Говорят, нынче на вечер приехал какой-то рабочий из району и будет всех сгонять в колхоз. Конец приходит нашей жизни. Наживал, пригоршни мозолей да горб нажил, а теперь добро отдай все в общий котел, и скотинку, и хлеб, и птицу, и дом, стало быть? Выходит в роде: жену отдай дяде, а сам иди к б... не иначе. Сами посудите, Александр Анисимыч, я в колхоз приведу пару быков (пару-то успел продать Союзмясе), кобылу с жеребенком, весь инвентарь, хлеб, а другой — вшей полон гашик. Сложимся мы с ним и будем барыши делить поровну. Да разве ж мне-то не обидно?.. Он, может, всю жизнь на пече лежал да об сладком куске думал, а я... да что там гутарить! Во! — и Яков Лукич полосканул себя по горлу ребром шершавой ладони. — Ну, об этом кончим. Как вы проживаете? Служите зараз в какой учреждении или рукомеслом занимаетесь?

Гость подошел к Якову Лукичу, присел на табурет, снова стал вертеть цыгарку. Он сосредоточенно смотрел в кистет, а Яков Лукич — на тесный воротник его старенькой толстовки, врезавшийся в бурую, туго налитую шею, на которой пониже кадыка по обеим сторонам напряженно набухали жилы.

— Ты служил в моей сотне, Лукич... Помнишь, как-то в Екатеринодаре, кажется, при отступлении был у меня разговор с казаками насчет советской власти? Я еще тогда предупреждал казаков, помнишь? «Горько ошибетесь, ребята! Прижмут вас коммунисты, в бараний рог скрутят. Вскомятятся вы, да поздно будет». — Помолчал, в голубоватых глазах сузились крохотные с булавочную головку зрачки, и тонко улыбнулся: — Не на мое вышло? Я из Новороссийска не уехал со своими. Не удалось, нас тогда предали, бросили добровольцы и союзники. Я вступил в Красную армию, командовал эскадро-

ном, по дороге, на польский фронт... Такая у них комиссия была, фильтрационная по проверке бывших офицеров... Меня эта комиссия от должности отрешила, арестовала и направила в ревтрибунал. Ну, шлепнули бы товарищи, слов нет, либо в концентрационный лагерь. Догадываешься за что? Какой-то сукин сын, казуля, мой станичник, донес, что я участвовал в казни Подтелкова. По дороге в трибунал я бежал... Долго скрывался, жил под чужой фамилией, а в 1923 году вернулся в свою станицу. Документ о том, что я когда-то был комэском, я сумел сохранить, попались хорошие ребята, словом я остался жив. Первое время меня таскали в округ в политбюро дончека, как-то отвертелся, стал учительствовать. Учительствовал до последнего времени. Ну, а сейчас... Сейчас другое дело. Еду вот в Усть-Хоперскую по делам, заехал к тебе, как к старому полчанину.

— Учителем были? Та-а-к... Вы — человек начитанный, книжную науку превзошли, что же оно будет дальше? Куда мы пританцуем с колхозами?

— К коммунизму, братец. К самому настоящему. Читал я и Карла Маркса, и знаменитый манифест коммунистической партии. Знаешь, какой конец колхозному делу? Сначала колхоз, потом коммуна — полное уничтожение собственности. Не только быков, но и детей у тебя отберут на государственное воспитание. Все будет общее: дети, жены, чашки, ложки. Ты хотел бы лапши с гусиным потрохом покушать, а тебя квасом будут кормить. Крепостным возле земли будешь.

— А ежели я этак не желаю?

— У тебя и спрашивать не будут.

— Это как же так?

— Да все так же.

— Ловко!

— Ну, еще бы! Теперь я у тебя спрошу: дальше можно так жить?

— Некуда дальше.

— А раз некуда, надо действовать, надо бороться.

— Что вы, Александр Анисимыч! Пробовали мы, боролись... Никак невозможно. И помыслить не могу!

— А ты попробуй, — гость придвинулся к собеседнику вплотную, огля-

нулся на плотно притворенную дверь в кухню и, вдруг поблдев, заговорил полудюпотом: — Я тебе прямо скажу, надеюсь на тебя: в нашей станице казаки собираются восставать. И ты не думай, что это так просто, набалмошь. Мы связаны с Москвой, с генералами, которые сейчас служат в Красной армии, с инженерами, которые работают на фабриках и заводах, и даже дальше: с заграницей. Да, да! Если мы дружно организуемся и выступим именно сейчас, то к весне при помощи иностранных держав Дон уже будет чистым. Зябь ты будешь засеивать своим зерном и для себя одного. Постой, ты потом скажешь. В вашем районе много сочувствующих нам. Их надо объединить и собрать. По этому же делу я еду и в Усть-Хоперскую. Ты присоединяешься к нам? В нашей организации есть уже более трехсот служилых казаков. В Дубровском, в Войсковом, в Тубянском, в Малом Ольховацком и в других хуторах есть наши боевые группы. Надо такую же группу сколотить и у вас в Гремячем. Ну, говори.

— Люди роптают против колхозов и против сдачи хлеба...

— Погоди! Не о людях, а о тебе речь. Я тебя спрашиваю, ну?

— Такие дела разве сразу решают?.. Тут голову под топор кладешь.

— Подумай... По приказу одновременно выступаем со всех хуторов. Забираем вашу районную станицу, милицию и коммунистов по одному переберем на квартирах, а дальше пойдет полыхать и без ветра.

— А с чем?

— Найдется! И у тебя небось осталась?

— Кто его знает... Кажись, где-то валялась, какой-то ошкамёлок... австрийского никак образца...

— Нам только начать, и через неделю иностранные пароходы привезут и орудия, и винтовки. Аэропланы, и те будут. Ну?

— Дайте подумать, господин есаул! Не невольте сразу...

Гость со все еще несошедшей с лица бледностью прислонился к лежанке, сказал глуховато:

— Мы не в колхоз зовем и никого не неволим. Твоя добрая воля, но за язык... гляди, Лукич! Шесть тебе, а уж

седьмую... — и легонько покрутил пальцем застрекотавший в кармане нагановский барабан.

— За язык можете не сомневаться. Но ваше дело рисковое. И не потаю: страшно на такое дело иттить; но и жизни ход отрезанный. — Помолчал. — Не будь гонения на богатых, я бы, может, теперь, по моему старанию, первым человеком в хуторе был. При вольной жизни я бы зараз, может, свой автомобиль держал! — с горечью заговорил после минутного молчания хозяин. — Опять же одному иттить на такие... Вязы враз скрутят.

— Зачем же одному? — с досадой перебил его гость.

— Ну, да это я так, к слову, а вот, как другие? Мир то-есть как? Народ-то пойдет?

— Народ, как табун овец. Его вести надо. Так ты решил?

— Я сказал, Александр Анисимыч...

— Мне твердо надо знать, решил ли?

— Некуда деваться, потому и решаю. Вы все-таки дайте кинуть умом. Завтра утром скажу остатнее слово.

— Ты, кроме этого, должен уговорить надежных казаков. Ищи таких, какие имели бы зуб на советскую власть. — уже приказывал Половцев.

— При этой жизни его всякий имеет.

— А сын твой как?

— Куда же палец от руки? Куда я, куда и он.

— Ничего он парень, твердый?

— Хороший казак, — с тихой гордостью отозвался хозяин.

Гостю постелили серую тавреную полость и шубу в горнице, возле лежанки. Он снял сапоги, но раздеваться не стал и уснул сразу, едва лишь коснулся щекой прохладной, пахнувшей пером подушки.

Перед светом Яков Лукич разбудил спавшую в боковой комнатке свою восьмидесятилетнюю старуху-мать. Коротко рассказал ей о целях приезда бывшего сотенного командира. Старуха слушала, свесив с лежанки черножилые, простудой изуродованные в суставах ноги, ладонью оттопыривала желтую ушную раковину.

— Благословите, мамаша? — Яков Лукич стал на колени.

— Ступай, ступай на них, супостатов, чадуношка! Господь благословит! Церк-ва закрывают... Попам житья нету... Ступай!..

На утро Яков Лукич разбудил гостя:

— Решился! Приказывайте.

— Прочитай и подпиши. — Половцев достал из грудного кармана бумагу.

«С нами бог» Я, казак Всевеликого войска Донского, вступаю в союз «Освобождения Родного Дона», обязуюсь до последней капли крови всеми силами и средствами сражаться по приказу моих начальников с коммунистами-большевиками, заклятыми врагами христианской веры и угнетателями российского народа. Обязуюсь беспрекословно слушаться своих начальников и командиров. Обязуюсь все свое достояние принести на алтарь православного отечества. В чем и подписуюсь».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Тридцать два человека — гремаченский актив и беднота — дышали одним дыхом. Давыдов не был мастером говорить речи, но слушали его вначале так, как не слушают и самого искусного сказочника.

— Я, товарищи, сам — рабочий Краснопутиловского завода. Меня послала к вам наша коммунистическая партия и рабочий класс, чтобы помочь вам организовать колхоз и уничтожить кулака, как общего нашего кровососа. Я буду говорить коротко. Вы должны все соединиться в колхоз, обобществить землю, весь свой инструмент и скот. А зачем в колхоз? Затем, что жить так дальше, ну, невозможно же! С хлебом трудности оттого, что кулак его гноит в земле; у него с боем хлеб приходится брать! А вы и рады бы сдать, да у самих маловато. Середняцко-бедняцким хлебом Советский Союз не прокормишь. Надо больше сеять. А как ты с сохой или однолемешным плугом больше посеешь? Только трактор и может выручить. Факт! Я не знаю, сколько у вас на Дону вспахивают одним плугом за осень под зябрь...

— С ночи до ночи держись за чапиги¹⁾ и десятин двенадцать до зимы подымеешь.

— Хо! Двенадцать? А ежели крепкая земля?

— Чего вы там толкуете! — пронзительный бабий голос. — В плуг надо три, а то и четыре пары добрых быков, а откель они у нас? Есть, да и то не у каждого, какая-то пара зас..., а то все больше на быках, у каких сиську. Это у богатых, им и ветер в спину...

— Не об этом речь! Взjala бы подол в зубы да помолчала, — чей-то хрипчатый басок.

— Ты с понятием! Жену учи, а меня нечего!

— А трактором?..

Давыдов выждал тишину, ответил:

— А трактором, хотя бы нашим путиловцем, при хороших знающих трактористах можно за сутки в две смены вспахать тоже двенадцать десятин.

Собрание ахнуло. Кто-то потерянно проронил:

— Увою мать!

— Вот это — да! На таком жеребце бы попахаться... — завистливый с высвистом вздох.

Давыдов вытер ладонью пересохшие от волнения губы, продолжал:

— Вот мы на заводе делаем трактора для вас. Бедняку и середняку-одиночке купить трактор слабó: кишка тонка! Значит, чтобы купить, нужно коллективно соединиться батракам, беднякам и середнякам. Трактор такая машина, вам известная, что гонять его на малом куске земли — дело убыточное, ему большой гон надо. Небольшие артели — тоже пользы от них, как от козла молока.

— Ажник того меньше! — веско бухнул чей-то бас из задних рядов.

— Значит, как быть? — продолжал Давыдов, невзирая на реплику. — Партия предусматривает сплошную коллективизацию, чтобы трактором зацепить и вывезти вас из нужды. Товарищ Ленин перед смертью что говорил? «Только в колхозе трудящемуся крестьянину спасение от бедности. Иначе ему — труба! Кулак-вампир его засосет в доску». И вы должны итти по указанному пути совершенно твердо. В союзе с рабочими колхозники будут намахивать всех кулаков и врагов. Я правильно говорю. А затем перехожу к вашему товариществу. Калибра оно мелкого, слабосильное, и дела его через

¹⁾ Поручни плуга.

это очень даже плачевные. А тем самым и льется вода на мельницу... Словом, никакая не вода, а один убыток от него! Но мы должны это товарищество переключить в колхоз и оставить костью, а вокруг этой кости нарастет середнячок...

— Погоди, перебью трошки! — поднялся конопатый и неправый глазами Демка Ушаков, бывший одно время членом товарищества.

— Проси слово, тогда и гутарь, — строго внушил ему Нагульнов, сидевший за столом рядом с Давыдовым и Андреем Размётновым.

— Я и без просьбов скажу, — отмахнулся Демка и скосил глаза так, что казалось, будто он одновременно смотрит и на президиум, и на собравшихся. — А черезо что, извиняюся, превзошли в убыток и советской власти в тягость? Черезо что, спрашиваю вас, жили в роде нахлебников у кредитного товарищества? Через любушку-председателя ТОЗа! Через Аркашку Менка!

— Брешешь, как элемент! — петушиный тенорок из задних рядов. И Аркашка, работая локтями, погребся к столу президиума.

— Я докажу! — у побледневшего Демки глаза с'ехались к переносью. Не обращая внимания на то, что Размётнов стучит масляковатым кулаком, он повернулся к Аркашке: — Не открывайся! Не через то превзошли мы в бедность, своим колхозом, что мало нас, а через твою мену. А за «элемента» я тебя припрягу по всей строгости. Бугая на моцикетку, не спрашайчись, смеял? Смеял! Яйцеватых курей кто выдумал менять на...

— Опять же брешешь! — на ходу оборонялся Аркашка.

— Трех валухов и нетелю за тачанку не ты уговорил сбыть? Купец в с... носом! То-то! — торжествовал Демка.

— Остепенитесь! Что вы, как кочета, сходитесь! — уговаривал Нагульнов, а мускул щеки уже заходил у него ходуном под покрасневшей кожей.

— Дайте мне слово по порядку, — просил пробившийся к столу Аркашка. Он уж было забрал в горсть русую бородку, собираясь говорить, но Давыдов отстранил его:

— Кончу я, а сейчас пожалуйста не мешай. Так вот я говорю, товарищи: только через колхоз можно...

— Да ты нас не агитируй! Мы с партохами в колхоз пойдем, — перебил его красный партизан Павел Любишкин, сидевший ближе всех к двери.

— Согласны с колхозом!

— Артелем и батьку хорошо бить.

— Только хозяйствовать умно надо.

Крики заглушил тот же Любишкин: он встал со стула, снял черную угрюмейшую папаху и — высокий, кряж в плечах — заслонил дверь.

— Чего ты, чудак, нас за советскую власть агитируешь? Мы ее в войну сами на ноги тут становили, сами и подпирали плечом, чтоб не хитнулась. Мы знаем, что такое колхоз и пойдем в него. Дайте машины! — он протянул порепавшуюся ладонь. — Трактор — штука, слов нет, но мало вы, рабочие, их наделали, вот за это мы вас поругиваем! Не за что нам ухватиться, вот в чем беда. А на быках — одной рукой погонять, другой слезы утирать — можно и без колхоза. Я сам до колхозного переворота думал Калинин письмо писать, чтобы помогли хлеборобам начинать какую-то новую жизнь. А то первые года, как при старом режиме, — плати налоги, живи, как знаешь, а РКП для чего? Ну, завоевали, а потом что? Опять за старое, ходи за плугом, у кого есть что в плуг запрягать, а у кого нечего? С длинной рукой под церкву? Либо с деревянной иглой под мост портняжить, воротники советским купцам да кооперативщикам пристрачивать? Землю дозволили богатым в аренду сымать, работников им дозволили нанимать... Это так революция диктовала в 18-м году? Глаза вы ей закрыли! И когда говоришь: «за что ж боролись?», то служащие, какие пороху не нюхали, над этим словом надсмехаются, а за ними строит хаханьки всякая белая сволочь! Нет, ты нам зубы не лечи! Много мы красных слов слышали. Ты нам машину давай в долг или под хлеб, да не букарь там али запашник, а добрую машину! Трактор, про какой рассказывал, давай! Это я за что получил? — он прямо через колени сидевших на лавках пошagal к столу, на ходу расстегивая рваную мотню шаровар. А подойдя, заголил по-

дол рубахи, прижал его подбородком к груди. На смуглом животе и бедре по-жорно обнажились стянувшие кожу страшные рубцы.

— За что получил ошкamelки кадетского гостинца?

— Чорт бессовестный! Ты бы уж вовсе штаны-то спустил! — возмущенно и тонко крикнула сидевшая рядом с Демкой Ушаковым вдовая Анисья.

— А ты бы хотела? — презрительно спросил на нее глаза Демка.

— Молчи, тетка Анисья! Мне тут стыду нету свои ранения рабочему человеку показать. Пушай глядит! За кем, что ежели дальше так жить, мне, один чорт, нечем будет всю эту музыку прикрывать! Они уж и зараз такие штаны, что одно звание. Мимо девок днем уж не ходи, напужаешь до смерти.

Сзади заногокали, загомонили, но Любишкин повел кругом суровым глазом, и опять стало слышно, как с тихим треском горит в лампе фитиль.

— Видно воевал я с кадетами за то, чтобы опять богатые лучше меня жили? Чтобы они ели сладкий кусок, а я хлеб с луком? Так, товарищ рабочий? Ты, Макар, мне не мигай! Я раз в году говорю, мне можно.

— Продолжай, — кивнул головой Давыдов.

— Продолжаю. Я сеял нонешний год три десятины пшеницы. У меня трое дегишков, сестра калека и хворая жена. Сдал я свой план хлеба, Размётнов?

— Сдал, да ты не шуми.

— Нет, буду шуметь! А кулак — Фрол Рваный за . . . его душу!..

— Но-но! — застучал кулаком Нагульнов.

— Фрол Рваный свой план сдал? Нету!

— Так его суд оштрафовал и хлеб взяли, — вставил Размётнов, блестя отчаянными глазами и с видимым наслаждением слушая Любишкина.

— Тебя бы сюда, тихохода! — вспомнил Давыдов секретаря райкома.

— Он опять на этот год будет Фролом Игнатичем! А весной опять придет меня наймать! — и кинул под ноги Давыдову черную папаху. — Чего ты мне говоришь о колхозе?! Жилы кулаку перережьте, тогда пойдем! Отдайте нам его машины, его быков, силу его отдай-

те, тогда будет наше равенство! А все разговоры да разговоры «кулака унистожить», а он растет из года в год, как лопух, и солнце нам застит.

— Отдай нам Фролово имущество, а Аркашка Менок на него ероплан выменяет, — вернул Демка.

— Ох-ха-ха-ха!..

— Это он враз!

— Будьте свидетелями на оскорбление!

— Тю! Слухать не даешь, цыц!

— Что на вас, черти, чуру нету?

— А ну, тише!..

Давыдову насилу удалось прекратить поднявшийся шум.

— В этом и есть политика нашей партии! Чего же ты стучишь, ежели открыто? Уничтожить кулака как класс, имущество его отдать колхозам, факт! И ты, товарищ партизан, напрасно шапку под стол бросил, она еще голове будет нужна. Аренды земли и найма батраков теперь не может быть! Кулака терпели мы из нужды: он хлеба больше, чем колхозы, давал. А теперь — наоборот. Товарищ Сталин тонко подсчитал эту арифметику и сказал: «Уволить кулака из жизни! Отдать его имущество колхозам». О машинах ты все плакал... Пятсот миллионов целковых дают колхозам на поправку, это как? Слышал ты об этом? Так чего же ты бузу трешь? Сначала надо колхоз родить, а потом уж о машинах беспокоиться. А ты хочешь вперед хомут купить, а по хомуту уж коня покупать. Чего же ты смеешься? Так, так!

— Пошел Любишкин задом наперед!

— Хо-хо...

— Так мы же с дорогой душой в колхоз!

— Это он насчет хомута... под'ехал...

— Хоть нынче ночью!

— Записывай зараз!

— Кулаков громить ведите!

— Кто записывается в колхоз, подымай руки, — предложил Нагульнов. При подсчете поднятых рук оказалось тридцать три. Кто-то, обеспамятев, поднял лишнюю.

Духота выжила Давыдова из пальто и сюртука. Он расстегнул ворот рубахи, улыбаясь, выжидал тихомирья.

— Сознательность у вас хорошая, факт! Но вы думаете, что войдете в колхоз и все? Нет этого мало! Вы —

беднота — опора советской власти. Вы, едрена зелена, и сами в колхоз должны итти, и тянуть за собой качающуюся фигуру середняка.

— А как ты его потянешь, ежели он не хочет? Что он бык что ли, взналыгал и веди? — спросил Аркашка Менок.

— Убеди! Какой же ты боец за нашу правду, ежели не можешь другого заразить? Вот собрание завтра будет. Сам голосуй «за», и соседа середняка уговори. Сейчас мы приступаем к обсуждению кулаков. Вынесем мы постановление о высылке их из пределов Северокавказского края или как?

— Подписуемся!

— Под корень их!

— Нет уж лучше с корнем, а не под корень, — поправил Давыдов, и к Размётнову: — Огласи список кулаков. Сейчас будем утверждать их к раскулачиванию.

Андрей достал из папки лист, передал Давыдову.

— Фрол Дамасков, достоин он такой пролетарской кары?

Руки поднялись дружно. Но при подсчете голосов Давыдов обнаружил одного воздержавшегося.

— Не согласен? — поднял он покрытые потной испариной брови.

— Воздерживаюсь, — коротко отвечал не голосовавший, тихий с виду и неприметного обличья казак.

— Почему такое? — выпытывал Давыдов.

— Потому, как он — мой сосед, и я от него много добра видал. Вот и не могу на него, руки подымаю.

— Выйди с собрания зараз же! — приказал Нагульнов вздрагивающим голосом, приподнимаясь, словно на стремянах.

— Нет, так нельзя, товарищ Нагульнов! — строго прервал его Давыдов. — Не уходи, гражданин! Объясни свою линию. Кулак Дамасков, по-твоему, или нет?

— Я этого не понимаю. Я неграмотный и прошу уволить меня с собрания.

— Нет, ты уж нам объясни пожалуйста, какие милости от него получил?

— Все время он мне пособлял, быков давал, семена ссужал... мало ли... Но я не изменяю власти. Я — за власть...

— Просил он тебя за него стоять? Деньгами магарычил, хлебом? Да ты

признавайся, не боись! — вступил в разговор Размётнов. — Ну, говори, чего он тебе сулил? — и неловко, от стыда за человека и за свои оголенные волосы, улыбнулся.

— А может, и ничего, ты почему знаешь?

— Бреешь, Тимофей! Купленный ты человек и, выходит, подкулачник! — крикнул кто-то из рядов.

— Обзывайте как хотите, воля ваша...

Давыдов спросил, будто нож к горлу приставил:

— Ты за советскую власть или за кулака? Ты, гражданин, не позорь бедняцкий класс, прямо говори собранию за кого ты стоишь?

— Чего с ним вожжаться! — возмущенно перебил Любишкин. — Его за бутылку водки совсем с гульями можно купить! На тебя, Тимофей, ажник глазами, больно глядеть!

Не голосовавший Тимофей Борщев под конец с деланным смирением ответил:

— Я — за власть, чего привязались? Темнота моя попутала... — но руку при вторичном голосовании поднимал с видимой неохотой.

Давыдов коротко черкнул в блокноте: «Тимофей Борщев затуманенный классовым врагом. Обработать».

Собрание единогласно утвердило еще четыре кулацких хозяйства. Но когда Давыдов прочел:

— Тит Бородин. Кто «за»?

Собрание тягостно промолчало. Нагульнов смущенно переглянулся с Размётновым. Любишкин папачкой стал вытирать мокрый лоб.

— Почему тишина? В чем дело? — Давыдов, недоумевая, оглядел ряды сидевших людей и, не встретившись ни с кем глазами, перевел взгляд на Нагульнова.

— Вот в чем, — начал тот нерешительно. — Этот Бородин, по-улицному Титок мы его зовем, вместе с нами в 18-м году добровольно ушел в Красную гвардию. Будучи бедняцкого рода, сражался стойко. Имеет раны и огличие — серебряные часы за революционное происхождение. Служил он в Думенковом отряде. И ты понимаешь, товарищ рабочий, как он нам сердце полоснул? Зубами, как кобель в пад-

лу, вцепился в хозяйство, возвернувшись домой... И начал богатеть, несмотря на наши предупреждения. Работал день и ночь, оброс весь дикой шерстью, в одних холстинных штанах зиму и лето исхаживал. Нажил три пары быков и грызёв в яйцах от тяжелого подёма разных тяжестей, и все ему было мало! Начал нанимать работников, по два, по три. Нажил мельницу-ветрянку, а потом купил пятисильный паровой двигатель и начал ладить маслобойку, скотиной переторговывать. Сам, бывало, работников голодом морит, хоть и работают они двадцать часов в сутки, да за ночь встают раз по пять коням подмешивать, скотине мегать. Мы вызывали его неоднократно на ячейку и в совет, стыдили страшным стыдом, говорили: «Брось, Тит, не становись нашей дорогой советской власти поперек путя! Ты же за нее страдалец на фронтах против белых был...» — Нагульнов вздохнул и развел руками, — что можно сделать, раз человек осатанел? Видим, поедает его собственность! Опять его призовем, вспоминаем бои и наши общие страдания, уговариваем, грозим, что в землю затопчем его, раз он становится поперек путя, делается буржуем и не хочет дожидаться мировой революции.

— Ты короче, — нетерпеливо попросил Давыдов.

Голос Нагульнова дрогнул и стал тише.

— Об этом нельзя короче. Это боль такая, что с кровью... Ну, он, т.-е. Титок, нам отвечает: «Я сполняю приказ советской власти, увеличиваю посев». А работников имею по закону: у меня баба в женских болезнях. Я был ничем и стал всем, все у меня есть, за это я и воевал. Да и советская власть не на вас, мол, держится. Я своими руками даю ей что жевать, а вы — портфельщики, я вас в упор вижу». Когда о войне и наших вместе перенесенных трудностях мы ему говорим, у него иной раз промеж глаз сверканет слеза, но он не дает ей законного ходу, отвернется, настоит сердце и говорит: «Что было, то будем поросло!» И мы его лишили голосу гражданства. Он было помыкнулся туда и сюда, бумажки писал в край и в Москву. Но я так понимаю, что в центральных учреждениях сидят на главных

постах старые революционеры и они понимают, раз предал — значит враг, и никакой к тебе пощады!

— А ты все же покороче...

— Зараз кончаю. Его и там не восстановили, и он до се в таком виде, работников правда расчел...

— Ну так в чем же дело? — Давыдов пристально всматривался в лицо Нагульнова. Но тот прикрыл глаза короткими, сожженными солнцем ресницами, отвечал:

— Потому собрание и молчит. Я только объяснил, какой был в прошлом дорогом времени Тит Бородин, нынешний кулак.

Давыдов сжал губы, потемнел:

— С врагами мы знаешь как поступали? Чего же ты нам жалостные рассказы преподносишь? Был партизан — честь ему за это, кулаком стал, врагом сделался — раздавить! Какие тут могут быть разговоры?

— Я не из жалости к нему. Ты, товарищ, на меня напраслину не взводи!

— Кто за то, чтобы Бородина раскулачить? — Давыдов обвел глазами ряды.

Руки не сразу, в разнойой, но поднялись.

После собрания Нагульнов позвал Давыдова к себе ночевать.

— А завтра уж квартиру вам найдем, — сказал он, ощупью выходя из темных сеней совета. Они шли рядом по хрусткому снегу. Нагульнов, распахнув полушубок, негромко заговорил:

— Я, дорогой товарищ рабочий, легче дышу, как услышал, что сплошь надо стянуть в колхоз хлебоборбскую собственность. У меня к ней с малства ненависть. Все зло через нее, правильно писали ученые товарищи Маркс и Энгельс. А то и при советской власти люди, как свиньи у корыга, дерутся, южат, пихаются из-за этой поклатой заразы! А раньше что было, при старом режиме? Страшно вздумать! Мой отец был зажиточным казаком, имел четыре пары быков и пять лошадей. Посев у нас был огромный, 60—70 и до 100 десятин. Семья была большая, рабочая. Сами управлялись. Да ведь вздумать: трое женатых братьев у меня было. И вот зонзился в память мне такой случай, через чего я и восстал против собственности. Как-то соседская свинья залезла

к нам в огород и потравила несколько гнездов картошки. Мать увидела ее, ухвати в кружку вару из чугуна и говорит мне: «Гони ее, Макарка, а я стану за калиткой». Мне тогда было лет двенадцать. Ну конечно погнал я эту несчастную свинью. Мать на нее и плескани варом. Так у ней щетина и задымилась! Время летняя, завелись у свиньи черви, дальше — больше, исдохла свинья. Сосед злобу затаил. А через неделю у нас в степи сгорело двадцать три копны пшеницы. Отец уж знал, чьих это рук дело, не стерпел, подал в суд. Да такая промеж них завелась вражда, — зреть один одного не могут! Чуть подопьют — и драка. Лет пять сутяжились и дошли до смертного случая... Соседского сына на масляную нашли на гумнах убитого. Кто-то вилами промзил ему грудь в скольких местах. И кой по чем я догадался, что это моих братьев дело. Следствие было, убийцев не нашли... Составили акт, что погиб по пьяной лавочке. А я с той поры ушел от отца в работники. Попал на войну. И вот лежишь бывало, бьет по тебе немец чижелыми снарядами, дым черный с земли к небу летит. Лежишь, думаешь: «За кого же, за чью собственность я тут страх и смерть принимаю?» А самому от обстрела хочется в гвоздь оборотиться: залез бы в землю по самую шляпку! Эх, ты, родная мамунюшка! Газы нюхал, был отравленный. Теперь, как чуток на гору иттить, — описка берет, кровь в голову шибнет, — не сойду. Умные люди ишо на фронте подсказали, большевиком вернулся. А в гражданскую, ох, и рубил гадов, беспощадно! Контузило меня под Касторной, потом зачало припадками бить. А теперь вот этот знак, — Нагульнов положил на орден огромную ладонь, и в голосе его странной теплотой зазвучали новые нотки: — От него мне зараз теплее становится. Я зараз, дорогой товарищ, как во дни гражданской войны, как на позиции. В землю надо зарыться, а всех завлечь в колхоз. Все ближе к мировой революции.

— Тита Бородина ты близко знаешь? — шагая, раздумчиво спросил Давыдов.

— Как же, мы с ним друзья были, но через то и разошлись, что он до крайности

приверженный к собственности. В 20-м году мы с ним были на подавлении восстания в одной из волостей Донецкого округа. Два эскадрона и ЧОН ходили в атаку. Много за слободой оказалось порубанных хохлов. Титок ночью заявился на квартиру, вносит вьюки в хату. Трянул их и высыпал на пол восемь отрубанных ног. «Сдурел ты, такую твою мать!» — говорит ему товарищ: — Удались зараз же с этим!» — А Титок говорит: «Не будут восставать бляди! А мне четыре пары сапог сгодятся. Я всю семью обую». Оттаял их на печке и начал с ног сапоги сдирать. Распорет шашкой шов на голенище, стянет. Голые ноги отнес, зарыл в стог соломы «Похоронил» — говорит. Ежли б тогда мы узнали — расстреляли бы, как гада! Но товарищи его не выдали. А после я пытал, верно ли это? «Верно, — говорит, — так снять не мог, на морозе одубели ноги-то, я их и поотяпал шашкой: Мне, как чеботарю, прискорбно, что добрые сапоги в земле сгниют. Но теперь говорит, самому ужасно. Иной раз даже ночью проснусь, прошу бабу, чтобы к стенке пустила, а то с краю страшно...» Ну, вот мы и пришли на мою квартиру. — Нагульнов вошел во двор, звякнул щеколдой дверей.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Андрея Размётнова провожали на действительную военную службу в 1913 году. По тогдашним порядкам должен он был итти в строй на своем коне. Но не только коня, и полагающееся казаку обмундирование не на что было ему купить. От покойного отца осталась в наследство одна дедовская шашка в отерханных, утративших лоск ножнах. Век не забыть Андрею горького унижения! На станичном сборе старики решили отправить его на службу за счет войска: купили ему дешевого рыженького конька, седло, дзе шинели, двое шаровар, сапоги... «На общественные средства справляем тебя, Андрюшка, гляди, не забудь нашу милость, не страми станицы, служи царю справно...» — говорили старики Андрею.

А сыны богатых казаков на скачках, бывало, щеголяли сотенными конями

Корольковского завода или от племенных жеребцов с Провалья, дорогими седлами, уздечками с серебряным набором, новехонькой одеждой... Пай Андреевой земли взяло станичное правление, и все время, пока Андрей могался по фронтам, защищая чужое богатство и чужую сытную жизнь, сдавало в аренду. Андрей заслужил на германской три георгиевских креста. «Крестовые» деньги посылал жене и матери. Тем и жила со снохой старуха, чью старость, соленую от слез, позднозато пришлось Андрею покоить.

К концу войны Андреева баба, с осени нанимаясь на молотьбу, скопила денег, поехала на фронт проведать мужа. Пожила там считанные дни, (11 Донской казачий полк, в котором служил Андрей, стоял на отдыхе), полежала на мужниной руке. Летними зарницами отпыхали те ночи. Но много ли времени для птичьего греха, для бабьего голодного счастья надо? А отсюда вернулась с посветлевшими глазами и через положенный срок без крику и слез, будто нечаянно, прямо на паше родила, вылила в Андрея мальчишку.

В 18-м году Размётнов на короткий срок вернулся в Гремячий Лог. Прожил он в хуторе недолго: поправил подгнившие сохи и строила сараев, вспахал две десятины земли, потом как-то целый день пестовал сынишку, сажал его на волю выросшую в плечи, провонявшую солдатчиной шее, бегал по горнице, смеялся, а в углах светлых, обычно злобноватых глаз заметила жена копившиеся слезы, побелела: «Либо уезжаешь, Андрюша?» — «Завтра, сговоров харчей».

И на другой день он, Макар Нагульнов, атаманец Любишкин, Тит Бородин и еще восемь человек фронтowych казаков с утра собрались возле Андреевой хаты. Подседланные, разномастные кони вынесли их за ветряк, и долго кружился на шляху легкий вешний прах, взвихренный конскими обутыми в четные подковы копытами.

В этот день над Гремячим Логом, над полой водой, над степью, надо всем голубым миром с юга на север, в вышней просторной целине спешили, летели без крика, без голоса станицы чернокрылых казарок и диких гусей.

Андрей в Каменской отстал от товарищей. С одной из ворошиловских частей он двинул на Морозовскую—Царицын. Макар Нагульнов, Любишкин и остальные очутились в Воронеже. А через три месяца под Кривой Музгой Андрей, легко раненый осколком гранаты, на перевязочном пункте от случайно повстречавшегося станичника узнал, что после разгрома отряда Подтелкова в Гремячем Логу белые казаки, хуторяне Андрея, мстят ему за уход в красные, люто баловались с его женой, что все это стало известно хутору и что Евдокия не снесла черного позора, наложила на себя руки.

...Морозный день. Конец декабря. Гремячий Лог. Курени, сараи, плетни, деревья в белой опуши инея. За дальним бугром бой. Немо погромыхивают орудия генерала Гусельщикова. Андрей на взмыленном коне прискакал под вечер в хутор. И до сих пор помнит. Стоит лишь закрыть глаза и стремительный бег памяти направить в прошлое... Скрипнула калитка. Задыхаясь, тянет Андрей повод, вводит на баз шапотающегося от усталости коня. Мать, распыренная, выбежала из сеней.

Ох, да как же резнул слух Андрея ее плач в голос, по мертвому!

— И родимый ты мо-о-ой! Закрылись ее ясные гла-а-зынь-ки!..

Будто бы на чужой баз заехал Размётнов: поводья примотал за перила крыльца, сам — в хату. Провалившимися, как у мертвого, глазами обшарил пустую горницу, пустую люльку.

— Дите где?

Мать, уткнувшись в завеску, мотала редковолосой, седеющей головой.

Насилу добился ответа.

— Да не сберегла ж я своего голубеночка! На вторую неделю после Дуношки... от глотшной.

— Не кричи... Мне бы! Мне бы слезу найти! Кто сильничал Евдокию?

— Аникей Девяткин тягал ее на гумно... Меня — плетью... ребят на гумно скликал. Все ее белы рученьки ножками побил, пришла вся черная... Одни глаза...

— Дома он зараз?

— В отступе.

— Есть кто-нибудь у них дома?

— Баба его и сам старик. Андрюша! Не казни ты их! Они за чужой грех не ответчики...

— Ты!.. Ты мне указываешь?! — Андрей почёрнел, задохнулся. Порвал застежки шинели, ворот гимнастерки и натальной рубахи. Припав к чугуну с водой голой ребровой грудью, пил и кусал края зубами. А потом встал, не поднимая глаз, спросил:

— Мамаша! Чего она мне переказывала перед смертью?

Мать сунулась в передний угол, изпод божнички вытащила пожелтый лоскуток бумаги. И, словно, родной голос, зазвучали смертные слова: «Родненький мой Андрюшенька! Споганили меня проклятые, смывались надо мной и над моим сердцем к тебе. Не гляну я на тебя и не увижу теперь белого света. Совесть мне не дозволяет жить с дурной болезнью. Андрюшенька мой, цветочек мой родимый! Я уж какую ночь не сплю и подушку всю оболблю слезами. Нашу любовь с тобой я помню и на том свете буду помнить. И только жалко мне одного — дитя и тебя, что с тобой наша жизнь, любовь была такая короткая. Другую в дом приведешь, — нехай она ради господ-бога нашего парнишёночка жалеет. Жалей и ты его, мою сироту. Мамане прикажи, чтобы юбки мои и шальки, и кофточки отдала сеструшке. Она невеста, ей надо...»

Ко двору Девяткиных Андрей прискакал наметом, спешился и, вытащив из ножен шашку, рысью вбежал на крыльцо. Отец Аникея Девяткина — высокий, седой старик, — увидев его, перекрестился, стал под образами на колени.

— Андрей Степаныч! — сказал он только, поклонился в ноги Андрею, а больше и слова не молвил и розовой плешивой головы от пола не поднял.

— Ты мне за сына ответишь! В ваших богов, в креста!.. — Андрей левой рукой схватил седую бороду старика, пинком отворил дверь и с громом поволок Девяткина по крыльцу. Старуха валялась у печки в беспомощности, но сноха Девяткиных — жена Аникея — сгребла в кучу детишек (а их у нее было шесть штук), с плачем выскочила на крыльцо. Андрей, белый, как облизанная ветрами мертвая кость, избо-

чившись, уже занес шашку над стариковской шеей, но тут-то и посыпались ему под ноги с ревом, с визгом, с плачем разнокалиберные, сопливые ребятишки.

— Руби всех их! Все они Аникушкиного помёта, щенки! Меня руби! — кричала Авдотья — Аникеева жена — и шла на Андрея, расстегнув розовую рубаху, болтая, как многощённая сука. сухенькими, сморщенными грудями. А в ногах у Андрея копошилась детва все мал-мала меньше... Попятился он дико озираясь, кинул шашку в ножны и, не раз споткнувшись на ровном, направился к коню. До самой калитки шел за ним плачущий от радости и пережитого страха старик и все норовил припасть, поцеловать стремя, но Андрей, брезгливо морщась, отдергивал ногу, хрипел:

— Счастье твое!.. детишки...

Дома он трое суток наливался дымкой, плакал, пьяный, на вторую ночь сжег сарай, на перерубе, в котором повесилась Евдокия, а на четвертые сутки, опухший и страшный, тихо прощался с матерью, и та, прижимая его голову к своей груди, впервые заметила на белокуром сынновьем чубе ковыльные нити седины.

Через два года Андрей вернулся в Гремячий с польского фронта. Год побродил по Верхнедонскому округу с продотрядом, а потом припал в хозяйство. На советы матери жениться он отмалчивался. Но однажды мать настойчиво стала добиваться ответа.

— Женись, Андрюша! Мне уж чугуны не под силу ворочать. Любая девка за тебя — с грабушками. У кого будем сватать?

— Не буду, мамуня, не приставай!

— Заладил одно да добро! Гля-ка, у тебя вон по голове уж заморозки пропались. Когда же надумаешь-то? Покуда белый станешь? Об матери — бай дуже! А я-то думала, что внуков придется нянчить. С двух коз-то я пуху насбирала, детишкам-бы чулочков связать... Обмыть их, искупать — вот мое дело. Корову мне уж трудно выдавать: пальцы неслухменные стали. — И переходила на плач: — И в кого такого идола уродила! Набычится * сопит. Чего же молчишь-то? Агел!

Андрей брал шапку, молча уходил из хаты. Но старуха не унималась: разговоры с соседками, шопоты, советы...

— После Евдокии никого не введу в хату, — упрямо стоял на своем Андрей. И материнская злоба переметнулась на покойную сноху.

— Приворожила его эта змеюка! — говорила она старухам, встречаясь на прогоне либо сидя перед вечером возле своего база. — Сама завесилась ч от него жизнью отымет. Не хочет дружить брату. А мне-то легко? И-и, мишушка моя! Гляну на чужих внуков да как слезьми и умоюсь: у других-то старухам радость да утеха, а я одна, как суслик в норе...

В этом же году Андрей сошелся с Мариной, вдовой убитого под Новочеркасском вахмистра Михаила Пояркова. Ей в ту осень перевалило за сорок, но она еще сохранила в полном и сильном теле, в смуглом лице степную неяркую красоту.

В октябре Андрей крыл ей хату чаканом. Перед сумерками она позвала его в хату, расторопно накрыла стол, поставила чашку с борщом, кинула на колени Андрею расшитый чистый рушник, сама села напротив, подперев остроскулую щеку ладонью. Андрей искоса, молча посматривал на гордую ее голову, отягощенную глянцеви́то-черным узлом волос. Были они у нее густы, на вид жестки, как конская гриза, но возле крохотных ушей по-детски беспокойно и мягко курчавились. Марина в упор щурилась на Андрея удлиненный, чуть косо́й в разрезе черный глаз.

— Подлить еще? — спросила она.

— Ну что ж, — согласился Андрей и ладонью вытер белесый ус. Он было приналег опять на борщ, Марина сноза, сидя против него, смотрела звериносторожким и ждущим взглядом, но как-то нечаянно увидел Андрей на ее полной шее стремительно пульсирующую синюю жилку и почему-то смутился, отожил ложку.

— Чего же ты? — она недоуменно взмахнула черными крыльями бровей.

— Наелся. Спасибо. Завтра утрецом приду докрою.

Марина обошла стол. Медленно обвивая в улыбке плотно слитые зубы, прижимаясь к Андрею большой мягкой грудью, шопотом спросила:

— А может, у меня заночуешь?

— И это можно, — не нашелся иного сказать растерявшийся Андрей. И Марина, мстя за глупое слово, согнула в поклоне полнеющий стан.

— То-то спасибо, кормилец! Уважил бедную вдову... А я-то, грешница, боялась, думала откажешься...

Она проворно дунула на жирник, в потемках постелила постель, заперла на задвижку дверь в сенях и с презрением, с чуть заметной досадой сказала:

— В тебе казачьего — поганая капля. Ведерник тамбовский тебя делал.

— Как так? — обиделся Андрей и даже сапог перестал стаскивать.

— Так же, как и других прочих. По глазам судить — лихие они у тебя, а вот у бабы попросить робеешь. Тоже кресты на войне получал! — Она заговорила невнятной, зажав зубами шпильки, расплетая волосы. — Моего Мишу помнишь ты? Он ростом меньше меня был. Ты — ровный мне, а он чудок меньше. Так вот я его любила за одну смелость. Он и самому сильному, бывало, в кабаке не уступит, хоть нос в крови, а он все непобитый. Может, через это он и помер. Он ить знал, что я его любила... — с гордостью кончила она.

Андрей вспомнил рассказы хуторных казаков — однополчан Маринино́го мужа, бывших свидетелями его смерти: будучи в рекогносцировке, он повел свой взвод в атаку на вдвое превосходящий числом раз'езд, те «Люисом» обратили их в бегство, выбили из седел в угон четырех казаков, а самого Михаила Пояркова отрезали от остальных, попытались догнать. Трех преследовавших его красноармейцев он в упор убил, отстреливаясь на скаку, а сам, будучи лучшим в полку по джигитовке, начал вольтижировать, спасаясь от выстрелов, и ускакал бы, но конь попал ногой в какую-то ямину, переломил при падении ногу хозяину.

Андрей улыбнулся, вспомнив рассказ о смерти Пояркова.

Марина легла, часто дыша, придвинулась к Андрею. Через полчаса она, продолжая начатый разговор, прошептала:

— Мишку за смелость любила, а вот тебя... так, ни за что, — и прижалась к груди Андрея маленьким пылающим ухом. А ему в полутемноте показалось

что глаз ее светится огнисто и непокорно, как у норовистой ненаезженной лошади. Уже перед зарей она спросила:

— Придешь завтра хату докрывать?

— Ну, а то как же? — удивился Андрей.

— Не ходи...

— Почему такое?

— Ну, уж какой из тебя крыльщик! Дед Шукарь лучше тебя кроет, — и громко засмеялась.

— Нарочно тебя покликкала!.. Чем же, окромя, примануть? То-то ты мне убытку наделал! Хату все одно надо перекрывать под корешок.

Через два дня хату перекрывал дед Шукарь, хуля перед хозяйкой никудышнюю работу Андрея.

А Андрей с той поры каждую ночь стал наведываться к Марине. И сладка показалась ему любовь бабы на десять лет его старшей, сладка, как лесовое яблоко-зимовка, запаленное первым заморозком...

В хуторе о их связи скоро узнали и встретили ее по-разному. Мать Андрея поплакала, пожалилась соседкам. «Страма! Со старухой связался». Но потом смирилась, притихла. Нюрка, соседская девка, с которой при случае Андрей и пошучивал, и баловался, долго избегала с ним встреч, но как-то еще по чернотропу, на рубке хвороста встретилась лицом к лицу, побледнела.

— Оседлала тебя старуха? — спросила она, улыбаясь дрожащими губами и не пытаясь скрывать блеснувших под ресницами слез.

— Дыхнуть нечем! — попробовал отшутиться Андрей.

— Моложе аль не нашлось бы? — отходя, спросила Нюрка.

— Да я сам-то глянь-ка какой. — Андрей снял папаху, указывая голицей на свою иссеченную сединой голову.

— А я дура и седого тебя, кобеля, прилюбила! Ну, стало быть, прощай, — и ушла, оскорбленно неся голову.

Макар Нагульнов коротко сказал:

— Не одобряю, Андрюха! Вахмистра она из тебя сделает и мелкого собственника. Ну-ну, шутю, не видишь, что ли?

— Женись уж на ней законным путем, — однажды раздобрилась мать. — Шудай в снохах походит.

— Не к чему, — уклончиво отвечал Андрей.

Марина будто двадцать лет с плеч скинула. Она встречала Андрея по ночам сдержанно, сияя чуть косо поставленными глазами, обнимала его с мужской силой, и до белой зорьки не сходил со скуластых смуглых щек ее вишневый, яркий румянец. Будто девичье время вернулось к ней! Она вышивала Андрею цветные и сборные из шелковых лоскутков кисеты, преданно ловила каждое его движение, заискивала, потом с чудовищной силой проснулись в ней ревность и страх потерять Андрея. Она стала ходить на собрания только для того, чтобы там наблюдать за ним, не играет ли он с молодыми бабами? Не глядит ли на какую? Андрей первое время тяготился такой неожиданно пришедшей опекой, ругал Марину и даже несколько раз побил, а потом привык и его чувству мужского самолюбия это обстоятельство стало даже льстить. Марина, выдобриваясь, отдала ему вскому мужнину одежду. И вот Андрей, до того ходивший голодранцем, не стыдясь на правах преемника, защеголял на Гремячему в суконных вахмистрских шароварах и рубахах, рукава и ожерельки которых были ему заметно коротки и узковаты.

Он помогал своей любушке в хозяйстве, с охоты нес ей убитого зайца или вязанку куропаток. Но Марина никогда не злоупотребляла своей властью и не обделяла мать Андрея, хотя и относилась к ней с чувством скрытой враждебности.

Да она и сама не плохо справлялась с хозяйством и могла бы легко обходиться без мужской помощи. Не раз Размётнов со скрытым удовольствием наблюдал, как она подымает на вилах трехпудовый ворох пшеницы, опутанной розовой повитью, или, сидя на лобогрейке, мечет из-под стрекочущих крыльев валы скошенного полнозерного ячменя. В ней было много мужской ухатистости и силы. Даже лошадь она запрягала по-мужски, упираясь ступней в ободь клеща, разом затягивая сунь.

С годами чувство к Марине застарело, надежно укоренилось. Андрей изредка вспоминал о первой жене, но воспоминания уже не приносили преж-

ней режущей боли. Иногда лишь, встречаясь со старшим сыном Аникея Десяткина, эмигрировавшего во Францию, Андрей бледнел: так разительно было сходство между отцом и сыном.

А потом опять в работе, в борьбе за кусок хлеба, в суете рассыдалась злоба, и тупая, ноющая, уходила боль, похожая на ту боль, которую иногда испытывал он от рубца на лбу — памятки, оставленной некогда палашом мадьярского офицера.

С собрания бедноты Андрей пошел прямо к Марине. Она прjala шерсть, дожидаясь его. В низенькой комнатушке снотворно жужжала прялка, было жарко натоплено. Кучерявый озорной козленок цокотал по земляному полу крохотными копытцами, намереваясь скакнуть на кровать.

Размётнов раздраженно поморщился:

— Погоди гонять кружало!

Марина сняла с подлапника прялки бутую в остроносый чирик ногу, сладко потянулась, выгиная широкую, как ковский круп, спину.

— Чего ж на собрании было?

— Кулаков завтра начнем потрошить.

— Взаправди?

— В колхоз нынче беднота вступила всем собранием. — Андрей, не снимая шиджака, прилег на кровать, схватил на луки козленка — теплый шерстяной колючек. — Ты завтра неси заявление.

— Какое? — изумилась Марина.

— О принятии в колхоз.

Марина вспыхнула, с силой сунула в печь прялку.

— Да ты никак одурел? Чего я там тебе видала?

— Давай, Марина, об этом не спорить. Тебе надо быть в колхозе. Скажут про меня: «Людей в колхоз привлекает, а Марину свою отгородил». Сосесть будет зазреть.

— Я не пойду! Все одно не пойду! — Марина прошла мимо кровати, опашнув Андрея запахом пота и разгоряченного тела.

— Тогда, гляди, придется нам — горшок об горшок и врозь.

— Загрозил!

— Я не грожу, а только мне иначе чельзя.

— Ну и ступай! Поведу я им своим коровенку, а сама с чем буду? Ты же придешь, трескать будешь проситы!

— Молоко будет обче.

— Может, и бабы будут обче? Через это ты и пужаешь?

— Побил бы тебя, да что-то охоты нет. — Андрей столкнул на пол козленка, потянулся к шапке, и как удавку, захлестнул на шее пуховый шарфишко.

«Каждого чорта надо уговаривать да проситы! Маришка, и эта в дыбки становится. Что же завтра на общем собрании будет? Побьют, ежели дюже нажимать» — злобно думал он, шагая садами к своей хате. Он долго не спал, ворочался, слышал, как мать два раза вставала смотреть тесто. В сарае голосил дьявольски горластый петух. Андрей с беспокойством думал о завтрашнем дне, о ставшей на пороге перестройке всего сельского хозяйства. У него явилось опасение, что Давыдов сухой и черствый (таким он ему казался), каким-нибудь неосторожным поступком оттолкнет от колхоза середняков. Но он вспомнил его коренастую, прочного литья фигуру, лицо, напряженное, собранное в комок, с жесткими складками по обочинам щек, с усмешливо-умными глазами, вспомнил, как на собрании Давыдов, наклонясь к нему за спиной Нагульнова и дыша в лицо по-детски чистым, терпко-винным запахом щербатого рта, сказал во время выступления Любишкина: «Партизан-то парень грубой, но вы его забросили, не воспитали, факт! Надо над ним поработать». Вспомнил и обрадованно решил: «Нет, этот не подведет. Макара вот кого надо взнуздывать! Как бы он в горячности не отчебучил какое-нибудь колено. Макару попадет шлея под хвост — тогда и повозки не собрать. Да, не собрать... А чего не собрать? Повозки... При чем тут повозка? Макара... Титок... завтра... Сон, подкраившись гасил сознание. Андрей засыпал, и губ его медленно, как капля росы с желобка листа, стекала улыбка.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Часов в восемь утра Давыдов, придя в сельсовет, застал уже в сборе четырнадцать человек гремаченской бедноты

— А мы вас давно ждем, спозаранку, — улыбнулся Любишкин, забирая в свою здоровенную ладонь руку Давыдова.

— Не терпится... — пояснил дед Щукарь.

Это он, одетый в белую бабью шубу, с первого дня приезда Давыдова перешучивал с ним во дворе сельсовета. С того дня он почел себя близким знакомым Давыдова и обращался с ним, не в пример остальным, с дружественной фамильярностью. Он так перед его приходом, и говорил: «Как мы с Давыдовым решим, так и будет. Он позавчера долго со мной калякал. Ну, были промеж сурьезного и шутейные разговоры, а то все больше обсуждали с ним планы, как колхоз устраивать. Веселый он человек, как я...»

Давыдов угадал Щукаря по белой шубе и, сам того не зная, жестоко его обидел:

— А, это ты, дед? Вот видишь: позавчера ты как будто огорчился, узнав для чего я приехал, а сегодня, уж сам колхозник. Молодец!

— Некогда было... некогда, потому я ушел-то... — забормотал дед Щукарь, боком отодвигаясь от Давыдова.

Было решено итти выселять кулаков, разбившись на две группы. Первая должна была итти в верхнюю часть хутора, вторая — в нижнюю. Но Нагульнов, которому Давыдов предложил руководить первой группой, категорически отказался. Он нехорошо смутился под перекрестными взглядами, отозвал Давыдова в сторону.

— Ты чего номера выкидываешь? — холодно спросил Давыдов.

— Я лучше пойду со второй группой в нижнюю часть.

— А какая разница?

Нагульнов покусал губы, отвернувшись сказал:

— Об этом бы... Ну, да все равно узнаешь! Моя жена... Лушка... живет с Тимофеем, сыном Фрола Дамаскова — кулака. Не хочу! разговоры будут. В нижнюю часть пойду, а Размётнов пуцай с первой...

— Э, брат, разговоров бояться... но я же настаиваю. Пойдем со мной, со второй группой.

Давыдов вдруг вспомнил, что ведь сегодня же он видел над бровью жены

Нагульнова, когда та подавала им застывший лимонно-зеленоватый застарелый синяк; морщась и двигая шею словно на воротник ему попала сениая труха, спросил:

— Это ты ей посадил фонарь? Бьешь?

— Нет, не я.

— А кто же?

— Он.

— Да кто он?..

— Ну, Тимошка... Фролов сын...

Давыдов несколько минут недоумевающе молчал, а потом озлился:

— Да ну, к чорту! Не понимаю! Пойдем, после об этом.

Нагульнов с Давыдовым, Любишкин, дед Щукарь и еще трое казаков вышли из сельсовета.

— С кого начнем? — Давыдов спрашивал, не глядя на Нагульнова. Оба они по-разному чувствовали после разговора какую-то неловкость.

— С Титка.

По улице шли молча. Из окон на низ любопытствующе посматривали бабы. Девора было увязалась следом, но Любишкин вытянул из плетня хворостину и догадливые ребята отстали. Уже когда подошли к дому Титка, Нагульнов ни к кому не обращаясь, сказал:

— Дом этот под правление колхоза занять. Просторный. А из сараев сделать колхозную конюшню.

Дом действительно был просторный. Титок купил его в голодный 22-й год за яловую корову и три пуда муки на соседнем хуторе Тубянском. Вся семья бывших владельцев вымерла. Некому было потом судиться с Титком за кабальную сделку. Он перевез дом в Гремячий, перекрыл крышу, поставил русские сараи и конюшню, обстроился на вечность... С крашеного охрой карниза смотрела на улицу затейливо сделанная маляром надпись славянского письма:

«Т. К. Бородин. Р. Х. 1923 год».

Давыдов с любопытством оглядывал дом. Первый вошел в калитку Нагульнов. На звяк щеколды из-под амбара выскочил огромный, волчьей окраски цепной собака. Он рванул без лая стал на задние лапы, сверкая белой, пушистой брюшиной, и, задыхаясь, хрипя от перехватившего горло ошейника, глухо зарычал. Бросаясь вперед, опроки

дываясь на спину, несколько раз он пыгался перервать цепь, но, не осилив, помчался к конюшне, и над ним, кагсь по железной протянутой до конюшни проволоке, певуче зазвенело цепное кольцо.

— Такой чертан сседлает — не вырвешься, — бормотал дед Шукарь, опасливо косясь и на всякий случай держась поближе к плетню.

В курень вошли толпой. Жена Титка, худая высокая баба, поила из лоханки гелка. Она со злобной подозрительностью оглядела неожиданных гостей. На приветствие буркнула что-то похожее на «черти тут носят»..

— Тит дома? — спросил Нагульнов.

— Нету.

— А где же он?

— Не знаю, — отрезала хозяйка.

— Ты знаешь, Перфильевна, чего мы пришли? Мы... — загадочно начал было дед Шукарь, но Нагульнов так вороннул в его сторону глазами, что дед судорожно глотнул слюну, крикнул и сел на лавку, не без внушительности запахивая полы белой невыдубленной шубы.

— Кони дома? — спрашивал Нагульнов, словно и не замечая неласкового приема.

— Дома.

— А быки?

— Нету. Вы чего явились-то?

— С тобой мы не можем... — снова начал было дед Шукарь, но на этот раз Любишкин, пятясь к двери, потянул его за полу, и дед, стремительно увлеваемый в сени, так и не успел кончить фразы.

— Где же быки?

— Уехал на них Тит.

— Куда?

— Сказала тебе, не знаю!

Нагульнов мигнул Давыдову, вышел. Шукарю на ходу поднес к бороде кулак, посоветовал:

— Ты молчи, пока тебя не спросят! — и к Давыдову: — Плохи дела! Надо поглядеть, куда быки делись. Когда б он их не спровадил...

— Так без быков...

— Что ты! — испугался Нагульнов. — У него быки — первые в хуторе. Рда не достанешь. Как можно! Надо и

Титка, и быков искать. — Пошептавшись с Любишкиным, они пошли к скотиньему базу, оттуда под сарай и на гумно Минут через пять Любишкин, вооружившись слегой, принудил кобеля к отступлению, загнал под амбар, а Нагульнов вывел из конюшни высокого серого коня, обратал его и, ухватившись за гриву, сел верхом.

— Ты чего это, Макар, не спросясь, распоряжаешься на чужом базу? — закричала хозяйка, выбежав на крыльцо, руки — в бока. — Вот муж вернется, я ему!.. Он с тобой потолкует!..

— Не ори! Я бы сам с ним потолковал, кабы он дома был. Товарищ Давыдов, а ну-ка пойди сюда! — Давыдов, сбитый с толку поведением Нагульнова подошел.

— С гумна свежие бычьи следы на шлях. Видать, Тит пронюхал, погнал быков сдавать. А сани все под сараем. Брешег баба! Идите, пока кончайте Кочетова, а я побегу верхи в Тубянской. Окромья, гнать ему их некуда. Сломи-ка мне хovorостинку погонять.

Прямо через гумно Нагульнов направился на шлях. За ним восстанавливала белая пыль, медленно оседающая на плетнях и на ветках бурьяна слепяще-ярким кристаллическим серебром. Бычьи следы в сбочь копытный след лошади тянулись до шляха, там исчезали. Нагульнов проскакал по направлению к Тубянскому саженой сто. По пути на снежных переносах он видел все те же следы, чуть присыпанные поземкой, и, успокоившись, что направление правильное, поехал тише. Так отмахал он версты полторы, как вдруг на новом переносе следов не оказалось. Круто повернул коня, прыгнул, внимательно разглядывая: не замело ли их снегом. Перенос был не тронут, девственно-чист. В самом низу виднелись крестики сорочьих следов. Выругавшись, Нагульнов поехал назад уже шагом, поглядывая по сторонам. На следы напал вскоре. Быки, оказалось, свернули со шляха неподалеку от толоки. На быстрой рыси Нагульнов следы их просмотрел. Он сообразил, что Титок направился через бугор прямым в хутор Войсковой. «Должно быть, к кому-нибудь из знакомцев» — подумал, направляя по следам и сдерживая бег коня. На той стороне бугра возле

Мертвого буерака приметил на снегу бычий помет, остановился: помет был свежий, на нем только недавно изморозью, тончайшей пленкой лег ледок. Нагульнов нащупал в кармане полушубка холодную колодку нагана. В буерак спустился шагом. Еще с полверсты проехал и только тогда увидел неподалеку, за купой голых дубов, верхового и пару разналыганных быков. Верховой помакивал на быков налыгачом, горбился в седле. Из-за плеч его схватывался синий табачный дымок, таял навстречу.

— Поворачивай!

Титок остановил заржавшую кобылу, оглянулся, выплюнул цыгарку и медленно заехал быкам наперед, негромко сказал:

— Что так? Тпрууу, гоф, стойте!

Нагульнов подехал. Титок встретил его долгим взглядом.

— Ты куда направлялся?

— Быков продать хотел, Макар. Я не скрываюсь. — Титок высморкался. Ружие, вислые, как у монгола, усы тщателью вытер рукавицей. Они стояли, не спешиваясь, друг против друга. Лошади их с похрапом обнюхивались. Опаленное ветром лицо Нагульнова было разгорячено, зло. Титок внешне спокоен и тих.

— Завертай быков и гони домой! — приказал Нагульнов, отъезжая в сторону.

Одну минуту Титок колебался... Он перебирал поводья, нагнув дремотно голову, полузакрыв глаза, и в своем сером домотканном зипуне с накинутым на рваный малахан капюшоном был похож на дремлющего ястреба. «Если у него под зипуном что-нибудь есть, то он сейчас расстегнет крючок» — думал Нагульнов, глаз не спуская с неподвижного Титка. Но тот, словно очнувшись, махнул налыгачом. Быки дошли своим следом обратно.

— Забирать будете? Раскулачивать? — после долгого молчания спросил Титок, сверкнув на Нагульнова из-под надвинутого по брови капюшона синими белками.

— Дожилась! Гоню тебя, как пленного гада! — не выдержал, вскричал Нагульнов.

Титок поежился. До самого бугра молчал. Потом спросил:

— Меня куда будете девать?

— Вышлем. Это что у тебя под зипуном выпинается?

— Отрез. — Титок искоса глянул на Нагульнова, распахнул полу зипуна.

Из кармана сюртука белым мослом выглянула небрежно обструганная, заляпанная рукоять отреза.

— Дай-ка его мне. — Нагульнов протянул руку, но Титок спокойно отвел ее.

— Нет, не дам! — и улыбнулся, оголяя под вислыми усами черные обкуранные зубы, глядя на Нагульнова острыми, как у хоря, но веселыми глазами. — Не дам! Имущество забирате, да еще отрез последний? Кулак должен быть с отрезом, так про него в газетах пишут. Беспременно чтобы с отрезом. Я, может, им хлеб насущный добывать буду, а? Селькоры мне без надобностей... — он смеялся, покачивал головой, рук с луки не снимая, и Нагульнов не стал настаивать на выдаче отреза. — «Там в хуторе я тебя обломаю» — решил он.

— Зачем небось думаешь, Макар, он с отрезом поехал? — продолжал Титок — Греха с ним... Он у меня чорт-те с каких пор, тогда ишо принес с хохлячьего восстания, помнишь? Ну, лежи себе отрез, приржавел. Я его почистил смазал, — чин-чином, думаю, может, от зверя или от лихого человека сподится. А вчера узнал, что вы собираетесь иттить кулаков перетряхать... Только не смикитил я, что вы нонче тронетесь.. А то бы я с быками-то ишо ночью ко мандировался...

— От кого узнал?

— Ну вот, скажи ему! Слухом земля полная. Да-а-а и обсоветовали ночью с бабой быков в надежные руки сдать. Отрез я с собой зацепил, хотел прихоронить в степе, чтобы не нашли случайно на базу, да прижалел, и ты — вот он! Так у меня под коленками и зашшекотало! — оживленно говорил он, насмешливо играя глазами, тесня коня Нагульнова грудью кобылицы.

— Ты шутки потом будешь шутить Титок! А зараз постройей держись.

— Ха! Мне самое теперя и шутковать. Завоевал себе сладкую жизнь справедливую власть оборонял, а она меня — за хиршу... — голос Титка

оборванно осекся. С этого момента он ехал молча, нарочно придерживал кобылу, норовя пропустить Макара хоть на полшага вперед, но тот из опаски тоже приоставал. Быки далеко ушли от них.

— Шевели, шевели! — говорил Нагульнов, напряженно посматривая на Титка, сжимая в кармане наган. Уж он-то знал Титка! Знал его, как никто. — Да ты не отставай! Стрельнуть ежели думаешь, — все равно не придется, не успеешь.

— А ты пужливый стал! — улыбнулся Титок и, хлестнув коня налыгачом, поскакал вперед.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Андрей Размётнов со своей группой яришел к Фролу Дамаскову, когда тот с семьей полудновал. За столом сидели: сам Фрол — маленький тщедушный старичишка с клиноватой бородашкой и оторванной левой ноздрей (еще в детстве обезобразил лицо, падая с яблони, отсюда и прозвище Рваный), его жена, дородная и величественная старуха, сын Тимофей — парень лет двадцати двух, и дочь — девка на выданье.

Похожий на мать, статный и красивый, из-за стола встал Тимофей. Он вытер тряпкой яркие губы под юношески пушистыми усами, сощурил наглые, навывкат, глаза и с развязностью лучшего в хуторе гармониста, девичьего любимца, указал рукой:

— Проходите, садитесь, дорогие властя!

— Нам садиться некогда, — Андрей достал из папки лист. — Собрание бедноты постановило тебя, гражданин Фрол Дамасков, выселить из дома, конфисковать все имущество и скот. Так что ты кончай, полудной и выгружайся из дому. Зараз мы произведем опись имущества.

— Это почему же такое? — кинув ложку, встал Фрол.

— Уничтожаем тебя, как кулацкий класс, — пояснил ему Демка Ушаков. Фрол пошел в горницу, поскрипывая добротными, подшитыми кожей валенками, вынес оттуда бумажку.

— Вот справка, ты сам, Размётнов, ее подписывал.

— Какая справка?

— Об том, что хлеб я выполнил.

— Хлеб тут не при чем.

— А за что же меня из дому выгонять и конфисковать?

— Беднота постановила, я же тебе пояснил.

— Таких законов нету! — резко крикнул Тимофей. — Вы грабилровку устраиваете! Папаня, я зараз в рик поеду, где седло?

— Ты в рик пеший пойдешь, ежели хочешь. Коня не дам. — Андрей присел к краю стола, достал карандаш и бумагу. У Фрола синевой налился рваный нос, затряслась голова. Он, как стоял, так и опустился на пол, с трудом шевеля распухшим почернелым языком.

— Ссук-ки-ны!.. Сукины сыны! Грабьте! Режьте!

— Папаня, встаньте, ради Христа! — заплакала девка, подхватывая отца под мышки.

Фрол оправился, встал, лег на лавку и уже безучастно слушал, как Демка Ушаков и высокий застенчивый Михаил Игнатенок диктуют Размётнову:

— Кровать железная с белыми шарами, перина, три подушки, ишо две кровати деревянных...

— Горка с посудой. И посуду всю говорить? Да ну ее под такую голень!

— Двенадцать стульев, одна длинная стула со спинкой. Гармония-трехрядка.

— Гармонь не дам! — Тимофей выхватил ее из рук Демки: — Не лезь, косоглазый, а то нос расшибу!

— Я тебе так расшибу, что и мать не обмоет!

— Ключи от сундуков давай, хозяйка.

— Не давайте им, маманя! Нехай ломают, ежели такие права у них есть!

— Есть у нас права ломать? — оживляясь, спросил Демид Молчун, известный тем, что говорил только при крайней необходимости, а остальное время молча работал, молча курил с казаками, собравшимися в праздник на проуже, молча сидел на собраниях и, обычно только изредка отвечая на вопросы собеседника, улыбался виновато и жалостно. Распахнутый мир был полон для Демиды излишне громких звуков. Они наливали жизнь до краев, не затихая и ночью, мешали прислушиваться к тиши-

не, нарушали то мудрое молчание, которым полна бывает степь и лес под осень. Не любил Демид людского гомона. Жил он на отшибе в конце хутора, был работящим и по силе первым во всей округе. Но как-то пятнила его судьба обидами, обделяла, как пасынка... Он пять лет жил у Фрола Дамаскова в работниках, потом женился, отошел на свое хозяйство. Не успел обстроиться, — погорел. Через год еще раз пожар оставил ему на подворье одни пахнувшие дымом сохи. А вскоре ушла жена, заявив: «Два года жила с тобой и двух слов не слышала. Нет уж, живи один! Мне в лесу с бирюком и то веселей будет. Тут с тобой и умом тронешься. Сама с собой уж начала я гутарить...»

А ведь было привыкла к Демиду баба. Первые месяцы, правда, плакала, приставала к мужу: «Демидушка! Ты хоть погутарь со мной. Ну, скажи словцо!» Демид только улыбался тихой ребячьей улыбкой, почесывая волосатую грудь. А когда уж становилось невтерпех от докучаний жены, нутряным басом говорил: «Чисто сорока ты!» — и уходил. Демиду почему-то окрестила молва человеком гордым и хитрым, из тех, что «себе на уме». Может быть, потому, что всю жизнь дичился он шумоватых людей и громкого звука?

Поэтому-то Андрей и вскинул голову, заслышав над собой глухой гром Демидова голоса.

— Права? — переспросил он, смотря на Молчуна так, как будто увидал его впервые. — Есть права!

Демид, косолапо ступая, грязня пол мокрыми изношенными чириками, пошел в горницу. Улыбаясь, легко, как ветку, отодвинул рукой стоявшего в дверях Тимофея и—мимо горки, с жалобно зазвеневший под его шагами посудой—к сундуку. Присел на корточки, повертел в пальцах увесистый замок. Через минуту замок со сломанной шейкой лежал на сундуке, а Аркашка Менок, с нескрываемым изумлением, оглядывая Молчуна, восхищенно воскликнул:

— Вот бы с кем поменяться силенкой!

Андрей не успевал записывать. Из горницы, из зала Демка Ушаков, Аркашка и тетка Василиса—единственная женщина в Андреевой группе—наперебой разногласо выкрикивали:

— Шуба бабья, донская!

— Тулуп!

— Три пары новых сапог с калошами!

— Четыре отреза сукна!

— Андрей! Разметнов! Тут, парнишка, товару на воз не заберешь! И ситцу, и сатин черный, и всякая иная...

Направившись в горницу, Андрей услышал из сеней девичьи причитания, крик хозяйки и урезонивающий голос Игнатенка. Андрей распахнул дверь:

— В чем тут у вас?

Опущшая от слез курносая хозяйская дочь редела белугой, прислонясь к двери. Возле нее металась и кудахтала мать, а Игнатенок, весь красный, смущенно улыбаясь, тянул девку за подол:

— Ты чего тут... твою мать?!. — Андрей, не разобрав в чем дело, задохнулся от гнева, с силой толкнул Игнатенка. Тот упал на спину, задрал длинные ноги в валяных опорках. — Тут кругом политика! Наступление на врага, а ты девок по углам лапашь?!. А под суд за...

— Да ты постой, погоди!—испуганно вскочил с пола Игнатенок. — На кой она мне... снилась! Лапашь ее! Ты погляди, она на себя девятую юбку натягивает! Я не допускаю к тому, а ты—пихаться...

Тут только Андрей доглядел, что девка, под шумок вытащившая из горницы узел с нарядами, и в самом деле уже успела натянуть на себя ворох шерстяных платьев. Она, забившись в угол, одергивала подол, странно неповоротливая, кургузая от множества стеснявших движения одежин. Андрею стали противны и жалки ее мокрые, красные, как у кролика, глаза. Он хлопнул дверью, сказав Игнатенку:

— Не мочи ее телешить! Что успела одеть, — чорт с ней, а узел заberi.

Опись находившегося в доме имущества подходила к концу.

— Ключи от амбара, — потребовал Андрей.

Фрол, черный, как обугленный пень, махнул рукой.

— Нету ключей!

— Иди ломай, — приказал Андрей Демиду.

Тот направился к амбару, по пути выдернув из арбы шворень.

Пятифунтовый замок-гирю с трудом одолели топором.

— Ты притолоку-то не руби! Наш леперя амбар, ты по-хозяйски. Легше! Легше! — советовал сопевшему Молчу-ну Демка. Начали перемерять хлеб.

— Может, его зараз и подсеем? Вон в сусеке грохот ¹⁾ лежит, — предложил хнычавший от радости Игнатенок.

Его высмеяли и долго еще шутили, на-ыпая в меры тяжеловесную пшеницу.

— Тут ишо можно на хлебозаготовку пудов двести сыпать, — по колено бродя в зерне, говорил Демка Ушаков. Он кидал пшеницу лопатой к выгребу закрома, хватал ее рукой, цедил сквозь пальцы.

— По пультке дюже должна зава-жить.

— Куда там! Червонного золота пшеница, только, видать, в земле была, видишь, тронутая.—Аркашка Менок и еще один парень из группы хозяйничали на базу. Аркашка поглаживал русую бородку, указывал на бычий помет с торчавшими из него непереваренными зернами кукурузы:

— Как же им не работать? Хлеб чистый едят, а у нас в товариществе и сенца в натруску.

Из амбара неслись оживленные голоса, хохот, пахучая хлебная пыль, иногда крепко присоленное слово... Андрей вернулся в дом. Хозяйка с дочерью собрали в мешок чугуны и посуду. Фрол, попокойнички скрестив на груди пальцы, лежал на лавке уже в одних чулках. Присмиривший Тимофей взглянул ненавидяще, отвернулся к окну.

В горнице Андрей увидел сидевшего на корточках Молчуна. На нем были новые подшитые кожей Фроловы валенки... Не видя вошедшего Андрея, он черпал столовой ложкой мед из ведерного жестяного бака и ел, сладко жмурясь, причмокивая, роняя на бороду желтые тянкие капли...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Нагульнов с Титком вернулись в хутор уже в полдень. За время их отсутствия Давыдов описал имущество в двух

¹⁾ Большое, в диаметре метра 1½, решето для очистки хлеба.

кулацких хозяйствах, выселил самих хозяев, потом вернулся к Титку во двор и совместно с Любишкиным перемерч и взвесил хлеб, найденный в князешнике Дед Щукарь положил в ясли об'едья овцам и проворно пошел от овечьего база, увидев подхотившего Титка.

Титок ходил по двору в распахнутом зипуне с обнаженной головой. Он было направился к гумну, но Нагульнов крикнул ему:

— Воротись зараз же, а то в амбар запру!..

Он был зол, взволнован, сильнее обычного подергивалась его щека... Просмотрел он, как и где успел Титок, выбросить отрез. Но только, когда подехали к гумну и Нагульнов спросил:

— Отрез-то отдашь? А то ведь оты-мем.

— Брось шутить! — Титок заулыбался:—тебе он, должно, привиделся?..—Не оказалось отреза у него и под зипуном. Ехать назад искать было бессмысленно: в глубоком снегу, в бурьянах все равно не найти. Нагульнов, злобясь на себя, рассказал об этом Давыдову, и тот, все время с любопытством присматривавшийся к Титку, подошел к нему:

— Ты оружие-то отдай, гражданин! Так оно тебе спокойнее будет.

— Не было у меня оружия! Нагульнов это по насердке на меня. — Титок улыбнулся, играл хоринными глазами.

— Ну, что ж, придется тебя арестовать и отправить в район.

— Меня-то?

— Да, тебя. А ты думал как? Будем считаться с твоим прошлым? Ты хлеб укрываешь, готовишь...

— Меня?.. — согнувшись, как для прыжка, со свистом дыша, повторил Титок.

Вся наигранная веселость, самообладание, сдержанность — все покинуло его в этот момент. Слова Давыдова были толчком к взрыву накопившейся и сдерживаемой до этого лютой злобы. Он шагнул к попятившемуся Давыдову, споткнулся о лежавшее посреди двора ядро и, нагнувшись, вдруг выдорнул железную занозу. Нагульнов и Любишкин кинулись к Давыдову. Дед Щукарь побежал со двора. Он, как на зло запутался в чрезмерно длинных полах своей шубы, упал дико взывая:

— Ка-ра-а-ул, люди добрые! Убивают!

Титок, схваченный Давыдовым за кисть левой руки, правой успел нанести ему удар по голове. Давыдов качнулся, но на ногах устоял. Кровь из рассеченной раны густо хлынула ему в глаза, ослепила. Давыдов выпустил руку Титка, шагаясь, закрыл ладонью глаза. Второй удар повалил его на снег. В этот-то момент Любишкин и обхватил Титка поперек. Он не удержал его, несмотря на свою немалую силу. Вырвавшись у него из рук, Титок прыжками побежал к гумну. У ворот его догнал Нагульников, рукоятью нагана стукнул по плоскому, густановолосому затылку.

Сумятицу усугубила Титкова баба. Видя, что к мужу бегут Любишкин и нагульников, она метнулась к амбару, спустила с цепи кобеля. Тот, гремя железным ошейником, наметом околесил двор и, привлеченный испуганными криками деда Шукаря, его распластанной на снегу шубой, надел на него... Из белой шубы с треском и пылью полетели лоскуты и овчинные клочья. Дед Шукарь вскопчил, неистово брыкая кобеля ногами, пытаясь выломать из плетня кол. Он сажня два протащил на своей спине вцепившегося в воротник разъяренного цепняка, качаясь под его могучими рычаниями. Наконец отчаянным усилием ему удалось выдернуть кол. Кобель с воем отскочил, успев-таки напоследок распустить дедову шубу надвое.

— Дай мне ливольверт, Макар!.. — вылупив глаза, горловым голосом завопил ободрившийся дед Шукарь. — Дай, пока сердце горит! Я его вместе с хозяйкой жизни пррешу!..

Тем временем Давыдову помогли войти в курень, выстригли волосы вокруг раны, из которой все еще сочилась, пугаясь, черная кровь. Во дворе Любишкин запрягал в пароконные сани Титковых лошадей. Нагульников за столом бегло писал:

«Районному уполномоченному ГПУ г. Захаренке. Препрождаю в ваше распоряжение кулака Бородина Тита Константиновича как контрреволюционный гадский элемент. При описании имущества у этого кулака он официально произвел нападение на присланного двадцатипятилетия т. Давыдова и смог

его два раза рубануть по голове железной занозой.

Кроме этого, заявляю, что видел у Бородина винтовочный отрез русского образца, который не мог отобрать по причине условий, находясь на бугре и опасаясь кровопролития. Отрез он незаметно выкинул в снег. При отыскании доставим к вам как вещественность.

Секретарь гремяченской ячейки ВКП(б) и краснознаменец М. Нагульников».

Титка посадили в сани. Он попросил напиться и позвать к нему Нагульнова. Тот с крыльца крикнул:

— Чего тебе?

— Макар! Помни! — потрясая связанными руками, как пьяный, закричал Титок. — Помни: наши пути счастнутся! Ты меня топтал, а уж тогда я буду все одно — убью! Могила — на нашу дружбу!

— Езжай, контра! — Нагульников махнул рукой.

Лошади резво взяли со двора.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Уже перед вечером Андрей Размётнов распустил работавшую с ним группу содействия из бедноты, отправил со двора раскулаченного Гаева последнюю подводу конфискованного имущества к Титку, куда свозили все кулацкие пожитки, и пошел в сельсовет. Утром он условился с Давыдовым встретиться там за час до общего собрания, которое должно было начаться с наступлением темноты.

Андрей еще из сенцев увидел в угловой комнате сельсовета свет, вошел, широко откинув дверь. На стук Давыдов поднял от записной книжки перевязанную белым лоскутом голову, улыбнулся.

— Вот и Размётнов. Садись, мы подчитываем, сколько обнаружено у кулаков хлеба. Ну, как у тебя, прошло?

— Прошло... Что это ты обвязал голову?

Нагульников, мастеривший из газетного листа абажур на лампу, неохотно сказал:

— Это его Титок. Занозой. Отослал я Титка к Захаренке в ГПУ.

— Подожди, сейчас расскажем. — Давыдов подвинул по столу счеты. — Клади сто пятнадцать. Есть? Сто восемь...

— Постой! Постой! — встревоженно забормотал Нагульнов, осторожненько толкая пальцем колесики счетов.

Андрей посмотрел на них и, задрожав губами, глухо сказал:

— Больше не работаю.

— Как не работаешь? Где? — Нагульнов отложил счета.

— Раскулачивать больше не пойду. Ну, чего глаза выулпил? В припадок удариться хочешь что ли?

— Ты — пьяный? — Давыдов с тревогой внимательно всмотрелся в лицо Андрея, исполненное злой решимости. — Что с тобой? Что значит — не будешь?

От его спокойного тенора Андрей взбесился, заикаясь, в волнении закричал:

— Я не обучен! Я... Я... Я с детишками не обучен воевать!.. На фронте — другое дело! Там любому шашкой, чем хочешь... И катитесь вы под раз'этакую!.. Не пойду! — голос Андрея, как звук натягиваемой струны, поднимался все выше, выше, и, казалось, что вот-вот он оборвется. Но Андрей, с хрипом вдохнув, неожиданно сошел на низкий шопот:

— Да разве это дело? Я что? Кат что ли? Или у меня сердце из самородка? Мне война влилася... — и опять перешел на крик:

— У Гаева детей одиннадцать штук! Пришли мы, как они вз'южались, — шапку схватывает! На мне ажник волос ворохнулся! Зачали их из куреня выгонять... Ну; тут я глаза зажмурил, ухи заткнул и ушел на баз! Бабы по-мертвому, водой отливали сноху... детей... Да ну вас в господ-бога!..

— Ты заплачь! Оно полегшает, — посоветовал Нагульнов, ладонью плотно, до отека, придавив дергающийся мускул щеки, не сводя загоревшихся глаз с Андодея.

— И заплачу! Я, может, своего парнишку... — Андрей осекся, оскалив зубы, круто повернулся к столу спиной.

Стала тишина.

Давыдов поднимался со стула медленно... И так же медленно крылась трупной синевой одна незавязанная щека его, бледнело ухо. Он подошел к Андрею, взял за плечи, легко повернул. Заговорил, задыхаясь, не сводя с Андреева лица ставшего огромным глаза.

— Ты их жалеешь... Жалко тебе их.

А они нас жалели? Враги плакали от слез наших детей? Над сиротами убитых плакали? Ну? Моего отца уволили после забастовки с завода, сослали в Сибирь... У матери нас четверо... мне старшему девять лет тогда... Нечего было кушать, и мать пошла... Ты смотри сюда! Пошла на улицу мать, чтобы мы с голоду не подохли! В комнатку нашу — в подвале жили — ведет гостя... Одна кровать осталась... А мы за занавеской... на полу... И мне девять лет... Пьяные приходили с ней... А я зажимаю маленьким сестренкам рты, чтобы не ревели... Кто наши слезы вытер? Слышишь ты?.. Утром беру этот проклятый рубль... — Давыдов поднес к лицу Андрея свою закожаневшую ладонь, мучительно закрипел зубами, — мамой заработанный рубль и иду за хлебом... — и здруг, как свинчатку, сразу же кинул на стол черный кулак, крикнул: — Ты!! Как ты можешь жалеть?!

И опять стала тишина. Нагульнов вкогтился в крышку стола, держал ее, как коршун добычу. Андрей молчал. Тяжело, всхлипами дыша, Давыдов с минуты ходил по комнате, потом обнял Андрея за плечи, вместе с ним сел на лавку, надтреснутым голосом сказал:

— Эка, дурило ты! Пришел и ну, давай орать... «не буду работать... дети... жалость...» Ну, что ты наговорил, ты опомнись? Давай потолкуем. Жалко стало, что выселяют кулацкие семьи? Подумаешь! Для того и выселяем, чтобы не мешали нам строить жизнь, без таких вот... чтобы в будущем не повторялось... Ты — советская власть в Гремячем, а я тебя должен еще агитировать? — и с трудом, натужно улыбнулся:

— Ну, выселим кулаков к чорту, на Соловки выселим. Ведь не подохнут же они? Работать будут — кормить будем. А когда построим, эти дети уже не будут кулацкими детьми. Рабочий класс их перевоспитает. — Достал пачку папирос и долго дрожащими пальцами никак не мог ухватить папиросу.

Андрей неотрывно смотрел в лицо Нагульнова, одевавшееся мертвенной пленкой. Неожиданно для Давыдова он быстро встал, и тотчас же, как кинутый трамплином, подпрыгнул Нагульнов.

— Гад! — выдохнул он звенящим шопотом, стиснув кулаки: — Как служишь революции?! Жа-ле-е-ешь? Да я... —

— Да не кричи ты! Сядь! — встревожился Давыдов.

Андрей, опрокинув стул, торопливо шагнул к Нагульнову, но тот, прислонясь к стенке, запрокинув голову, с закатившимися глазами пронзительно протяжно закричал:

— Зарублю-у-у-у!.. — а сам уже валился на бок, левой рукой хватая сбочь себя воздух в поисках ножей, правой судорожно шаря невидимый эфес шашки.

Андрей успел его подхватить на руки, чувствуя, как страшно напряглись все мускулы отяжелевшего Макарова тела, как стальной пружиной распрямились ноги.

— Припадок... Ноги ему держи!.. — успел он крикнуть Давыдову.

В школу они пришли, когда там уж битком набился пришедший на собрание народ. Помещение не могло вместить всех. Казаки, бабы и девки густо стояли в коридоре, на крыльце. Из жерла настежь распахнутых дверей вылетал пар, мешаясь с табачным дымом.

Нагульнов бледный шел по коридору первый. Под отчетливым шагом его похрустывала подсолнечная лузга. Казаки сдержанно поглядывали на него, наступаясь. Зашептали, увидя Давыдова.

— Это и есть Давыдов? — громко спросила девка в цветастой шальке, указывая на Давыдова носовым платком, туго набитым семечками.

— В пальте... А сам небольшой.

— Небольшой, а маштаковатый, гля, у него шеяка, как у доброго бугая! К нам для приплоду прислали, — засмеялась одна, шуря на Давыдова круглые серые глаза.

— А он в плечах просторный, тысячник-то. Этот небось обнимет, девоньки, — беззастенчиво говорила Наталья-жалмерка, поводя подкрашенной бровью.

Грубоватый прокуренный голос парня язвительно сказал:

— Нашей Наталке-давалке лишь бы в штанах.

— Голову ему уж наклевали никак? Перевязанный...

— Это от зубов небось...

— Не, Титок...

— Девки! Лапушки! И чего вы на приезжего человека гяделки вылутили? Ай у меня хуже? — немолодой выбритый дѳсиза казак, хохоча обхватил длинными руками целый табун девок, прижал их к стене. Поднялся визг. По спине казака гулко забарабанили девичьи кулаки.

Давыдов вспотел, пока добрался до классных дверей. Толпа пахуче дышала подсолнечным маслом семечек, луком, махрой, пшеничной отрыжкой. От девок и молодых баб наносило пряным запахом слежалых в сундуках нарядов, помодой. Глухой пчелиный гул стоял в школе. Да и сами люди шевелились черным кипящим клубом, похожим на отроившийся пчелиный рой.

— Лихие у вас девки, — смущенно сказал Давыдов, когда взбирались на сцену. На сцене, сбитой из шалевок, стояли две сдвинутые ученические парты. Давыдов с Нагульновым сели. Размѳтов открыл собрание. Президиум выбрали без задержки.

— Слово о колхозе предоставляет товарищу уполномоченному райкома партии Давыдову, — голос Размѳтнова смолк, и, резко убывая, пошел на отлив прибойный гул разговоров. Давыдов встал, поправил на голове повязку. Он с полчаса говорил под конец осипшим голосом. Собрание молчало. Все одутимей становилась духота. При тусклом свете двух ламп Давыдов видел лоснящиеся от пота лица в первых рядах, дальше все крылось полусумраком. Его ни разу не прервали, но когда он кончил и потянулся к стакану с водой, ливнем хлынули вопросы:

— Все надо обобществлять?

— А дома?

— Это на время колхоз аль на вечность?

— Что единоличникам будет?

— Землю не отнимут у них?

— А жрать вместе?

Давыдов долго и толково отвечал. Когда дело касалось сложных вопросов сельского хозяйства, ему помогали Нагульнов и Андрей. Был зачитан примерный устав, но, несмотря на это, вопросы не прекращались. Наконец из средних рядов поднялся казак в лисьем треухе и настежь распахнутом черном полушуб-

ке. Он попросил слово. Висячая лампа кидала косою свет на лисий треух, рыжие ворсины вспыхивали и будто дымилась.

— Я середняк-хлебороб, и я так скажу, граждане, что оно, конечно, слов нет, дело хорошее колхоз, но тут надо даже подумать! Так нельзя, чтобы — тля-ляп и в рот тебе кляп, готово. Товарищ уполномоченный от партии говорил, что дескать: «Просто сложитесь силами и то выгода будет. Так, мол, даже товарищ Ленин говорил». Товарищ уполномоченный в сельском хозяйстве мало понимает, за плугом он кубыть не ходил по своей рабочей жизни, и небось к быку не знает с какой стороны надо зайтить. Через это трошки и промахнулся. В колхоз надо, по-моему, людей так сводить: какие работающие и имеют скотину — этих в один колхоз, бедноту — в другой, зажиточных — само собой, а самых лодырей на выселку, чтобы их ГПУ научила работать. Людей мало в одну кучу свалить, толку один чорт не будет, как в сказке: лебедь крылами бьет и норовит лететь, а рак его за гузно взял и тянет обратно, а щука — энта начертилась в воду лезет...

Собрание отозвалось сдержанным смешком. Сзади резко визгнула девка, и тотчас же чей-то возмущенный голос заорал:

— Вы там, которые слабые! Шшупаться можно и на базу. Долой отседова!

Хозяин лисьего треуха вытер платочком лоб и губы, продолжал:

— Людей надо так подбирать, как добрый хозяин быков. Ить он же быков подбирает ровных по силам, по росту. А запряги разных, что оно получится? Какой посылней — будет заламывать, слабый станет, а через него и сильному бесперечь надо становиться. Какая же с них работа? Товарищ гутарил: всем хутором в один колхоз, окромя кулаков... Вот оную и получится: Тит да Афанас, разыми те нас!..

Любишкин встал, недобро пошевелил раскрылатившимся черным усом, повернулся к говорившему:

— До чего ты, Кузьма, иной раз сладко да хорошо гутаришь... Бабой был бы — век тебя слухал! (зашелестел смешок). Ты собрание уговариваешь, как

Палагу Кузмичеву... — Хохот грохнул залпом. Из лампы по-змеиному метнулось острое жало огня. Всему собранию был понятен намек, вероятно содержавший в себе что-то непристойно-веселое. Даже Нагульнов и тот улыбнулся глазами. Давыдов только хотел спросить у него о причине смеха, как Любишкин перекричал гул голосов:

— Голос-то — твой, песня — чужая! Тебе хорошо так людей подбирать. Ты этому, должно, научился, когда у Фрола Рваного в машинном товариществе состоялся? Двигатель-то у вас еще в прошлом году отняли. А зараз мы и Фрола твоего растребушили с огнем и с дымом! Вы собрались вокруг Фролова двигателя тоже в роде колхоз, кулацкий только. Ты не забыл, сколько вы за молотьбу драли? Не восьмой пуд? Тебе бы, может, и зараз та же хотелось: прислониться к богаеньким...

Такое поднялось, что насили удалось Разметнову водворить порядок. И еще долго остервенело внешним градом сыпалось:

— То-то артелью вы нажили!

— Вшей одних, трактором не подавишь!

— Сердце тебе кулаки запекли!

— Лизни его!

— Твоей головой бы подсолнух молотить!

Очередное слово выпросил малоомощный середняк Николай Люшня.

— Ты без прений. Тут дело ясное, — предупредил его Нагульнов.

— То-есть как же? А может, я именно возопреть желаю. Или мне нельзя супротив твоего мнения гутарить? Я так скажу: колхоз, дело это добровольное. хочешь иди, хочешь со стороны гляди. Так вот мы хотим со стороны поглядеть.

— Кто это «мы»? — спросил Давыдов.

— Хлеборобы то-есть.

— Ты за себя, папаша, говори. У всякого язык некупленный, скажет.

— Могу и за себя. То-есть за себя даже и гутарю. Я хочу поглядеть, какая она в колхозе жизнь разыграет? Ежели хорошая, — впишусь, а нет, — так чего же я туда полезу? Ить это рыба глупая, лезет в вентерья...

— Правильно!

— Погодим вступаты!

коровой, да за своим скворешником-двором белого света не видиге. Хоть сопливое, да мое. Вас ВКП пихает на новую жизнь, а вы, как слепой телок: его к корове под сиську ведут, а он и ногами брыкается, и головой мотаает. А телку сиську не сосать — на белом свете не жить! Вот и все. Я нынче же сяду заявление в колхоз писать и других к этому призываю. А кто не хочет — нехай и другим не мешает.

Размётнов встал:

— Тут дело ясное, граждане! Лампы у нас тухнут и время позднее. Подымайте руки, кто за колхоз. Одни хозяева дворов поднимают.

Из двухсот семнадцати присутствовавших домохозяев руки подняли только шестьдесят семь.

— Кто против?

Ни одной руки не поднялось.

— Не хотите записываться в колхоз? — спросил Давыдов. — Значит верно товарищ Майданников говорил?

— Не жа-ла-ем! — гундосый бабий голос.

— Нам твой Майданников не указ!

— Отцы-деды жили...

— Ты нас не силуй!

И когда уже замолкли выкрики, из задних рядов, из темноты, озаряемой вспышками цыгарок, чей-то запоздалый, пронзенный злостью голос:

— Нас нечего загонять дуриком! Тебе Титок раз кровь пустил и ишо можно...

Будто плетью Давыдова хлестнули. Он в страшной тишине с минуту стоял молча, бледнея, полураскрыв щербатый рот, потом хрипло крикнул:

— Ты! Вражеский голос! Мне мало крови пустили! Я еще доживу до той поры, пока таких, как ты, всех угробим. Но, если понадобится, я за партию... я за свою партию, за дело рабочих всю кровь отдам! Слышишь ты, колацкая гадина? Всю, до последней капли!

— Кто это шумнул? — выпрямился Нагульнов.

Размётнов соскочил со сцены. В задних рядах хрястнула лавка, толпа человек в двадцать с шумом вышла в коридор. Стали подниматься и в середине. Хрупнуло, звякнуло стекло: кто-то выдал оконный глазок. В пробоину хлынул свежий ветер, смерчем закружился белый пар.

— Это никак Тимошка шумнул! Фрола Рваного...

— Выселигь их из хутора!

— Нет, это Акимка! Тут с Тубьянского есть казаки.

— Смутители, язви их в жилу. Выгнать!..

Далеко за полночь кончилось собрание. Говорили и за колхоз, и против до хрипоты, до помрачения в глазах. Кое-где и даже возле сцены противника сходились и брали один одного за грудки, доказывая свою правоту. На Кондрате Майданникове родный кум его и сосед порвал до пупка рубаху. Дело чуть не дошло до рукопашной. Демка Ушаков уж было кинулся на подмогу Кондрату, прыгая через лавки, через головы сидевших, но кумовьев развел Давыдов. И Демка же первый сязвил насчет Майданникова:

— А ну, Кондрат, прикинь мозгой, сколько часов пахать тебе за порватую рубаху?

— Посчитай ты, сколько у твоей бабы...

— Но-но! Я за такие штуки с собрания буду удалять.

Демид Молчун мирно спал под лавкой в задних рядах, по-звериному лежа головой на ветер, тянувший из-под дверей, укутав голову от излишнего шума полой зипуна. Пожилые бабы, и на собрание пришедшие с недовязанными чулками, дремали, как куры на шестке, роняя клубки и иголки. Многие ушли. И когда неоднократно выступавший Аркашка Менок было еще что-то сказать в защиту колхоза, то из горла его вырвалось нечто, похожее на гусиное ядовитейшее шипенье. Аркашка помял кадык, горько махнул рукой, но все же не вытерпел и, садясь на место, — без слов показал ярому противнику колхоза Николаю Ахваткину, что с ним будет после сплошной коллективизации: на обкуранный ноготь большого пальца положил другой ноготь и — хруп! Николай только плюнул, шопотом матерясь.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Кондрат Майданников шел с собрания. Над ним сверху непогасшим костром глели Стожары. Было так тихо, что издали слышались трески лопающейся от мороза земли, шорох зябнувшей вет-

ки. Дома Кондрат зашел на баз к быкам, подложил им в ясли скупую охапку сена, вспомнив, что завтра вести их на общий баз, набрал огромное беремья сена, вслух сказал:

— Ну вот и расставанье подошло... Подвинься, лысый! Четыре года мы, казак на быка, а бык на казака работали... И путного у нас ничего не вышло. И вам впроголодь, и мне скушновато. Через это и меняю вас на обчую жизнь. Ну, чего разлопушился, будто и на самом деле понимаешь? — Он толкнул ногой бороздённого быка, отвел рукой его жующую слюнявую пасть и, встретившись глазами с лиловым бычьим глазом, вдруг вспомнил, как ждал он этого быка пять лет назад. Старая корова тогда приняла бугая так скрытно, что ни пастух, ни Кондрат не видели. Осенью долго не было заметно по ней, что она огулялась. «Яловой осталась, проклятая!» — холодел Кондрат, поглядывая на корову. Но она започинала в конце ноября, как и все старые коровы, — за месяц перед отелом. Сколько раз к концу филипповок холодными ночами Кондрат просыпался, как от толчка, всунув ноги в валенки, в одних подштанниках бежал на теплый баз смотреть: не отелилась ли? Давили морозы, телок мог замерзнуть, едва лишь облизала бы его мать... Под исход поста Кондрат почти не спал. Как-то Анна — жена его — утром вошла повеселевшая, даже торжественная:

— Старая жилы уж отпустила. Должно ночью будет.

Кондрат прилег с вечера, не раздеваясь, не гася огня в фонаре. Семь раз вышел он к корове! И только на восьмой, уже перед светом, еще не открыв дверцу на коровий баз, услышал глубокий и трудный стон, вошел: корова опрастывалась от послета, а крохотный белоноздрый телок, уже облизанный, шершавый, жалко дрожащий, искал похолодевшими губами вымя. Андрей схватил выпавший послед, чтобы корова его не с'ела¹⁾, а потом поднял телка на руки, отогревая его теплом своего дыхания, кутая в полу зипуна, на рыси понес в хату.

— Бык! — обрадованно вскрикнул он. Анна перекрестилась:
— Слава тебе, господи! Оглянулся милословец на нашу нужду!

А нужды с одной лошадежкой хватнул Кондрат по ноздри. И вот вырос бык и добре работал на Кондрата, летом и в зимнюю стужу бесчисленное количество раз переставляя свои клешнятые копыта по дорогам и пашням, волоча плуг или арбу.

Кондрат, глядя на быка, вдруг почувствовал острый комок в горле, резь в глазах. Он заплакал и пошел с база, как будто облегченный прорвавшейся слезой. Остальцы ночи не спал, курил.

«Как будет в колхозе? Всякий ли почувствует, поймет так, как понял он, что путь туда — единственный, что это — неотвратимо? Что как ни жалко вести и кинуть на общие руки худобу, выросшую вместе с детьми на земляном полу хаты, а надо вести. И подлюку-жалость эту к своему добру надо давить, не давать ей ходу к сердцу!» — об этом думал Кондрат, лежа рядом с похрапывающей женой, глядя в черные провалы темноты невидящими, ослепленными темнотой глазами. И еще думал: «А куда же ягнят, козлят сведем? Ить им хата теплая нужна, большой догляд. Как их, враженят, разбирать, ежели они все почти одинаковые? Их и матеря будут путать, и люди. А коровы? Корма как свозить? Потеряем сколько! Что если разбредутся люди через неделю же, испугавшись трудного. Тогда — на шахты, кинув Гремячий на всю жизнь. Не при чем жить остается».

Перед светом он забылся в дреме. И во сне ему было трудно и тяжело. Не легко давался Кондрату колхоз! Со слезой и с кровью рвал пуповину, соединявшую его с собственностью, с быками, с родным паем земли...

Утром он позавтракал, долго писал заявление, мучительно мооща лоб, обрванный полосой загара. Получилось:

«Товарищу Макару Нагульнову в ячейку коммунистической гремяченской партии.

З а я в л е н и е

Я, Кондрат Христофоров Майданников, середняк, прошу принять меня в колхоз с моей супругой и детьми, и имуществом, и со всей живностью. Прошу

¹⁾ До настоящей поры на Верхнем Дону широко распространено поверье, что если корова сест послед — молока нельзя употреблять двенадцать суток.

допустить меня до новой жизни, так как я с ней вполне согласный.

К. Майданников».

— Вступил? — спросила жена.

— Вступил.

— Скотину поведешь?

— Зараз поведу. Ну, чего же ты кричишь, идолова дура? Мало я на тебя слов срасходовал, уговаривал, а ты опять за старое? Ты же согласилась!

— Мне, Кондраша, одну корову жалко... Я согласная. Только уж дюже сердце болит...— говорила она, улыбаясь и завеской вытирая слезы. Следом за матерью заплакала и Христишка, младшая четырехлетняя девчушка.

Кондрат выпустил с база корову и быков, обратав лошадь, погнал к речке. Напоил. Быки повернули было домой, но Кондрат с закипевшим на сердце злом, наезжая конем, преградил им дорогу, направил к сельсовету.

Из окон, не отходя, глядели бабы, казакки поглядывали через плетни, не показывались на улицу. Не по себе стало Кондрату! Но около совета увидел он, свернув за угол, огромную, как на ярмарке, толпу — быков, лошадей, овец. Из соседнего проулка вывернулся Лю-

бишкин. Он тянул взналыганную корову, за которой поспешал телок с болтавшейся на шее веревкой.

— Давай им хвосты свяжем и погоним вместе,—попробовал шутить Любишкин, а сам по виду был задумчив, строг. Ему с немалым трудом удалось увести корову, свежая царапина на щеке была тому свидетельством..

— Кто это тебя шкарябнул?

— Греха не скрою: баба! Баба-чертяка кинулась за корову. — Любишкин заправил в рот кончик уса, недовольно цедил:—Пошла в наступ, как танка. Такое у нас кроворазлитие вышло возля база, от суседей стыду теперь не обещься. Кинулась с чаплей, не поверишь? «А, говорю, красного партизана бить? Мы, говорю, генералам и то навтыкали!» да черк ее за виски. Со стороны кто глядел, ему небось спектакля...

От сельсовета тронулись во двор к Титку. С утра еще двенадцать середняков, одумавшись за ночь, принесли заявления, пригнали скот.

Нагульнов с двумя плотниками в Титковом дворе тесал ольхи на ясли. На первые общественные ясли в Гремячем Логу.

(Продолжение следует).

Марафонский бег

ВЛАДИМИР ЛУГОВСКОЙ

Набирая дыханье,
чтобы разгореться
Яростью,
шипящей
на закушенной губе,
Двенадцать
лучших бегунов
Греции
Оканчивали
марафонский бег.
Бешено глядя
в закат просторный,
Они рассекали
криков прибой.
Торжественный стон
поднимали валторны.
Мрачным голосом
пел гобой.
Бегуны были немые
и странно немолоды,
Будто бег этот
длился
века и века.
Над грудой Акрополя
ржавым золотом
Рдели
колонны
и облака.
А вокруг бушевали,
визжали
и высывались
Шапы,
панамы
и котелки;
Усатые хари,
очкастые совы
Подпирали в кофейнях
потолки.
Вперед, бегун!
Материнское дно

Распроданной республики
зовет вперед.
Вперед, бегун —
боец Марафона,—
Вперед!!
Операторы
крутят
свои шарманки.
Десятки кодаков
бьют
в упор.
Рвутся
ослепительные
американки.
Декольтированные
до этих пор.
Вперед, бегун —
боец Марафона,
Расколотое сердце
на миг удержав.
Мимо
плывут
ледяные балконы,
Седые послы
мировых держав.
Ты уже не вестник
свободы и победы.
Солнце
впаявший
в бронзовый щит,
Ты маленький заяц
для званого обеда.
Повара хохочут.
Огонь трещит.
Маленький фашист
кривоголовый,
Сын
коринки
и векселей,

Строчит
по асфальту
сухим галопом,
Чтобы газетчики
орали веселей.
Строчит туда,
где фордов орава,
Где сенаторы и флаги
трещат у ворот,
И лихо ложится
военная слава
На оперные юбочки
гвардейских рот.
Так продолжается
вечная смена
Героев,
покорных
бесстыдной судьбе.
Розовые,
вычурные
ноги спортсменов
Все убыстряют
древний бег.
И когда
разрывает
голубую ленту
Грудь бегуна
ударом тугим,
Церемонно
никнет
цилиндр президента
И полисмены
запевают гимн.
«Свобода,—
поют они,—
вечная свобода.

Мать героев,
богов
и богинь.
Тихо струятся
кастальские воды,
Тихо рокочет
эгейская синь.
Пусть тишина,
мирра и ладан
Благоухают
в наших сердцах.
За нашу родину,
за милую Элладу,
Возблагодарим
творца!»
Басят полисмены,
тенорят клерки,
И вот победителю
уже несут
Некий золотой,
но на поверку
Слишком ослепительный
сосуд.
Довольно музыки!
Если бы разум
Не прятался
в ущельях
мозговой резьбы
Всё это позорище
нужно бы
сразу
Выкинуть из памяти
и позабыть.

Два стихотворения

НИК. УШАКОВ

СЪЕЗД СОВЕТОВ

Серебряной тучи ярче,
среди пакгаузов товарных
вокзал Ярославский —
как ларчик —
украшен
ножом
кустарным.

Четыре уральца,
а пятый,
который в мехах гуляет,
из стран,
где морские львята
шлепаются кулями.

А здесь очертания тонки
Кутафы
и зимней аллеи;
трубят полуторатонки
с глазами
луны милее,
И мерным снежникам вторит
антенна
в Замоскворечьи.

Лыжник полярных факторий —
он выступает с речью.

А в тусклом эфире слышно —
сквозь снежное опусканье
дрожат
флексотонов вишни,
и стонет
песец в капкане.
И в этом дрожаньи голом
над проволоками
и шестами
дюжинами глаголов
всходит
одна шестая.

И вновь Ярославский над бездной
ночей
за пакгаузами.
В этом
вся прелесть дороги железной,
встречающей
лампы
буфета.

ОПЯТЬ НА РОДИНЕ

Песок перрона хрустнет круто,
и в дверь заносит
кондуктор дальнего маршрута
фонарь и осень.

И в дверь увидит каждый зрячий,
что не напрасно
обоз по времени горячем
зовется красным.

Гостеприимные скворечни
сквозь ветки реют.
Зайдет в контору огуречник —
узнает время!

Начнут другие подыматься,
забеспокоясь.

Оказывается —
двенадцать

и скоро
поезд.

Свои мешочки вскинут парни,
Вновь хрустнет гравий.
Товарищ с ближней сыроварни
кашне поправит.

И пассажирский озабочен,
и пышет паром,
пока звенит
лихой звоночек
почтовой пары.

И кто-то проволокой плещет,
задев случайно.

У меня всего две вещи —
баул и чайник.



Путешествие на ледоколе „Малыгин“

И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ

Поход «Малыгица» летом 1931 г. был организован обществом «Интурист» с целью дать возможность иностранным туристам ознакомиться с одним из замечательных по красоте мест — Землею Франца-Иосифа, принадлежащей к самым северным владениям Советского Союза. Кроме этой основной задачи, на «Малыгине» попутно велись научные работы и наблюдения. Существенным моментом похода была заранее предполагавшаяся встреча с немецким воздушным кораблем, совершившим первый рейс над советским сектором Арктики. Туристский рейс «Малыгина» не был столь продолжительным и трудным, как прошлогодний поход «Седова». Однако неблагоприятные погоды, почти непроходимые туманы, лишившие нас возможности ориентироваться среди малоизученных и неточно изображенных на карте островов, не раз ставили «Малыгина» в опасное положение. Поход «Малыгина», предшествующий большим арктическим походам будущего Международного полярного года, со всею очевидностью показал путешествовавшим иностранцам результаты громадных достижений в деле приобщения далекого Севера к великой социалистической стройке.

ПУТЬ НА СЕВЕР

Знатные путешественники

В вокзальной толпе, сопровождаемый женщиной-гидом, быстро прошел маленький, легкий человек. На дощечке, привешенной к кожаному чемодану, ко-

торый за ним нес носильщик, значилось имя.

Я узнал легкого человека, еще не прочитав надписи на чемоданной дощечке. У него были матовые черные глаза, матовый цвет кожи, редкие седоватые волосы и ямка на подбородке. В его улыбке было что-то детское и вместе тревожное и болезненное — точно его недавно испугали и он не совсем оправился от испуга. Детское, птичье было в его тонкой шее и выступавших за спину сухих лопатках.

У спального вагона, где мы стояли в ожидании посадки, собралась небольшая толпа, суетились фотографы, наводя со всех сторон аппараты. Чтобы убить время, я сказал носильщику — круглорожему бойкому ярославцу:

— Хочешь посмотреть на знаменитого человека?

Ярославец навострил уши.

— Вон тот в сером, без шляпы, смеется, зубы редкие. Это генерал Нобиле... Помнишь, «Красин» ходил итальянцев спасать?..

— Это который не долетел?

— Тот самый.

— Надо поближе посмотреть...

Носильщик, поставив на платформу чемоданы, побежал к товарищам. Пушечное слово пошло:

— Нобиле, Нобиле!.. Смотри, сам Нобиле едет...

Мне памятно: три года назад аэроплан гладко спустился на кенигсбергском просторном аэродроме. Среди высоких, наложенных сном возов и стоящих на них машущих руками женщин и детей мы катились по свежескошенно-

му лугу. После длительного полета и бензинной гари была приятна свежесть земли и скошенного сена. Дверцу расплахнул выдрессированный стриженный мальчик с ясными круглыми пуговками на обтянутой коричневой куртке. Он румяно улыбался, придерживая дверь, и протягивал пахнувшие краской свежие номера вечерней газеты. Первые, прочитанные мною слова были:

— Нобиле... «Красин»...

Я прилетел в тот самый день, когда в Европе были получены первые сообщения об удачном завершении похода «Красина», посланного на розыски погибавших во льдах итальянцев. Я был единственным русским среди пассажиров прилетевшего аэроплана, и на меня обратились приветствия.

— О, — сказал бритый немец в золотых круглых очках, поднимая белые брови и выкатывая глаза. — Колосаль..

Слова Нобиле и «Красин» наполняли все газеты. Гибель дирижабля «Италия», поход советского спасательного ледокола, — это стало предметом помешательства Европы, уже и в то время находившейся в горячечном бреду. О «Красине» и Нобиле говорили на каждом углу. Я сидел в буфете за столиком, ожидая пересадки на большой трехмоторный «Юнкерс», готовившийся к ночному перелету в Берлин. Ветер шевелил на столах накрахмаленные скатерти, трепал повисшие на высоких шестах разноцветные флаги. Над белыми столиками, за которыми сидели пахнувшие сигарами немцы, перелетали знакомые два слова.

Позже — в Берлине, в Гамбурге, в Киле — во всех городах, где мне довелось быть, я слышал эти два слова:

— Нобиле, «Красин»...

О «Красине» немцы писали и говорили с восторгом. Нобиле злейше высмеивали.

Теперь этот маленький, чернявый, столь печально знаменитый человек стоит обочь со мною. Я внимательно вглядываюсь в его глаза. В улыбке его что-то детское. Он усаживается в вагон, прощается с гидом. На открытой голове его ветер шевелит редкие седеющие волосы.

— Синьор Нобиле, здесь ваше место!...

Поезд мчит, мягко покачивая. В ночи мимо окон чертят искры. Днем пробегают поля, лес, деревни. Толпятся на станциях люди.

Лесов больше всего. Революция здесь прошла, как ураган, сокрушив лесовую дремь и темь. От Вологды до Архангельска — пни, пни, пни, лежат высохшие, обуглившиеся макуши, желтеет обнажившийся мох.

В прошлом году в это время здесь бушевал лесной пожар. Поезд мчался сквозь дым и огонь. Дымом был застлан горизонт, небо, солнце светило как сквозь закопченное стекло. Направо и налево — под корнями леса скользили быстрые змейки огня...

У широких окон международного вагона расплбылись остальные наши интуристы. Их лица мне пока не ясны. От их чемоданов пахнет лаком и кожей. Покачиваясь на диванах, отложив недочитанные книжки, они — с удивлением или равнодушно? — смотрят в окна на пролетающую, перепаканную заново им непонятную страну.

БЕЛАЯ НОЧЬ

Там, куда уплывает широкая река, — всю ночь розовая заря, видны черные мачты кораблей. Розоватый отсвет ложится на воду. По реке проплывает скользит черная лодка. В лодке гребут архангельские жонки. Они в белых платочках и коротких, в талию, куцавейках. Они гребут, дружно откидываясь, ладно кладут на воду весла. Старуха сидит на корме, правит. С воды четко доносятся женские голоса, перебирающие частым архангельским говорком...

Ночью город кажется призрачным, больным. На пыльных, перекопанных глубокими канавами улицах, лежит отсвет розовой зари. С реки несет холодом и туманом. На неровной, обгороженной деревянным забором площади, где некогда высился, подавляя свою тяжестью низенькие городские строения и лабазы, кафедральный собор, вознеслись леса, строится новый дом-дворец. В освещенных окнах белого каменного дома видны лица женщин, ра-

ботающих за станками. Загулявший матрос останавливается у открытого окна, весело смеется и машет фуражкой.

По перекопанной улице я спускаюсь к пристани, где пахнет дымом и углем, спят черные корабли. Здесь с особенной отчетливостью видна стальная рука, на ново перековавшая белокаменную, дремучую, лесовую Россию. Маленький петровский собор спрятался под березами. Я прохожу мимо церковной калитки, запертой на зеленый засов. Внутри церковного двора, под белым стволом березы, лежит человек. Он мертвецки худ. Сухая мертвая голба поднимается от земли, на меня смотрят запавшие глаза. Этими испуганными глазами смотрит на меня помершая дремучая Россия...

По крутому откосу спускаюсь к пристани, прохожу мимо большого деревянного здания. В окнах огонь. Смутно доносятся звуки музыки. По широкой деревянной лестнице спускаются два иностранца-морьяка. При свете ночной зари их лица кажутся неживыми. Один подходит ко мне и, ломая русский язык, дружески выговаривает слово, облетевшее мир:

— Товарищи!..

У него матовое лицо негра, приплюснутый нос и коричневые, выступающие из рукавов руки. Человек, стоящий передо мною, протягивает мне руку, говорит:

— Товарищ, большевик!..

Проходящий мимо сгробленный человек кажется видением. Яд белой ночи разлит на всем. Призрачным показывается город и мой собеседник-кочегар, розовая широкая река и стоящие внизу корабли, и отдельные, повисшие над рекою, бледные огоньки.

Простившись с кочегаром, спускаюсь на пристань. Пыль под ногами холодна и мягка. Я прохожу пристань, сарай, поднимаюсь на корабль, где пахнет так, как пахнет только на кораблях, готовых к отходу в море...

ПУТИ КОРАБЛЕЙ

Будь погода яснее, наверное мы изда-лека увидели бы белесое «ледовое небо», отрадившее в себе сверкающую белизну широких ледяных полей. Густой

туман застилал дали, не позволяя далеко видеть. О близости льдов свидетельствовало далеко разносившееся эхо. Эхо (от гудка парохода) катилось вдаль точно на больших громяющих колесах...

В двенадцать часов показались первые признаки льдов. В курительный салон с грохотом влетел носастый кинооператор в длинной дохе, мокрый как выдра:

— Лды, лды, товарищи!..

Бросив занятия, не одеваясь, люди посыпали точно на пожар.

— Лед, лед!..

По темной, с гулявшею рябью воде плыли первые зеленоватые льдинки. На непокрытые головы шумно говоривших, показывавших на море людей, сыпался мелкий дождь.

Обсосанных льдинок становилось больше. Ими было обсеяно покрытое мокрым туманом море. Они показывались из тумана и проплывали мимо, гонимые течением и ветром. Нежно-зеленый, с замысловатой снежною башней, похожий на сказочный корабль, тихо покачиваясь и зеленея каждым своим углублением, проплыл первый айсберг...

Ночью был первый медведь. За ним долго гонялись, разбивая серый с накатывавшей водою, с'еденный туманом лед. Вскидывая зад, он перебегал со льдины на льдину. Мокрая шерсть на его ляжках тряслась, брызги мокрого снега дождем разлетались из-под его толстых лап. Иногда он спускался на воду и переплывал разводья. Корабль настигал его, наваливался, как большая черная гора, грозя раздавить...

Первым стрелял немец. Он метил в голову зверя. Разрывная пуля оторвала переднюю часть морды. Зверь высоко задрал окровавленную страшную голову. По нем начали стрелять вперевой. Пули шлепались рядом, вспенивая воду, фонтаном взбрызгивая снег. Немец закрыл лицо и бросил ружье:

— О, это не охота! я отказываюсь стрелять...

Медведя добил американец в зеленой шерстяной куртке. Грубый американец стрелял беспощадно, пулю за пулей всаживая в изрешеченного, лежавшего на снегу зверя. Матрос, косясь на него, сказал:

— Ну и чорт! Смотри, по мертвому палит!..

БЕЛЫЕ БЕРЕГА

На камнях

Кораблям, идущим к берегам Земли Франца-Иосифа с юга, редко удается выйти к заранее намеченному месту. Малоизученные течения обычно сносят мореплавателей на восток. Так, проложив курс на мыс Флоры (где должны были высадиться интуристы), «Малыгин» вышел к другому месту. В тумане смутно обозначались берега неизвестного острова, темнела груда одинокого, окруженного стамухами островка. Остановив машину, начальство долго совещалось, стараясь точнее определиться. Плохая видимость, отсутствие солнца мешали точному определению места. После длительного совещания было решено наконец, что ледокол вышел к островку Ньютона, закрывающему вход в Австрийский пролив, — примерно к тем самым местам, где в прошлом году, борясь со льдами и густым туманом, следуя к земле Вильчека, пробирался «Седов».

Все спали (интуристы, невзирая на светлые ночи и непрекращавшийся грохот и треск, ложились спаг с пунктуальной точностью и так же пунктуально появлялись на утро), когда, круто повернув на запад от острова Ньютона, «Малыгин» по открытой воде направился на мыс Флоры. Туман, плохая видимость, неизученные для плавания места заставляли осторожного капитана итти малым ходом.

Уже под утро (я один сидел наверху в опустевшем курительном салоне) слышался крутой резкий толчок. Ледокол крепко вздрогнул. Это ничуть не было похоже на привычные удары и привычный для слуха скрежет разбиваемых льдин. В звуке было сухое, злое. Подсознательное чувство тревоги, живущее в каждом человеке, крепко ли спящем на полке вагона или обитающем в удобной каюте океанского парохода, тотчас подсказало:

— Опасность!..

Я вышел на спардек. В лицо дунул ветер. Вокруг корабля, омываемые прибоем виднелись сидящие на мели стамухи. Я поглядел на мостик. Там у те-

леграфа в мокрой с распущенными ушами шапке потерянно стоял капитан. Новый удар послышался в носовой части.

Капитан растерянно взмахнул руками и хлопнул себя по ляжкам:

— Чорт!..

При каждом новом ударе капитан хлопал по ляжкам и ругался. Капитан посерел, в минуту осунулся, казалось, стал меньше ростом. Ледокол прочно сидел на подводных камнях.

Наверное, будь погода яснее и не так густ накрывавший нас туман, мы легко избежали бы опасности. Когда туман поднялся, мы увидели, что кругом, дугою загибаясь на север, как белое лебяжье стадо, над морем неподвижно бегают стамухи. (Стамухи — это большие толстые льдины и высокие айсберги, стоящие на мели. Их легко отличить от других льдов и плавающих ледяных гор. Они стоят на мели неподвижно и о них разбиваются, кипя и шумя, волны. Стамухи ледовому капитану всегда служат предостерегающим знаком, обозначающим мель и каменистые банки. Завидев их, капитаны стараются держаться подальше.) На сей раз гряда открывавшихся за туманом высоких стамух со всею точностью обозначила длинную, еще не нанесенную на карту каменистую мель, тянувшуюся на запад от маленького островка Ньютона, встретившего нас столь неприветно.

Две или три стамухи были совсем близко. На их обсохших прибоем краях чернели куски намытой грязи, издали похожие на туши моржей. Ледокол работал задними ходами. Под бортом кипела и пенилась морская вода.

Ледокол зэсел на камнях прочно. Работавшая полным ходом машина пенным потоком гнала ленистую воду, но корабль не трогался с места. Он стоял недвижимо, точно прикованный, и было слышно, как изредка, напоминая зубную боль, неприятно хрустит о камни железо.

— Засели?

— Сидим!

— С первого разу не повезло..

Приняв с вечера ванны, закутавшись в теплые пижамы, безмятежно опочивали в своих каютах интуристы. Пассажиры разнохали о стрясящейся беде очень скоро. Неизвестно, кто пустил по

каютам слух об опасности, якобы угрожавшей судну. В коридоре появилась фигура корреспондента «Вечерней Москвы». Длинно вытягивая шею, он открывал двери и панически шептал:

— Сидим на камнях, большая пробоина! Надо скорее выносить вещи!..

Пока никакая опасность не угрожала сидевшему на мели судну. В самом худшем случае могла оказаться в носовой части небольшая пробоина. Измерения воды в трюмах показали, что вода не прибывает. Хуже обстояло с носовой балластной цистерной, из которой плохо откачивалась вода...

Так или иначе, авария была налицо. Чтобы измерить дно, на воду спустили шлюпку с ручным лотом. Измерения показывали колеблющиеся глубины и твердый грунт, указывавший скалистое строение дна.

Все попытки сняться силой машины казались бесполезными. Ледокол дрожал, скрипел, содрогаясь на камнях, и не трогался с места. Почти полсуток простояли мы в ожидании приливного течения, на которое оставалась последняя надежда. Были приняты все меры: перекачена вода в кормовые цистерны, завезен якорь. И, как бывает почти всегда, корабль сошел неожиданно. Я сидел в профессорской каюте. В иллюминаторе было видно, как медленно поплыла стоявшая обочь стамуха.

— Кажется, пошли?

— Не может быть!

— Пошли, пошли!

Мы выбежали на палубу. Осторожно пятясь, «Малыгин» выходил из ловушки, задержавшей его более, чем на полсуток. Туман поднялся, и со всех сторон отчетливо были видны окружавшие нас ледяные стамухи. Глядя на них, опытные люди покачивали головами и говорили:

— Еще счастливо отделались, посмотрим — точно в капкане сидели...

Капитан опять посветлел. Раза два черкнув о каменистое дно, «Малыгин» выбрался на глубокое место. Точно обрадовавшись, капитан поспешно повернул на в.г. В зорких маленьких глазах его было сказано:

— Этак во льдах-то будет надежнее!..

В ТУМАНЕ

Мы до утра простояли на якоре у видневшегося в тумане мыса. Поутру, когда туман поднялся и очертились вершины далеких гор, а солнце осветило вершину далекой ледяной горы, кто-то присмотревшись заметил.

— Это не мыс Флоры! Смотрите...

Замечание наблюдательного человека было справедливо. Мы стояли восточнее, у мыса Гертруды, своими очертаниями очень напомилавшего мыс Флоры. Над узеньким мыском, заваленным сорвавшимися с горы камнями, высились каменная скала, внизу накатывались на берег волны и над берегом падали и переворачивались в воздухе чайки. Не было ничего удивительного в том, что мы ошиблись в тумане, приняв мыс Гертруды за мыс Флоры. В ледовых краях все переменчиво, и этот случай лишний раз свидетельствовал, как изменчива, как непостоянна и прозрачна Арктика...

Мыс Флоры, к которому нам следовало идти, виднелся милях в десяти левее. Туман поднимался. Ветер крепчал, и по морю катилась крутая, перемешанная с пеной вода.

Приблизившись к мысу Флоры, теперь ясно очерчивавшемуся в прозрачном воздухе, мы убедились, что высадка на сей раз невозможна.

Волны с пеной разбивались о береговые черные камни. Было рискованно спустить шлюпку и в свежую погоду приставать к скалистому берегу. Пройдя в полутора милях от мыса Флоры (в бинокль были видны знакомые разрушенные постройки), отложив посещение на возвратный путь, «Малыгин» направился свободным от льдов каналом к бухте Тихой, где, предведомленные по радио, его с нетерпением ожидали заждавшиеся смены зимовщики самой северной в мире станции, находящейся в семистах километрах от полюса.

ПРОЛИВЫ

Все переменчиво в ледяных далеких краях, и там, где год назад «Седов» встречал непроходимый, покрытый густыми торосами лед, нынче по отливавшей темной синевой воде, плыли, колыхаясь на зыби, отдельные, редкие льди-

ны. Черными поплатками ныряли на волнах одиночные птицы.

Проливы были свободны от льдов. Знакомые открывались берега. За много миль была видна скала Рубини. Тотчас узнал я очертания ее, обозначавшиеся на фоне серебряных ледников. Я узнавал берега, имена которых еще в прошлом году для меня были неизвестны. Прямо по носу, загораживая вход в бухту, лежал над проливом столообразный, с белой каемкой снега, как бы срезанный сверху остров Скотт-Кельти. Здесь, окруженный стоящими птицами, я один сидел на береговых камнях, слушал тишину ледяного пустынного мира, — шум птичьего базара и шум моря, здесь странно похожий на шум большой пригородной дороги, переполненной людьми и возами. Множество звуков чувалось мне в этом неведомо откуда доносившемся шуме. Окружавшая меня глубокая тишина необычайно усиливала каждый ничтожный звук, и шум сталкивавшихся, трущихся друг о дружку льдин казался шумом далекого города. Капля упала с подтаявшей льдины, и я вздрогнул, как от близкого выстрела... Лыды шли, плыли, сцепившись длинной вереницей, похожей на флотилию кораблей, и казалось, их гнала разумная сила; они заходили в бухту, кружились на месте и, точно повинувшись флагману, в кильватерном строе уплывали дальше. Долго сидел я на облитой птичьим пометом скале, а над головой моею со свистом носились птицы. Они усаживались рядом и смотрели на меня своими блестящими бусинками-глазами... С борта корабля я узнал камни, на которых тогда сидел. Над ними ярко зеленел мох, крайком белел нарастающий снег. Интурист-немец в обтянутых коричневых чулках, показывая рукою, вежливо спросил:

— Там советская станция?

— Нет, — ответил я немцу, показывая рукою в глубину знакомой открывавшейся бухты, — смотрите левее, ее прикрывает этот мыс острова Кельти...

Тихая бухта

Неспешно открывалась перед нами Тихая бухта. Мы узнавали знакомый

берег. Вот на фоне высокой нависшей скалы показалась тонкая стрелочка мачты и под нею обозначилась крыша, казавшаяся не больше свалившегося с горы каменного обломка. На крыше, на наблюдательной площадке, так же, как и в прошлом году, тесно скучившись, стояли люди. Гирлянда разноцветных, трепавшихся на ветру флагов была протянута от вершины мачты.

Совсем недавно эти места стали посещать корабли. Дно многочисленных проливов, на множество островов рассекающих архипелаг Франца-Иосифа, еще мало обследовано, и капитан, напуганный аварией у остров Ньютона, шел с сугубою осторожностью. Чем ближе мы подходили, яснее были видны знакомые береговые детали. Вот, на глазах наших, над берегом взлетел белый фонтан ледяных брызг, и, отражаясь глубоким эхом; раскагился гулкий пушечный выстрел. Это приветствовали нас, взорвав динамитом ледяную гору, заждавшиеся зимовщики...

Ровно год назад сюда входил «Седов». Почти ничто не переменилось здесь за этот кратчайший срок. Также, отражаясь в воде, накрытый сизой дымкой тумана, высился суровый каменный Рубини и, хлопая по воде крыльями, как маленькие гидропланы, взлетали под носом ледокола испуганные птицы. Меньше было льду в бухте, и там, где пешком переходили мы на Рубини, а на вершинах торосов я стрелял белых чаек, теперь дрожала на глыби зеленоватая рябь. Меньше, казалось, было сверкающих снегов на берегах.

Так же, как и в прошлом году, от берега отвалила маленькая шлюпка и в ней сидели три человека, украшенные большими русыми бородами. Два русобородых человека бойко поднялись по трапу. В первом я с трудом узнал начальника зимовки. В прошлом году это был безбородый, сухощавый молодой человек. Трудно было признать его: так изменилось и расплелось лицо его. Казалось даже, что маленькое брюшко поднимается под жилеткой, сшитой из перьячей шкуры.

— Ну, и разнесло вас, — откровенно, целуясь, говорили гостям встречавшие их на корабле люди...

— Смотри, животик вырос!..

В самом деле гостей трудно было признать, — так необыкновенно поправились они за этот год. Видимо, полярная зимовка, обильная пища и чистый воздух пошли здесь людям на пользу.

— Точно отец-иеромонах, — пошутил кто-то, хлопая по плечу гостя...

Птицы

В маленькой шлюпке, готовой опрокинуться от малейшего неловкого движения, я опять плыву к скале Рубини. Я гребу, а скала как будто не приближается. Сотни птиц кружат над моей головой, плавают на зеркальной поверхности бухты. Меня веселит это великое птичье оживление. Я нахожусь точно в сказочном птичьем царстве. Однако мне кажется, птицы не так смелы и не так гулко шумит базар. «Неужто присутствие человека отразилось на величине и благополучии птичьего базара? — думаю, подплывая близко, — или причиной обеднения базаров в этом году было обилие открытой воды в проливах — обстоятельство столь редкое на Земле Франца?..» Я плыву, неспешно загребая веслами, стараясь не испугивать плавающих птиц. Вот у небольшой отливающей синевой льдинки купается серый глупыш. Издали может показаться, что это дерется, топит друг дружку на воде пара сцепившихся птиц. Глупыш окатывает себя с головою, смешно шлепает по воде крыльями. Занятый своим делом, он подпускает меня совсем близко...

Запах птичьего обиталища далеко чувствуется в кристальной чистоте воздуха. Лавируя между скопившихся у подножия скалы льдин, я подплываю под самый базар. Тяжелые, покрытые известковым пометом, высятся розовые колонны базальта. Как и в прошлом году, я останавливаюсь под скалою и, отдавшись течению, медленно несущему меня вдоль каменной, отразившейся в зеленоватой глыбы стены, спокойно наблюдаю жизнь птичьего базара. Птицы вьются надо мною, как пчелы в горячий июльский день. Белые, точно затянутые в мундиры, желтоклювые бургомистры парами сидят на выступах скал, покрытых бархатным мохом. Я ненави-

жу этих птичьих сановников, живущих на чужой труд. Так же, как в прошлом году, я поднимаю ружье. Один из разбойников, ломая перья на камнях, грузно падает в воду. Я подплываю ближе. беру его в шлюпку. Разбойник тяжел как хорошо откормленный гусь. Чистые капли воды, как слезы, скатываются с его белых перьев. Вздурораженный выстрелом, над скалою беспокойно шумит базар. Оставшийся в живых бургомистр угрожающе носится над моей головою...

Шлюпку несет к югу. Здесь в прошлом году нас окружали маленькие нырочки-чистики. Среди дрейфующих льдин я замечаю их черные, быстро двигающиеся на воде фигурки. Я подплываю близко. Чистики, загребая под водой красными лапками, быстро плывут навстречу. Передовой, самый смелый, вертится на воде, из всех сил стараясь заглянуть в шлюпку. Невозможно удержаться от улыбки, глядя на смешные его ужимки.

— Пожалуйста, пожалуйста, дорогой гость! — говорю ж вслух, смеясь и протягивая руку.

Испуганный чистик, от страха забыв нырнуть, пускается по воздуху наутек. Вижу, как, отрываясь от воды, он перебирает красными лапками, точно катит на велосипеде. Его полет мне напоминает полет тетерева-черныша над болотом...

Я долго лавирую среди льдин, потом, обогнув гору, пристаю к берегу. Под ногами хрустит щебень. Нога проваливается в мягкий мох. Шум потока, бегущего с ледника, порывами доносится до моего слуха. Воздух чист, как ключевая вода. Маленькие люрики стадами проносятся над моей головою.

Долго взбираюсь на вершину скалы. Все шире и шире открывается горизонт. Под ногами камень, мох, желтые и лиловые, лежащие на земле цветы. Одолев последнюю часть пути, ступаю на широкое каменное плато, покрытое черным, как уголь, лишайником. Похоже, что здесь было пожарище, пылал великий костер. Лишайники хрустят под ногами. Я подхожу к краю обрыва: внизу бухта, лед, хлопьями падают птицы. Широкое открывается море, и маленьким,

как подсолнечная шелуха, показывает-ся внизу окруженный льдинами наш корабль...

Воздушный корабль

«LZ-127»

Самым существенным моментом похода «Малыгина» в Арктику была заранее предполагавшаяся встреча с немецким воздушным кораблем «LZ-127», который должен был вылететь из Фридрихсгафена (своей основной базы) точно к тому времени, когда ледокол будет во льдах Северного океана. По заранее разработанному плану встреча должна была произойти вблизи берегов Земли Франца-Иосифа, куда «Цепелин» предполагал направиться по маршруту: Ленинград—Архангельск—Новая Земля. Рейс воздушного корабля, в свое время совершившего знаменитый трансатлантический перелет между Америкой и Европой, поначалу был организован одним из крупнейших европейских газетных объединений исключительно с рекламной целью встречи с американскою подводною лодкой, которая под командой Губерта Вилькинса должна была отправиться летом в полярное подводное плавание на Северный полюс. Поход Вилькинса не состоялся вследствие порчи моторов в самом начале пробного плавания, и в результате в руках командира «Цепелина» — доктора Эккенера — осталась небольшая сумма денег, полученная в виде аванса на организацию большого полета на полюс. Денег этих было недостаточно для осуществления другого полярного рейса, о котором велись переговоры с представителями советской науки. Выход был найден весьма остроумно. Немецкое почтовое ведомство ко времени отлета корабля выпустило серию специальных почтовых марок, предназначенных для обмена почты с «Малыгиным». Погашенные марки (филателисты почему-то ценными считают только погашенные и заштемпелеванные марки) впоследствии должны были поступить на филателистический рынок, и так, с подмогой многочисленных собирателей почтовых марок в Европе и Америке, был осуществлен полярный рейс воздушного корабля, в

котором принимали участие немецкие и советские ученые.

Как известно, знаменитый дирижабль «Граф Цепелин», с которым «Малыгину» предстояла встреча во льдах, является одним из удивительных достижений современной воздухоплавательной техники. Мне, не специалисту, мало известны подробности устройства воздушного корабля, способного выдерживать длительные перелеты и с замечательной точностью выполнять манипуляции в воздухе (что в значительной мере, разумеется, зависит от опыта и умения водителя воздушного корабля — доктора Эккенера). Предыдущие успешные перелеты «Цепелина», опыт его водителя уже в самом начале организации полета не оставляли сомнений в успехе. Для пассажиров «Малыгина» встреча с воздушным кораблем представляла еще тот интерес, что среди нас находился водитель другого воздушного корабля, судьба которого была не столь удачна, — генерал Умберто Нубиле, уже однажды пролетавший на своей «Италии» над Землей Франца-Иосифа и почти достигший берегов Северной Земли...

Еще вначале была предусмотрена возможная трудность организации встречи ледокола с воздушным кораблем. В полярных краях густые туманы — обычное явление, и в случае дурной погоды «Цепелину» было бы нелегко найти затерявшийся во льдах, накрытый слоем тумана корабль. Поэтому еще до отхода «Малыгина» в плавание в Ленинграде, в Арктическом институте, которому принадлежало руководство научною частью экспедиции, спешною почтою был получен из Фридрихсгафена вспомогательный воздушный шар, выкрашенный в яркую оранжевую краску. Этот ярко выкрашенный шар, снабженный особым оптическим прибором, состоящим из множества вибрирующих отшлифованных зеркалец, будучи поднят на достаточную высоту, должен был на далекое расстояние отбрасывать лучи солнца и облегчить «Цепелину» поиски ледокола, накрытого слоем тумана. Однако все сложилось отлично, — погода к моменту прилета воздушного корабля выдалась прекрасная, и хитроумный немецкий шар до самого конца

рейса благополучно пролежал под койкой Н. В. Пинегина, которому было вручено руководство научными наблюдениями на корабле.

Встреча

До последнего дня на «Малыгине» ничего не знали о времени вылета «Цепелина» (связь по радио «Цепелин» держал исключительно с большою землею, и только однажды мы получили корогкое радио, сообщавшее о приближении корабля к берегам Земли Франца-Иосифа). Первые сведения о движении корабля были получены из частной телеграммы, в которой кратко сообщалось о встрече «Цепелина» в Ленинграде и вылете его на Архангельск.

Туман и ветреная дурная погода, сопровождавшие нас от Архангельска, сменились прекрасной тихой погодой, установившейся как будто нарочно для прилета воздушного корабля. Над ясной зеркальностью, посередине которой стоял корабль, ясно высилось небо с кружевными золотистыми облачками, и в недвижной глади отражались стайки торопившихся на ночлег птиц. Далекие розоватые льдины, гонимые скрытым течением, то приплывали, то уходили из бухты, а за ними открывалась золотистая широкая даль Британского канала, свободного от признаков льдов.

Получив наконец радио, точно сообщавшее, что корабль миновал широту мыса Желания, мы начали высчитывать время прилета. «Корабль прохрдит сто километров в час, — соображали мы. — следовательно, чтобы достигнуть берегов Земли Франца-Иосифа, ему нужно всего семь-восемь часов. Льды не явятся для него помехой. Значит над бухтой Тихой его ожидать надо под вечер...»

Однако еще задолго начались оживленные приготовления к необычайной встрече, и весь день был занят хлопотами и бегом. Всех больше беспокоились и хлопотали «звукачи», спешно устанавливавшие на мостике свои мудреные аппараты, предназначенные для звуковой с'емки, и всюду протягивавшие электрические шнуры от микрофонов, которым предстояло улавливать и записывать шум моторов приближавшегося корабля. Для фотографов на-

ступал страданный час, они работали в поте лица, и с мостика, где была главная фографическая база, то-и-дело слетали крепкие словечки (что однако же помешало быть промахам, и впоследствии оказалось, что второпях фотографы многое упустили, — так например никто не догадался снять самую встречу кораблей с суши, и те снимки, на которых изображены одновременно два корабля — морской и воздушный — сделаны позже и являются простым фотографическим фокусом).

Я не помню, кто именно увидал первым появление воздушного корабля. Мы сидели в кают-компании в ожидании ужина. В дверях просунулась взлохмаченная голова штурмана, и кто-то крикнул так, точно начинается близко пожар:

— Летит!

— Летит! Летит!

Это слово подняло всех. Толкаясь на лестнице, пассажиры высыпали на палубу.

— Где, где летит?..

На мостике, приложившись к большому биноклю, стоял вахтенный штурман в меховой шапке. Но уже и без бинокля над четкой линией горизонта была видна черная линия круглая точка. Точка висела над самым горизонтом и казалась совершенно недвижимой. Как ни мала была эта выделявшаяся на золоте неба черная точка, в появлении ее было необычайное, чуждое всему окружающему нас миру, и мы смотрели на нее с тем скрытым чувством беспокойства и тревоги, которое люди испытывают в начале явлений космической природы.

Черная точка висела над горизонтом в прорезе между Рубини и островом Кельти. Прозрачность воздуха была совершенная, и под золотистой полосой горизонта была отчетливо видна другая такая же, отражавшаяся в зеркальной воде, недвижно висевшая точка...

Мы стояли на палубе с биноклями в руках и в добрую сотню глаз смотрели на приближавшийся воздушный корабль. Точка увеличивалась медленно. Казалось, она не движется, висит на одном месте. Но вот она стала удлиняться и отходить на запад. Над линией горизонта обозначались очерта-

ния длинного воздушного корабля, издали казавшегося не более зубочистки.

— Мимо идет!

— Не может быть.

— Это он делает с'емку берегов...

Медленно плывущий над Британским каналом корабль повернул на запад. Было видно, как идет он, следуя извивом берегов Земли Георга (мало исследованный остров в западной части архипелага). Вот он, блеснув в розоватых лучах солнца, развернулся, и его накрыли плоские горы Кельти...

— Прибавить дыму!..

Получив распоряжение, старавшиеся из всех сил коцегары стали шуровать одновременно во всех топках, и над ледоколом из трубы, отражаясь в воде, высоко поднялся жбшрплкддпладкдпладкдного дыма. Этот сигнальный дым, обозначавший место нашей стоянки, вряд ли был нужен «Цепелину», спокойно продолжавшему производить с'емку. Ледокол, стоящий посреди бухты, точно посреди большого чистого зеркала, наверное был виден издали. Однако, чтобы облегчить поиски, на «Малыгине» на всякий случай были приняты соответствующие меры.

Пока приближавшийся корабль был скрыт серебристою громадою Кельти, на палубе нарушилось напряженное молчание, установившееся с первого момента. На мостике подшучивали над рыжим фотографом, в горячке азарта высоко влезшим на ванты и вдруг убоившимся большой высоты. С аппаратом в руках, судорожно цепляясь за ванты, он висел над палубой, и обезьянье лицо его выражало препотешный ужас. Матросы кричали снизу:

— Чепляйся, чепляйся, браток!..

— Смельей!

— Гузно тяжелое!

— По-ка-зал-ся!..

О злосчастном фотографе тотчас забыли. Корабль выплывал из-за плоско-го, покрытого розоватым снегом берега Кельти. Освещенный лучами низкого солнца, он шел прямо на бухту. И тотчас сверху донесся гулкий шум моторов, странно нарушивший прозрачную тишину бухты.

Теперь дирижабль был похож на большую щуку, тихо плывшую в неподвижной воде. Солнце розоватым

светом освещало бок большой щуки. Медленно разворачиваясь, точно подкрадываясь к задремавшему карасю (на этого толстого карася похож был стоявший посреди бухты «Малыгин»), щука плыла над Тихой бухтой. Простым глазом под брюхом щуки видны были подвешенные на невидимых креплениях моторы, крестообразные винты-плавники вертелись нешйбко.

«Цепелин» делал над бухтою первый круг. С поднятыми головами, мы стояли внизу, приложившись к биноклям. Вот откуда-то с высоты, чуждый и странный, послышался звук автомобильного рожка. Это пролетавший воздушный корабль приветствовал стоявшего внизу нелетающего тяжелого собрата. «Малыгин» ответил ему протяжным гудком.

Сделав полный круг, освещенная золотым низким солнцем серая большая щука стала медленно снижаться. Нос ее нацелился вниз на бухту, высоко задрался освещенный солнцем хвост. Издали казалось, что она скользит с высокой невидимой горы. Из передней части ее, как паучки на тоненьких паутинках, быстро побежали вниз два небольших предмета.

— Водяные якоря! — пояснил кто-то из понимавших!

Паучки спускались ниже и ниже. Было слышно, как густо зазвонил в воздухе машинный телеграф: доктор Эккнер отдавал распоряжение в машинные отделения. Вот внезапно остановился левый хвостовой мотор, и, колыхнувшись, сам собою стал крестообразный воздушный винт...

С приостановленными моторами воздушный корабль медленно плыл над бухтой, а внизу, в зеркальной поверхности, тихо плыло отражение корабля. Вода была так чиста и спокойна, что медленно снижавшийся над нею корабль отражался со всеми подробностями, как в прекрасном и большом зеркале. Пиццы кипели над Рубини. Я нарочно стал наблюдать, за пролетавшими и плававшими крылатыми обитателями бухты Тихой. Пиццы, повидимому, принимали снижавшийся воздушный корабль за обычное явление природы и не выказывали ни малейшего беспокойства.

Прощальный круг

Воздушный корабль почти касался воды. Отчетливо были видны подробности его устройства. На боках его, покрытых серебристым налетом изморози, идущий от винтов ветер колебал алюминиевую легкую крышку. В белой застекленной гондоле, находившейся в передней нижней части воздушного корабля, в открытых многочисленных окнах виднелись человеческие лица. Кто-то махал платком. Слабый доносящийся голос:

— Привет!..

На первом круге воздушному кораблю не удалось сесть на воду (доктор Эккнер был исключительно осторожен), и, выпрямившись, гремя моторами, он низко проплыл над мачтами ледокола. В окнах гондолы отчетливо были видны лица свесившихся, смотревших вниз людей.

Сделав последний круг, «Цепелин» остановился над проливом Меллену-са и, окончательно порасив моторы, начал медленно садиться. Не ведая подробностей устройства, трудно сообразить, каким образом, вися в воздухе, он так свободно распоряжается своим весом и без помощи моторов спускается ниже и ниже. Вот черные паучки, оказавшиеся ведрами для водяного балласта, коснулись поверхности моря и, наполнившись водою, побежали наверх. Так они спускались и поднимались несколько раз, пока корабль наконец коснулся острым килем поверхности воды и стал.

Уже по первому взгляду можно было заключить, что место для посадки было выбрано не вполне удачно. «Цепелин» остановился в глубине пролива, где быстрота меняющихся течений не могла позволить ему стоять долго и безопасно. Тотчас после спуска стало заметно, что сидящий на воде корабль дрейфует в сторону острова Кельти, а полоса мелких пловучих льдов со всех сторон окружает хрупкую гондолу. Столь неудачный выбор места для спуска был главной причиной кратковременности остановки и скоропалительности встречи. В первые же минуты выяснилось, что командир воздушного корабля весьма беспокоится и, пока приготавливали шлюпку (по предварительному уговору, шлюпка не могла

приближаться к кораблю, пока не последует соответствующий сигнал), с корабля несколько раз слышались нервные возгласы (кричали в рупор), приглашавшие нас поторопиться.

В шлюпку загруженную мешками с почтой, уселось несколько человек, а мы, оставшиеся на борту, могли наблюдать, как, скользя по гладкой воде, машущая веслами шлюпка быстро подходит к огромному воздушному кораблю, накрывшему ее своею тенью. Мы видели, как, пробравшись сквозь льды, шлюпка подвалила к гондоле и спустилась несколько минут (пока происходил обмен почтой) из скрытых боковых отверстий корабля потоками хлынула балластная вода и корабль стал медленно отделяться. Стоявшие в шлюпке люди, смотря вверх на поднимающийся корабль, махали руками.

От товарищей, ходивших на шлюпке, мы узнали, что свидание продолжалось всего несколько минут и находившимся в шлюпке не удалось побывать в помещении корабля. Командир «Цепелина» доктор Эккнер, опасаясь, что подошедшие льды могут повредить гондолу, забронированную лишь тонким слоем алюминия, жести, нервничал и очень торопился. Обмен почтой произошел быстро. Немцы спустили на шлюпку заранее приготовленные мешки с корреспонденцией, — наши им передали свое.

Ходившие на шлюпке товарищи рассказывали, что им довелось видеть внутренность гондолы — длинный коридор и просторные помещения, в которых стояли беседовавшие с ними люди. Корабль стоял, окруженный льдами, и свидание прошло торопливо. Поднявшись на воздух, «Цепелин» сделал прощальный круг над бухтой и направился в сторону Британского канала — на север. Поздно вечером, когда все угомонилось, он еще раз объявился над ледяною вершиною острова Хукера. Путь его лежал на восток к Северной Земле.

(Как оказалось впоследствии, проделав сѣмку берегов Земли Франца-Иосифа, следуя к западным берегам Северной Земли, «Цепелин» встретил над Карским морем непроницаемый ту-

ман, который не позволил ему осуществить предполагавшуюся остановку на острове Каменева. По позднейшим сообщениям выяснилось, что зимовщики Северной Земли хорошо слышали шум моторов пролетавшего корабля, но самый корабль не могли видеть. Пересекая Карское море, следуя вдоль берегов Северной Земли, «Цепелин» пролетел над наименее исследованной частью Таймырского полуострова, где была произведена сёмка неизвестного доселе хребта. Расставшись с «Малыгиным» в бухте Тихой, «Цепелин» прекратил с нами всякую связь по радио¹⁾, и, не получая никаких сведений о дальнейшем рейсе воздушного корабля, мы были готовы предполагать, что произошло несчастье. Об успешном завершении полета мы узнали на пути в Карское море, перехватив газетное радио, сообщавшее о благополучном прибытии «Цепелина» в Фридрихсгафен).

Плавание в проливах

Конец Арктики

Трудно, быть может, невозможно писать о замечательных красотах Арктики стилем первых исследователей, в своих героических путешествиях полагавшихся больше на судьбу и божью волю, начинавших дело, когда еще ни один газетный корреспондент не оставлял своего следа на чистой белизне вечных снегов. В самых тех местах, где знаменитые полярные путешественники Хансен и Иоганнес, после двухлетнего пребывания во льдах, положились на судьбу, вслепую пробирались к югу, с неистовым упорством одолевая непроходимый путь, через год-другой по следам первого воздушного корабля регулярно будет летать аэроплан, и полярный летчик Иванов, спустившись на гладь Тихой бухты, спокойно войдет в уютную столовую зимовщиков и хлопнет рюмочку коньяку, чтобы обогреться после пятичасовой

воздушной дороги... Прежней романтической Арктики пришел последний конец. Еще шумят, как бы прощаясь с отжитыми тысячелетиями, поредевшие птичьи базары, да высунется, оглядываясь, усастая морда моржа, случайно уцелевшего от норвежской пули, и опять станет тихо. Заглушая гомон птиц, уже гремят над ледяной пустыней тысячные моторы воздушного корабля, спускающегося с такой тщательной осторожностью, что по русской привычке делается досадно: «Этакой, чорт, немец!..» Не в шутку сказать: здесь, на берегах белой земли, где сорок лет назад в каменной берлоге зимовал полярный путешественник Хансен, через двести пятилетки в санаториях, застекленных лучепрозрачным стеклом (лучи спектра полярного солнца исключительно целебны), будут излечиваться туберкулезные больные, а на обожженном плато Рубини, быть может, станут снижаться трансарктические воздушные корабли...

Мыс Флоры. Семейство поморников

В четверг «Малыгин» снялся из бухты. Туман виделся над каналом. Узенькой полоской солнце освещало берег. Темная масса Рубини была в густой тени.

Дом станции спал. (Так буднично начинался здесь день.) Собаки, свернувшись серыми и желтыми калачиками, лежали на штабелях ящиков и досок. На крыльцо вышел человек в нижней рубашке, потянулся. «Малыгин» дал первый отходной.

Последним приехал прощаться доктор Кутяев, оставившийся заместителем начальника станции, уходившего на «Малыгине» в рейс. Широколицый, заросший русою бородою, сидя на корме шлюпки, громко трещавшей подвесным мотором, он долго держался под бортом, поднимая кверху улыбавшееся широкое лицо:

— До свиданья!.. До свиданья!..

— Счастливо оставаться!..

— Смотрите, морж!

Между берегом и кораблем ныряло большое животное. Оно выстало над водою, показав круглую голову. Как два серебряных уса, висели длинные

¹⁾ Радиосвязь, которую «Цепелин» поддерживал с землею, была затруднена атмосферными условиями. По словам радиста Кренкеля (бывший зимовщик бухты Тихой), летавшего на «LZ-127», точному приему дальних станций мешали шумы, создававшиеся искрами свечей в моторах.

кльки. Морж полюбовался на кричавших людей и скрылся бесследно.

Извлекая длинные коричневые водоросли, похожие на широкие листья рододендрона, выходил со дна якорный канат. В последний раз помахал рукою с отстававшей шляпки доктор Кутляев.

— Ждите «Ломоносова»!.. До свиданья!..

Да, лицо Арктики переменчиво!.. Мы опять шли в обход острова Кельти. Там, где в прошлом году любовались мы сказочной красотой ледяного фантастического города, по широкому простору канала катились украшенные седевеющей пеной темные волны. Блестели резко очерченные берега.

На мысе Флоры я был в прошлом году с «Седовым». Так же, как в прошлом году, мы поднялись на берег по черным, обогненным волнами камням, между которыми звучно билась набегавшая зыбь. Вершина населенной птичьим базаром отвесной скалы была прикрыта туманом. Из тумана слышался шум птичьих крыльев и голосов.

У берега на груде камней лежали сохранившиеся нарты. Какому полярному путешественнику принадлежали эти выбеленные солнцем, обмытые дождями, выдавшие виды нарты? Мы поднялись на берег с западной стороны мыса. Здесь в прошлом году я не заметил широкой, проложенной среди камней дороги, устроенной предусмотрительным Джексоном для перевозки с пристани грузов.

Новички то-и-дело наклонялись над покрытой мохом землею, разглядывая разбросанные остатки экспедиционного снаряжения. Мы, не останавливаясь, повернули направо. Под ногами зыбилась насыщенная ледниковой водою земля. Ярко зеленел между камнями мох.

Я шел за спутником, легко скакавшим с камня на камень. Семнадцать лет назад он был здесь дважды. Весною — на собаках, в сопровождении матроса Инютина, и осенью — на «Мученике Фоке», возвращавшемся после бедственной зимовки.

— Смотри, — сказал спутник, останавливаясь подле лежавшей на берегу опрокинутой белой шляпки. — Семнадцать лет назад эта шляпка лежала здесь точно в таком же положении.

Разница в том, что тогда на ней не было трещин и краска не шелушилась...

Два поморника с плачем вились над опрокинутой шляпкой, стараясь ответить нас ог схоронившихся в камнях птенцов. Чем ближе мы подходили к гнезду, тем настойчивее и смелее делались птицы. Кто научил их хитрить с человеком? Они подсаживались близко и, притворившись больными, беспомощно бились о землю крылами, точно приглашая: «Я не могу, не могу лететь, и ничего не стоит подойти и взять меня голой рукою!»

Это было похоже на игру в «горячо и холодно». Чем ближе подходили мы к затаявшимся птенцам, тем настойчивее и смелее делались летавшие над нами птицы.

Несмотря на все старания, нам однако так и не удалось разыскать маленьких птенцов, чутко слушающих предостерегающие голоса родителей, им кричавших на языке птиц: «Прячьтесь, прячьтесь, не показывайтесь, здесь ходит враг!..»

— Их нужно прикончить, — сказал мой спугник, — это чадлюбивое семейство делает очень много вреда птичьему базару, и наверное на совести каждого лежит не одна сотня птичьих жизней, а грабленое и сосчитать невозможно...

Мне жалко было стрелять в красивых, круживших надо мною птиц, но еще жалче беззащитных люриков и кайр, за счет которых кормилось семейство разбойников, и я поднял ружье. Первый, испуганно вскрикнув, свалился серым комочком, а другой тотчас бросился к нему с плачем. Я уложил его из второго ствола.

Завтрак медведя

У развалившегося домика, сделанного из земли и бамбуковых палок, копились люди. В домике на досках лежала свежая медвежья шкура. Ее оставили здесь весною, когда начальник станции Иванов в сопровождении промышленников делал санный обезд берегов. Тогда путники устроили привал на мысе Флоры, и начальник занялся с емкой. Он стоял за треногий, занятый наблюдениями, не замечая, что к нему с моря подкрадывается медведь. Мед-

ведя увидели промышленники, поправявшие у домика нарты. Метко пущенная пуля на месте положила смелого зверя. Это был крупный самец с прекрасным зимним мехом. Несмотря на ценность шкуры, ее пришлось покинуть, так как не было возможности тащить по исключительно тяжелой дороге лишней груз. Промышленники спрятали шкуру в бамбуковый домик и завалили досками дверь. С тех пор ни одно человеческое существо не посетило мыс Флоры, и шкура лежала неприкосновенно. Промышленник выволок ее наружу и, пробуя вылезавшую шерсть, сожалеательно покачал головою.

— Пропала, зря спарилась шкура...

Повидимому, мыс Флоры был излюбленным местом медвежьих прогулок. Об этом свидетельствовали оставленные в запас экспедицией на «Седове» ящики с продовольствием, основательно потревоженные медведями. Весною промышленники нашли эти ящики лежащими на снегу. Один ящик с печеньем был разбит в щепы, а на снегу виднелись признаки недавнего пиршества. Медведю, видимо, по вкусу пришлось сладкое моссельпромовское «чайное печенье», и он впорисест слопал весь ящик, оставив на снегу несколько бумажек и крошек. Ящик с рыбными консервами и коньяком показался нестоящим внимания, и медведи оставили его почти целым, немного попробовав когтями верхнюю деревянную крышку.

Расстрелянный флаг

Ледокол давал гудки, приглашая нас возвращаться на борт, а мы все еще продолжали бродить по берегу, разыскивая среди валявшихся, разбросанных предметов достойное водворения в арктический музей. Мы бродили вокруг остатков джексоновского поселка, прислушиваясь к шуму моря и свисту птичьих крыльев над нашими головами. Остановившись у большой груды камней, где в прошлом году мы водрузили флаг на железном флагштоке, кто-то воскликнул:

— Посмотрите на флаг!

— Что такое?

— Флаг расстрелян!

В самом деле, поставленный в прошлом году железный флаг был изрешечен пулями. Кто успел здесь упражняться в стрельбе? После «Седова» здесь могли побывать только норвежцы. Расстрелянный пулями флаг остался для нас неразрешенной загадкой.

Остров Джексона

Путь Нансена

На морской карте, лежащей на столе штурманской рубки, неясными чертами обозначен находящийся в северной части архипелага пустынный остров Джексона, положенный на карту еще первыми исследователями Земли Франца-Иосифа. На этом небольшом островке, возвращаясь из путешествия к полюсу, провели зиму знаменитый полярный путешественник Нансен и его спутник Иоганнес. Выбившись из сил в борьбе со льдами, Нансен и Иоганнес, застигнутые полярной зимой, были вынуждены остаться на зимовку на берегу небольшого скалистого острова. Название и местоположение которого Нансену были неизвестны. Тяжелые обломки бурого базальта покрывали место будущей зимовки. Среди каменных обломков пробивался жалкий мох, стелились по щебню прижатые ветром полярные маки. Жестокий ветер, срываясь с ледников и скал, водяною пылью подхватывал гребни накатывавшего на берег холодного прибоя. Высадившись на берег и выбрав место для хижины, путешественники занялись охотой. К счастью, добычи оказалось много. Почти каждый день звери появлялись вблизи выбранного места, и в самое короткое время охотники добыли несколько медведей и моржей. Трудно было справиться с тяжелыми тушами, поднимать и переносить которые не под силу двум человекам. Шкуры приходилось снимать на месте, а мясо частями перевозить к месту зимовки. Нередко, пока путешественники занимались свеживанием добычи, другие звери незаметно подкрадывались к запасам и многое успевали уничтожить. Вместе с охотой продолжалась постройка «зимнего дома». На очищенном от камней месте

путешественники вырыли небольшое четырехугольное углубление, которое должно было служить основой жилища. Отсутствие самых необходимых инструментов затрудняло работу. Камни приходилось выворачивать и перетаскивать голыми руками. Из лопатки моржа полярные робинзоны соорудили самодельную лопату, из моржевого клыка и обломка лыжной палки — кирку. При помощи этих орудий были возведены стены хижины-берлоги, внутри которой едва могли расположиться два человека. «Такое помещение нам казалось роскошным, — писал в своем дневнике Нансен, — и мы искренне радовались, что места было достаточно, чтобы хоть немного размяться...» Крыша была сооружена из сосновой плавничины, найденной на берегу Нансеном, и нескольких моржевых шкур, с большим трудом доставленных к месту зимовки. Вход в хижину был сделан в виде длинного коридора, по которому человек мог пробираться ползком. Вход и выход из коридора прикрывали пологи из сырых медвежьих шкур.

В этой каменной берлоге, едва вышавшейся над землею, путешественникам предстояло провести долгую зимнюю ночь. «Но и этому нашему жилищу несказанно радовались мы, — говорит Нансен, — хотя ветер нещадно дул из всех щелей...» Первую ночь Нансен и Иоганнес, дорогою славшие в одном спальном мешке, попробовали лечь розно, но холод и ветер им помешали заснуть. На следующую ночь путешественникам опять пришлось забираться в мешок и спать, тесно прижавшись. Кровать, сделанная из камней, не отличалась большим удобством, и новоселам приходилось долго вертеться, чтобы найти сколько-нибудь удобное положение для своего тела. Освещалась и стапливалась хижина звериным салом, растопленным в небольшой жестянке. В этой каменной берлоге, обложенной мехом и сырыми звериными шкурами, люди встретили зиму и полярную долгую ночь. Охота на зверей, подходивших к самому пологу берлоги, продолжалась до поздней зимы. Мяса и ворвани было запасено достаточно, чтобы провести зиму, не голодая. Остаток продовольственных запасов, вывезен-

ных с «Фрама», — муку, шоколад и консервы — путешественники тщательно спрятали для нужд весеннего похода.

Остановившись на зимовку, Нансен точно не знал, где он находится. Его хронометр, который путешественники однажды забыли завести, давно показывал неточное время, и не было никакой возможности вычислить долготу места. В те времена архиепископ Земли Франца-Иосифа был мало исследован и Нансен ошибочно рассчитывал, что он находится на берегу Земли Джиллиса, виденной неким из путешественников к западу от берегов Земли Франца-Иосифа (существование этой земли до сих пор не установлено). С наступлением весны Нансен рассчитывал в каяках достигнуть Шпицбергена и оттуда вернуться на родину.

Зимую каменную берлогу с двумя зимующими людьми занесло снегом, завалило глубокими сугробами. Дикий ледяной ветер завывал над снежной пустыней, погруженной в мрак. В лунные чистые дни Нансен и Иоганнес вылезали из берлоги и отправлялись гулять. Чудесное зрелище представляла покрытая снегом пустыня... Северные сияния полыхали на темносинем ночном небе. Образ жизни полярных робинзонов сводился к немногому. Они ели, спали, делали необходимые наблюдения. Единственный обитатель пустынного острова, голодный песец всю зиму беспокоил сидевших в каменной берлоге отшельников. Он взбирался на крышу хижины, таскал мясо и упорно воровал различные, неведомо для чего понадобившиеся ему предметы. Так он утащил единственный термометр, и лыжные палки, украл последний клубок бечевы, который хранился для шитья одежды из шкур. Нынче на Земле Франца-Иосифа, со времени Нансена чрезвычайно обедневшей зверем (мы не встретили ни одного стада моржей), песец почти вывелся. Несомненные признаки пребывания песцов мы нашли на мысе Флоры; единственный песец, по словам промышленников-зимовщиков, обитал на берегу бухты Тихой. На острове Джексона я нашел выбеленный солнцем череп полярного хищника с

острыми, как шилья, зубами. Кто знает, быть может, этот череп принадлежал тому зверю, который когда-то столь настойчиво беспокоил Нансена и его спутника Иоганнеса. Главным занятием робинзонов был сон. Они спали по двадцати часов в сутки, не поднимаясь, сном стараясь сократить долгую и скучную зиму. По словам Нансена, сон и почти полное отсутствие движения не причинило им ни малейшего вреда. Всю зиму путешественники чувствовали себя здоровыми и не замечали ни малейших признаков цынги, столь обычной на северных тяжелых зимовках. Самым большим неудобством, от которого страдали путешественники, были жир и копоть, насквозь пропитавшие их лохмотья. От грязи и жира белье превратилось в лубок и натирало на ногах глубокие раны. Стараясь сколько-нибудь избавиться от грязи, путешественники пробовали кипятить свое платье, но это почти не помогало, и вынутое из воды платье оставалось таким же жестким и жирным. Единственный оставался способ — грязь и жир соскабливать с платья ножом.

Благополучно проведя зиму в каменной берлоге, весной, при появлении первых разводий, Нансен и Иоганнес тронулись в путь. Последние недели ушли на подготовку весеннего похода. Множество разнообразных препятствий и опасностей пришлось одолеть отважным путешественникам, прежде, чем они достигли южной оконечности Земли Франца-Иосифа, где на мысе Флоры в густом тумане произошла неожиданная встреча двух полярных исследователей — Нансена и Джексона. Один из них был выбрит и одет в хороший теплый костюм, другой покрытый толстым слоем копоты и грязи, похож был на чернокожего дикаря. Однако это не мешало двум знаменитым путешественникам узнать друг друга и крепко пожать руки¹⁾.

¹⁾ Интересно отметить, что Нансен и Иоганнес после зимовки на острове Джексона не только не истощали, но очень прибавили в весе. Это обстоятельство свидетельствует, что полярный воздух прекрасно действует на организм здорового человека.

На берегу

Ледокол остановился в двух милях от берега. Видно было, как над берегом ветер сбивает с волн и несет водяную пыль.

Матросы спустили шлюпку. В нее расселась первая партия пассажиров, отправлявшаяся на розыски хижины Нансена.

Наполненную людьми шлюпку тотчас подхватила и стала бросать зыбь. С корабля мы видели, как она ныряет, то скрываясь за высоко вставшей волною, то опять появляясь на гребне. Мы долго следили за ней, пока она выгребала против дувшего с берега ветра.

Во вторую партию набралось много желавших, и шлюпка оказалась загруженной до отказа. При первой же попытке отойти от борта, мы увидели, что волна заливаet перегруженную до бортов шлюпку, и, рискуя перевернуться, были вынуждены повернуть к трапу, где нас ожидали посмеивавшиеся над нашей неудачей матросы и кочегары. Некоторых, особенно храбрившихся поначалу пассажиров, успевших «пустить цикорий», пришлось ссадить силою, и, окатываемые волною с головы до ног, мы наконец направились к серевшему берегу.

Первая партия уже возвращалась, когда мы пристали к омываемым прибоем береговым камням. Сшибаемые с ног ветром, мы направились вдоль пустынного берега, покрытого мелкой галькой, заливаемой волнами. В лошине среди камней желтело круглое озерцо, кипевшее седыми волнами. На берегу озерца в изобилии оказался гусиный помет. Мы прошли вдоль берега до самого ледника, непроходимой стеною загораживавшего нам путь. Почти весь берег был завален скатившимися с гор обломками скал. Среди вросших в землю, покрытых лишайниками огромных камней, зеленел мох, и просачивалась ледниковая вода. Множество высушенных ветром ракушек и сухих водорослей, похожих на пергаментную бумагу, валялось на берегу.

Обойдя берег, мы не нашли ни малейших признаков нансеновского становища. Это обозначало, что мы либо оши-

блись местом¹⁾, либо погода и ветры до основания разметали остатки нансеновского жилища.

Шлюпка подошла нескоро. Выбившиеся из сил матросы решительно отказались еще раз возвращаться, и, рискуя быть залитыми, мы уселись в перегруженную шлюпку. Больше всех упрямылся и протестовал осторожный корреспондент-немец. Захлестываемые волною, качаясь на зыби, подгоняемые ветром, мы направились на ледакол. Всю дорогу немец хватался за голову и делал страшные гримасы. Сидевший на руле матрос весело ему кричал:

— Ничего, ничего, браток, привыкнешь!

Земля Рудольфа

Медведи идут!

Третьи сутки мы стоим недвижимо, окруженные ледяной битой кашей. Туман висит пеленою. Он то наваливается, то отступает, и тогда на востоке видны высокие, покрытые снегом берега. Какому острову принадлежат эти, появляющиеся, как видения, туманные берега? Что виднеется за дымкой тумана — земля Рудольфа, куда теперь мы держим путь, или эти скалистые, снежные берега все еще принадлежат острову Джексона, встретившему нас столь неприветно? Определиться нет возможности. Третьи сутки мы не видим солнца. Из густого тумана, как из частого сита, сеет мелкий дождик, — палуба, мостик, лица и одежда мокры. Легкий нордовый ветер вместе со льдами несет ледакол к югу. Дрейф пока небольшой, почти незаметный. Ночью, просыпаясь, я прислушиваюсь и смотрю в иллюминатор, из которого по-евает в лицо холодный, сырой ветер. Все попржежнему тихо. Кучи отбросов растут вокруг недвижимого корабля. Грязные грязки, навоз, порошние жестяные коробки неоспоримо свидетельствуют о долгом пребывании человека. Белые полярные чайки с жалобным криком вьются над кучами отбросов, свежими пятнами крови.

¹⁾ Повидимому, настоящее место зимовки Нансена осталось севернее посещенной «Малыгиным» бухты. К сожалению, неблагоприятная погода и недостаток времени помешали нам продолжить поиски исторической зимовки.

Единственным развлечением, немного развеявшим нахлынувшую скуку, было появление трех медведей. Их заметила во время обеда судомойка Маруся, вышедшая на палубу, чтобы выплеснуть за борт помои. Женский пронзительный голос возвестил:

— Медведи идут!

Кают-компания зашумела, как птичий базар после выстрела. Толкая друг дружку, глотая непрожеванные куски, корреспонденты столпились в дверях. В тумане, накрывавшем ледянце, серое, покрытое высокими ропаками поле, неспешно пробирались три медведя. Трудно было определить расстояние, одевающее стрелков от расплывавшейся в тумане цели. Корреспонденты с винтовками расположились на спардеке. Наверху выстроились иностранцы.

Медведи приближались к судну, иногда останавливаясь и поднимая головы с черными пятнами. Шум голосов, доносившийся с судна, заставил их насторожиться, и, обнюхав воздух, звери стали удаляться. Правила охоты были забыты. Тотчас градом посыпались выстрелы. Начавшаяся пальба живо напомнила войну, передовые позиции, атаки немцев. Пули засыпали медведей. Звери забеспокоились, пустились наутек. Неведомо кем удачно пущенная пуля наконец уложила медведицу. Она медленно легла на лед: раненые медвежата, оставая на снегу полосы яркой крови, скрывались в тумане. По ним продолжали стрелять пачками. Отбежав шагов на триста, они остановились, поджидая оставшуюся мать. Туман закрывал их от выстрелов. Спустившись на лед, стрелки направились к убитой медведице желтоватым холмиком совышавшейся на льдине. С палубы кто-то закричал вслед удалявшимся охотникам:

— Осторожнее подходите!

Дождь и туман помешали мне досмотреть столь необычную «охоту». Уже в каюте я услышал отдаленные выстрелы, которыми добывали раненых медвежат. Через час я услышал, как на палубу поднимали шнуры, снятые на месте промышлением Кузнецовым, замечательно набившим на этом деле руку. Кровавые туши медведей остались на льду. Над ними хлопьями за-

кружились неведомо откуда об'явившиеся белые чайки, с удивительным проворством за много миль учуявшие добычу.

Американская экспедиция

Знаменитый поход Нансена в конце XIX столетия положил начало всеобщему увлечению полярными путешествиями. В эти годы множество различных экспедиций готовилось к походу на полюс, достижение которого стало модной задачей. Некоторые экспедиции имели дутый, рекламный характер. Именно такою была экспедиция американского миллиардера Циглера, отправившаяся в 1902 году на Землю Франца-Иосифа с целью достижения Северного полюса. На оборудование экспедиции были затрачены миллионные средства. Первый раз экспедиция вышла под начальством метеоролога Болдуина, имевшего опыт в полярных путешествиях. В состав ее входили американцы и норвежцы (впоследствии вражда между американцами и норвежцами, обострившаяся во время зимовки, была одной из главных причин неудачного исхода экспедиции). Для передвижения к полюсу Болдуин взял с собою более четырехсот собак, соответствующее количество саней и продовольствия, которого должно было хватить на несколько зимовок. Богатство оборудования однако не помогло американцам выполнить поставленную задачу, и, перезимовав на острове Альджер, где был устроен основной склад продовольствия, сделал несколько неудачных попыток продвигнуться к северу, Болдуин вынужден был вернуться. Первая неудача однако не обескуражила пылкого миллиардера, и на другой же год он снарядил вторую экспедицию. Эту вторую американскую экспедицию возглавлял бывший кавалерийский офицер Фиала, смысливший больше в лошадях, чем в научной организации полярных путешествий. На сей раз Фиалу, завзятому спортсмену, удалось благополучно пройти до северной части архипелага Земли Франца-Иосифа — острова Рудольфа, где в бухте Теплиц американцы решили зазимовать. Место для зимовки было выбрано неудачно. Здесь однажды

уже зимовала итальянская экспедиция герцога Аbruццкого, поставившая в те времена рекорд достижения северной широты, а судно Аbruццкого «Стелла Поляре» было вытиснуто на берег льдами, нажимавшими из моря Виктории, и едва не погибло. Американцы не обратили внимания на печальный опыт Аbruццкого и жестоко за это поплатились: их корабль «Америка» зимою был раздавлен льдами в бухте Теплиц и пошел ко дну. Путешественники остались на зимовку в небольшом разборном доме, привезенном из Норвегии. Попытка Фиала продвигнуться на собаках к полюсу оказалась неудачной, и, сделав всего несколько десятков миль, встретив непроходимые торосистые поля, он вынужден был возвратиться на место зимовки. В ожидании спасательного судна Фиала провел две зимы на берегах Земли Франца-Иосифа и, сделав за это время много санных переходов, облегчивших дальнейшее изучение архипелага, вынужден был окончательно вернуться, оставив на земле Рудольфа громадные склады неиспользованного продовольствия¹⁾.

Лагерь Фиала

Еще издали, за изрезанным трещинами и полыньями серым ледяным полем, сквозь дымку тумана мы увидели на берегу каменистом откосе, окруженном снегом и льдом, сквозившие остовы построек. На гряде обломков белел маленький домик. Две возвышавшиеся над морем скалы, которыми заканчивался, каменный мыс, были похожи на башни древнего замка.

У входа в бухту Теплиц мы встретили важно шествовавшего по льду медведя. Зверь направился к судну, тщательно исследуя лунки тюленей. Присутствие зверя показывало, что лед в бухту Теплиц пришел недавно и медведи здесь занимаются охотой.

Повидимому, медведей в этих местах скопилось большое количество, и мы не успели закончить охоту, как кто-то возвестил о приближении второго зверя. Этот зверь, остановившись в три-

¹⁾ Пример американской экспедиции лишний раз учит, что многолюдство и плохой подбор людей ведут дело к провалу.

дцати шагах от ледокола, осторожно обнюхивал кровь только-что убитого собрата, яркими пятнами красневшую на снегу. Кочегары подкинули в топку кусок медвежьего сала, и медведь потянул на корабль по ветру, как собака тянет по дичи. Подняв узкую голову, он стоял, не обращая внимания на большой черный корабль, на котором, приготовив винтовки, кучкою стояли люди. Внизу кто-то выстрелил и промазал. Вторая пуля угодила в пах зверя. Точно пришитый, он изогнулся и медленно опустился на лед. По нему продолжали стрелять. Он долго лежал неподвижно, розовый от крови, и казался убитым насмерть. Когда на лед выбежали люди, он, весь красный от крови, внезапно поднялся и, пошатываясь, стал на дыбы. Алая кровь ручьями лила на белый нетронутый снег.

— Ну, и сила! — говорили на мостике, продолжая стрелять.

— Столько пуль получил, а, смотри, идет!..

Не желая присутствовать при добывании зверя, я ушел на мостик. Берег был близко. Небольшое ледяное поле отделяло нас от темневшей береговой полосы с постройками лагеря Фила.

Первым спустился на лед руководитель экскурсии профессор В. Ю. Визе. Люди длинною вереницею растянулись по льду, изрезанному трещинами и небольшими полыньями. Нужно много сноровки, чтобы, лавируя среди торопов и трещин, разыскать проходимый путь к берегу, видневшемуся над льдами темною полосой.

Первым провалился немец. Под его тяжестью на краю трещины обломился подтаявший лед, и немец оказался по плечи в воде. Сильное течение тянуло провалившегося под лед. Шедший рядом спутник подал утопавшему руку, но течение засасывало с такой силой, что пришлось кликать на помощь. Мы услышали голоса:

— Скорее, скорее!.. Он меня тащит под лед!

Общими усилиями вытащив утопавших, мы поставили их на лед. Немец был бледен, щеки его тряслись. Мокрый по самую грудь, в коричневой кожаной куртке, ставшей черною от во-

ды, он торопливо направился на ледокол, дымивший во льдах.

Дальнейшее путешествие к берегу прошло благополучно. Перешагнув через последнюю трещину, отделявшую нас от берега, мы выбрались на береговые вые, вросшие в лед, камни. С первого шага под ногами стали попадаться разбросанные по камням различные предметы. Шагах в пятидесяти от берега на груде голых камней стоял небольшой, покрытый талью, хорошо сохранившийся дом. Множество ящиков с продовольствием, разбитых и нетронутых, валялось подле забитого снегом и льдом дома. Уже по первому взгляду можно было предвидеть, что американцы собирались богато. Ящики с консервами, со сгущенным молоком, с лимонным соком, с корнбифом лежали повсюду. На некоторых отчетливо были видны следы медвежьих зубов и когтей. В течение тридцати лет медведи были здесь единственными хозяевами и свободно распоряжались остатками американских запасов. На самом видном месте стоял открытый ящик со столовой посудой. Медведи разбили несколько тарелок и судков, оставив нетронутым остальное.

Внутри дом по самый потолок был забит обледелым снегом, насыпавшимся сквозь разрушенную крышу и надутым ветром из щелей. Снег превратился в плотный лед. С большим трудом мы протиснулись сквозь дымовое отверстие в крыше. Следуя за передовыми, я провалился в темную дыру и, скатившись с ледяной горки, оказался в маленькой темной комнате, беспорядочно заваленной снаряжением. Скудный свет проникал сквозь забитые досками окно, освещая заваленный книгами стол, полки. Привыкнув к темноте, мы стали различать разложенные на полках и на столах предметы. Если бы не лед, доверху наполнявший большую часть жилища, можно подумать, что жильцы оставили дом недавно. На стенах висели фотографии и картинки, вырезанные из американских журналов. На полках корешками наружу были расставлены книги. На столе, точно здесь недавно работал и не успел убраться фотограф, были разбросаны принадлежности фотографической

лаборатории. Копаясь на полках, мы нашли несколько предметов, имевших музейный интерес. Много вещей хорошо сохранилось. меховую одежду можно было носить; даже спички, несколько пачек которых лежало на полках, сохранились великолепно, и тут же мы пустили их в употребление, освещая темные заплывшие льдом уголки...

Комната, в которую мы спустились, по всем признакам была кабинетом самого начальника экспедиции Фиала. Об этом свидетельствовала библиотека и чековая банковская книжка, на которой было отчетливо выведено: «Американская экспедиция Циглера к Северному полюсу».

Нагруженный тяжелыми книгами (мы отбирали только то, что имело исключительно музейный интерес и могло погибнуть без пользы), грязный и мокрый, с немалым трудом я выбрался из гонимой ледяной норы на свет.

Спустившись по груди сваленных у стены ящиков, я обошел дом. Чорт возьми, сколько пропадало здесь добра! Здесь были навалены испортившиеся от сырости, полкоманные любопытными медведями научные приборы, валялись на полу фотографические аппараты, кучею лежали заржавевшие охотничьи и гарпунные ружья, из которых каждое было весом в добрый пуд. Некоторые приборы годились для употребления. Бродившая американка взяла на память висевший на стене стеклянный термометр, отмечавший максимальную температуру. Положив его в карман замшевой курточки, балансируя руками, она стала спускаться по камням. Стоявший внизу кочегар, добросовестно помогавший нам заниматься работой, закричал зло:

— Товарищ мисс, зачем термометр взяла?

— Уат? — остановилась в недоумении мисс, сделав удивленное лицо и подняв подбритые в ниточку брови.

— Чортова кукла, термометр положи!..

Видимо, выразительность жестов кочегара, хлопотавшего о сохранности экспедиционного имущества, была столь несомненна, что маленькая американка, не знавшая русского языка, всего ожи-

давшая от отчаянных большевиков, тотчас вернулась, чтобы положить термометр на место.

— Вот так-то лучше, любезная мисс, — хитро подмигивая, сказал кочегар, — здесь тебе не Америка...

(К чести матросов и кочегаров, ходивших с нами на берег, нужно сказать, что многие, особенно молодежь, со всею старательностью и готовностью помогали нам в исследовательской работе. Никто не подумал набивать карманы. Помню, как молодой матрос строго прикрикнул на одного липового «туриста», проявлявшего слишком «живой интерес» к некоторым редкостным книгам: «Эй, Волков, карманы разгрузи!..»)

Хождение по льдам

Пока мы занимались на берегу, прошло несколько часов, и льды, наплавившие бухгу Теплиц, стали уходить в море. С берега не было заметно медленного движения льдов. Ледокол стоял на том же месте и, чтобы поторопить нас, давал отходные гудки.

Занявшись отборкой музейных материалов, мы остались на берегу последними. Почти все спутники наши уже благополучно перебрались на ледокол, и только несколько маленьких фигурок еще виднелось на льду, когда наконец мы тронулись в обратный путь.

Уже с первых шагов было видно, что многое изменилось в окружавшей нас ледовой обстановке. У самого берега зияла ширская, извилистая трещина, наполненная черной водою, в которой плавали и крутились мелкие льдинки. Идя по следу, проложенному возвращавшимися на судно людьми, я остановился, не решаясь перепрыгнуть. Добрых два метра отделяло меня от противоположного края трещины. Остановившись у трещины, я долго соображал, стараясь найти способ переправиться безопасно. Круглая, колыхавшаяся на воде льдинка казалась мне ненадежной. «Ежели я ступлю на нее, она непременно перевернется, и меня потянет под лед, как потянуло нашего немца, и меня некому будет спасать!..» В нерешимости я стоял долго, пока не подошел один из моих спутников, опытный в хождении по льдам. Не обращая

ни малейшего внимания на мои затруднения, он спокойно ступил на льдинку и, не позволив ей погрузиться, легко пересигнул через трещину, мне казавшуюся непроходимой. Мысленно крикнув, я попытался проделать то самое, что передо мною спокойно проделал опытный спутник. Все прошло благополучно: льдинка колыхнулась под моею ногой, я стоял на другой стороне трещины и смотрел, как ныряет и крутится на черной воде погребовенная мною льдинка...

Мы скоро убедились, что первая трещина, так смутившая меня по первому разу, была пустяком, на который не следовало обращать внимания. Впереди виднелись более серьезные препятствия. Там, где мы легко проходили, теперь темнели широкие полыньи и зияли длинные трещины. Сильное течение на глазах наших разводило льды и увеличивало отделявшее нас от корабля широкое, покрытое водою пространство.

В другое время я наверное отказался бы от удовольствия принимать ледяную ванну, и путешествие по разведенным льдам мне показалось бы не по силам. Быстроту и свободу движения (двигаться и соображать нужно было как можно скорее) стесняли нагруженные тяжелые нарты, которые мы взяли доставить на ледекол.

В первые минуты нам, малоопытным путешественникам, казалось невозможно пробраться, но искусные спутники продолжали подвигаться с такою непоколебимой уверенностью, что мы незвольно заразились их твердым упорством. Наскоро соображая направление и выбирая путь, мы то перепрыгивали через трещины, то переплывали на льдинах широкие полыньи и, дружно взявшись за ляжки, успешно перетаскивали за собою нарты. Рассуждать и останавливаться было некогда. Некогда было долго думать и соображать, что под ногами, под катившейся в трещинах черной водою, под кружевными и хрупкими, как тонкое стекло, закрайками льдин, на которые приходилось сразбегу ступать, скрыта стометровая глубина, в которой лежит похороженный американский корабль...

Мы торопливо сигали с льдины на льдину, и я совсем забыл об опасно-

сти. Начало кажется трудным, пока не увлечешься, а главное нужно забыться и нужно иметь верную цель. Так случалось в любой работе: тяжело, пока не размахнешься, а потом пойдет и, останавливаясь передохнуть, как бы просыпаешься и радостно спрашиваешь себя: где я и что со мною? «Хождение по льду—отличная жизненная наука, а самое главное—не нужно страшиться и не нужно останавливаться, в этом залог победы,—думал я, перепрыгивая с льдины на льдину.—Так устроено все: в борьбе побеждает непременно тот, кто привык не бояться и никогда не колеблется. Вот передо мною маленькая льдинка. Я могу на одно мгновение коснуться, и она мне даст верную точку опоры. Но стоит замешкаться на минуту, и мы непременно потонем...»

Мы долго сигали по расплывавшимся льдинам, по колену перебродили глубокие лужи. На корабле нас поджидали кинооператоры, уже давно прицелившиеся к семке. Усталые, мокрые по самые уши, с большим удовольствием поднимались мы по трапу. После хорошей прогулки особенно вкусным оказался обед и горячий чай. Через час, сидя в теплой каюте, переодевшись, с удовольствием вспоминали мы подробности нашего недавнего опасного пути

В Карское море

Задачи

Одною из ближайших и насущнейших задач для советских исследователей является изучение ледовых пространств, находящихся на восток от берегов Земли Франца-Иосифа и на северо-восток от островов Новой Земли. Пространства эти громадны. Еще в недавние времена ни одно судно не решалось свободно проникнуть в северную часть сурового Карского моря, бывшего как бы за непроходимой чертою, дальше которой никто не решался безнаказанно ступить. Только знаменитый исследователь Нансен однажды посмел нарушить «тайну белого пятна», до сих пор украшающего карты арктических пространств, непосредственно примыкающих к северным границам Советского Союза. В силу климатических, гидрологических

и географических условий большая часть этого донныне неизученного пространства покрыта льдами, которые остаются нерушимыми в течение круглого года. Еще несколько лет назад никто не подозревал о существовании в восточной части Карского моря просторного архипелага, ныне наименованного Северной Землей. По наблюдениям ученых, занятых изучением полярных морей, одною из существеннейших причин оледенения Карского моря является обилие островов и отмелей, которые как бы преграждают путь теплым течениям, идущим из западной части океана, и в то же время, подобно вколоченным в дно сваям, не позволяют двигаться и расходиться льдам. Так, по заранее высказанным предположениям одного из советских ученых В. Ю. Визе, экспедицией на ледоколе «Георгий Седов» в северной части Карского моря в 1930 году был открыт неизвестный до того остров, повидимому, принадлежащий к группе островов, находящихся в северной и восточной частях и Карского моря. Успешный поход «Седова» помог разрешить задачу изучения прежде недоступных человеку ледовых пространств. «Седовым» же в прошлом году был открыт западный берег Северной Земли, где советский полярный исследователь Георгий Алексеевич Ушаков уже успел проделать большую исследовательскую работу, которая наравне с подвигом другого полярного исследователя Фритьофа Нансена блестящей страницей войдет в историю полярных походов и открытий¹⁾. В нынешнем году полет воздушного корабля «Граф Цеппелин» успешно разрешил задачу обследования малоизвестного, имеющего громадную будущность (благодаря обилию ископаемых богатств) Таймырского полуострова, географическая и геологическая природа которого очень близка Северной Земле.

Ближайшею задачею, которую займется советские полярные исследователи, является изучение малоизвестных пространств Карского моря, которому предстоит огромное значение в будущем

оживленном морском сообщении портов Сибири с портами Америки и Европы. Путь великой Карской экспедиции неизбежно должен расшириться и, быть может, пройдет севернее мыса Желания — крайней точки архипелага Новой Земли. Для всего этого требуется проводимое научными и морскими учреждениями исследование малодоступного моря, его ледовых свойств, течений и глубин.

Желая использовать поход «Малыгина» в научных целях, руководитель экспедиции В. Ю. Визе уже в 1931 году наметил посещение северной части Карского моря, где по его предположениям, кроме открытого в 1930 году острова, должна существовать цепь других, доселе неизвестных островов, о чем со всею несомненностью свидетельствовало скопление неподвижных льдов, наполнявших восточную часть моря. Однако, несмотря на желание Визе (по пути экспедиция надеялась посетить остров Уединения, к которому в прошлом году не в состоянии был пробиться «Седов» и на котором намечена база будущего воздушного сообщения с Северной Землей и Таймыром), «Малыгину» не удалось проникнуть в глубь Карского моря. Льды встретили ледокол недалеко от восточных берегов Новой Земли. Вынужденное пребывание у Земли Франца-Иосифа, продолжительные туманы, сопровождавшие нас в течение всего путешествия, потребовали большого количества угля, и капитан не решился рисковать судном. Уже войдя во льды, будучи примерно на широте острова Уединения, имея несомненные данные о близости неизвестной суши (о чем свидетельствовало повышение морского дна), «Малыгин» по настоятельному требованию осторожного капитана должен был повернуть обратно к берегам Новой Земли. Дальнейший его путь лежал вдоль восточного берега Новой Земли: на Маточкин Шар и дальше — на остров Кольгуев и Архангельск.

Во льдах

Уже на четвертый день пути, следуя от берегов Земли Франца-Иосифа к острову Уединения, в северо-западной части Карского моря, «Малыгин»

¹⁾ Подробный годовой доклад Г. А. Ушакова о проделанной им исследовательской работе напечатан в «Известиях ВЦИК».

встретил кромку неподвижных льдов. Дальнейший путь был отрезан, а в лучшем случае представлял трудности, на преодоление которых при малых запасах угля пускаться было рискованно. Измерение глубин, производившееся ежечасно, показывало быстрое поднятие дна. Это обстоятельство неоспоримо свидетельствовало о близости отмелей или неизвестных еще островов, в группу которых входил открытый в прошлом году «Седовым» остров Визе.

Сугубая осторожность капитана, неподготовленность «Малыгина» для продолжительного плавания и главное перерасход угля, вызванный длительными остановками в тумане, заставили нас остановиться, быть может, всего в нескольких десятках миль от неизвестной земли, наличием которой подтверждали вычисления В. Ю. Визе. Окруженный льдами, слабо покачивавшимися на идущей из открытого моря тяжелой зыби, «Малыгин» опять стоял неподвижно. Мне еще не доводилось видеть, как «дышит» лед. Это было замечательное зрелище, на которое стоило полюбоваться. Мы стояли на палубе, мокрой от тумана и дождя, и спрятав в воротники забрызганные холодным дождем лица, смогали, как вся ледяная поверхность, далеко уходящая в дождливую хлябь, как бы волнуется и живет. (Совершенно так живет и дышит покрытое коркой сплетшихся растений большое болото, по которому идет осторожный охотник.) Свистевший в вантах нордовый холодный ветер и глубокая, идущая под льдом зыбь показывали, что в открытом море гуляет крепкий шторм, и некоторые из путешественников, прислушиваясь к свисту ветра, поживаясь, говорили:

— Ух, должно быть, качнет!

— Да уж качнет, — успокаивали другие. — Тут ходит, а что в открытом море — брр! — делается.

— Берегись, Чумак, — говорили одному из храбравшихся наших страдальцев, особенно подверженному морской болезни, — скоро тебе крышка. капут!..

За три недели плавания многое обозначилось, житейски установилось в быту нашего корабля, населенного столь разнообразными, непохожими

друг на дружку людьми. Вот я вижу: в вечерний час перед ужином, который ежедневно происходит по строго установленному «Интуристом» расписанию, в верхнем «салоне» — в просторной, обделанной красным деревом рубке — начинают сходиться люди. Круглый, крепкий, как хорошо закатапный и испеченный ловкою бабкою колобок, выкатывается наш «наркомпочтель» Папаня. У Папани все круглое и короткое: пальцы на руках, ноги, круглые словечки, круглый выбритый подбородок, круглые и отнюдь не добрые, серые, жесткие глаза. Круглого его впрочем не рыхлая, — так круглы и крепки со всех сторон обкатанные голыши-камни. Он и в самом деле обкатан, как голыш-камень, этот выдавший виды маленький и крепкий человек, бывший севастопольский матрос. С самым веселым видом он подходит к каждому из нас и, подмигивая, предлагает мирно: — Пулечку?..

За одним из небольших столиков, накрытых черной клеенкой, уже налаживается «пулька», расчерчивает бумагу длинный московский корреспондент, говорящий на дюжине языков, такой длинноносый, что, проходя, боишься за него зацепиться. Вот за другим столиком, одетая в мужской серый костюм, устраивается раскладывать пасьянс миссис Дрессер, американка, владелица автомобильной фабрики под Нью-Йорком. У нее твердые, покрытые сухой блестящей кожей руки, твердая прическа, твердое и правильное лицо, прямая и твердая походка. Она держится, как фронтовой солдат, прямо. Против нее сидит ее сын — «бугай». У него грубое лицо, волосагие руки с крепкими обломанными ногтями. Он отлично спит, желудок его в полной исправности. Мистер Дрессер на мир смотрит просто. Вид книжного переплета на него нагоняет сонливость. В свои тридцать восемь лет он сохранился отлично и чувствует себя юношей. Его три ружья и полдюжины охотничьих ножей, которыми он обвешался еще по выходе из Архангельска (видимо, и самый перестраивающийся Архангельск он принял как полярную экзотику), его непромокаемые канадские сапоги пошитые из цельного кус-

ка кожи, всегда в образцовом порядке (к стыду наших корреспондентов, «хранивших» винтовки под койками). Своими волосатыми руками он умеет делать всё. Ах, мистер Ван-Дрессер, владеец автомобильного завода и миллионер, ничуть не похож на наших, недоброй памяти, ныне бесследно исчезнувших белоручек-сынков, которых чуть не до двадцати годиков ласково подтирали нянюшкины опытные руки! Мистер Дрессер стреляет в медведей бесщадно и наверное будет также стрелять в людей. Вопрос о ружейной смазке, о деталях конструкции неизвестного ему шлюпочного мотора его интересует больше вопросов изящной литературы. Мистер Дрессер привык рано ложиться и крепко спать. Руки миллионера Дрессера в привычных мозолях, он ничуть не гнушается, не хуже заправского носильщика, таскать на собственном горбу свои тяжелые чемоданы. Наглядным доказательством умелости рук мистера Дрессера служат стальные часы, взятые им на память из дома Фиала на острове Рудольфа, пролежавшие тридцать лет под снегом и льдом. Побывав в руках мистера Дрессера, эти часы отлично пошли. Теперь они висят на стенке в его каюте, точно показывая время. Стоя в дверях каюты, скаля здоровенные зубы, мистер Дрессер с удовольствием выслушивает комплименты своим столь разнообразным способностям.

— Вы замечательный часовщик, мистер Дрессер!

— О, иес!

— Наверное вы так же умеете чинить испорченные чемоданы, править бритвы?

— О, иес!

— Стрелять из винтовки и пулемета, управлять автомобилем и аэропланом?

— Олл райт! Чистопородный американец должен уметь делать все сам...

Полною противоположностью мистеру Дрессеру можно считать нашего другого иностранного гостя. Герр доктор Зибург — немец, корреспондент влиятельнейшей немецкой газеты и автор нашумевшей книги о Франции. Он владеет многими языками и блещет огромным. Герр Зибург не может жить без

модных книг, ежедневной ванны и разговоров о политике и литературе. Лицо его одутловато, руки белы и нежны, как у женщины. Свою винтовку он вынимал из чехла единственный раз. Ранив медведя и увидев развороченную разрывной пулей открытую пасть зверя, герр Зибург бросил ружье и окончательно отказался стрелять (раненого медведя прикончил Дрессер). На корабле он наблюдает. Он прислушивается к кают-компанийским разговорам, вставляет остроумные замечания и весело издевается над генералом Нобиле, выступающим в кают-компании в роли карточного фокусника. В альбоме, завешенном для памятных записей, он оставил единственный свой автограф:

«Любимое занятие русских — не спать по ночам и у дверей моей каюты заниматься длинными разговорами. Это имеет то удобство, что здесь можно научиться по-русски...»

Он посмеивается над неумением русских соблюдать точный режим, над безалаберностью и бесшабашностью шумливых корреспондентов, окончательно спутавших ночи и дни. Герр Зибург жалуется на бессонницу, и желудок его не всегда в порядке. Провалившись в трещину в бухте Теплиц, он более недели не показывался из каюты, и, когда наконец появился, его было трудно узнать: так он осунулся и похудел. Это он на банкете в бухте Тихой сказал свою замечательную речь, подлинный смысл которой можно выразить парой слов:

— У нас (в Европе) — все позади, у вас (в России) — все впереди...

Нисколько не интересуясь остротами доктора Зибурга, расположившись в складном легком кресле, привезенном из Америки, заложив нога за ногу, сидит еще одна наша знатная гостья — американка мисс Патерсен. Мы знаем немного ее биографию. Мы знаем, что она не столь богата, как случайные ее спутники господ Ван-Дрессер (миссис Дрессер смотрит с явным презрением на свою соседку), и у нее нет автомобильных заводов, что в СССР она уже третий раз и уже объездила все уголки мира, что теперь, вернувшись из полярного рейса, она напрямиком катит в Центральную Африку...

Мы бьемся об заклад, стараясь определить ее возраст. Быть может, ей двадцать, быть может, пятьдесят. Разве кто узнает тайны американской и парижской косметики? Тонкие брови ее подбриты. Уважаемая мисс, что гоняет вас по всему свету? Я вглядываюсь в ее лицо. Дряблые старушечьи морщинки спускаются над ее ртом. И какие пустые, мертвые глаза. Ах, мисс Патерсен, я, кажется, отгадал загадку вашей ненасытной страсти к путешествиям, а таких порожних и мертвых глаз у нас нет даже у семидесятилетних старух!..

Мы живем, как в маленьком уездном городке, — все секреты наружу. Таков наш всех интересующий секрет — маленький «роман» Папани с американкой мисс Патерсен. Круглый и веселый Папаня разыгрывает наивную американку. Ну и что же? Мы с большим удовольствием следим за развитием корабельного «романа». Успехи Папани несомненны, и уже многие готовы побиться об заклад, что мисс Патерсен будет сохнуть в Америке, вспоминая круглого «наркомпочтателя» и бывшего севастопольского матроса, выдавшего на своем веку виды. Мисс Патерсен, не верьте, не верьте Папане! Глаза его не так пусты, как ваши, а сердце его жестко, как камень, взятый вами на память с пустынной скалы Рубины...

Генерал Нобиле

Окруженный кучкою пассажиров, за маленьким шахматным столиком в углу салона показывает фокусы чернявый маленький человек. На лице его детская улыбка, тонкие пальцы с поразительной ловкостью тасуют и перебирают колоду игральных карт. Это генерал Умберто Нобиле, инженер, строитель дирижаблей, друг римского папы, недавний фашистский герой, печальная известность которого облетела весь мир. В Москве американцы-туристы, узнав об участии в путешествии генерала Нобиле, заявили протест, ссылаясь на то, что его присутствие должно непременно принести несчастье. На корабле Нобиле держится с подчеркнутой простотою. С первых же дней он заявил о своем неременном желании

участвовать в научных работах и с тех пор вместе с нами регулярно ведет гидрологические и метеорологические вахты. В метеорологическом журнале с пунктуальной точностью и с излишнею старательностью его рукою выведены записи и цифры. К книге, которую он везет с собою, посвященной описанию полета «Италии», на первой странице напечатан автограф и портрет «ее величества» королевы Елены, поднесенный автору накануне знаменитого полета, а дальше — готическая папская грамота и фотографический снимок, изображающий самого святейшего отца в облачении и тиаре, торжественно вручающего большой деревянный крест, предназначенный для водружения на полюсе. На снимке Нобиле — в генеральской опереточной форме, с аксельбантами и орденами, в фашистской шапочке пирожком. Теперь этот принимавший от папы благословение, печально знаменитый человек с ловкостью взятого фокусника мешает лежащие на столе карты и своей непосредственностью приводит в восторг корреспондентов... Я вглядываюсь в его лицо, в его жесты. Ничто не напоминает в нем важного генерала, о котором сложилось привычное представление. Улыбка его наивна и проста. Его фокусы годятся для рождественских вечеров и детей дошкольного возраста. Он сам заразительно по-детски смеется, когда его уличают и ловят. Где же тот напыщенный, бравший в арктический полет регалии и ордена фашистский генерал, о котором столь уничтожающе писал знаменитый норвежец и путешественник Амундсен? Трудно представить, что на этом улыбающемся скромном человеке лежит ответственность за смерть Амундсена и на гибель участников столь трагического полета. Удивительно и несчастью сложилась его судьба... Я наблюдаю за ним ежедневно, слежу за всеми его поступками. Чего в нем больше — позы или наивной простоты? Он, несмотря на холод и дождь, одевается подчеркнуто легко, сидящая голова его всегда открыта. Находясь на палубе, путешествуя по льдам, он не берет шляпы. В бухте Тихой при встрече с зимовщиками, слушая торжественное пение «Интернационала», Нобиле запла-

кал. Я стоял рядом и своими глазами видел, как по лицу его, передернутому судорогой восторга, быстро текли слезы. С удивлением смотрел я на эти текущие из темных глаз слезы. Что это — излишняя чувствительность или искреннее восхищение перед тою новою жизнью, которую он увидел? Я наблюдаю за ним и не могу понять. Таковыми ли слезами плакал он, принимая благословение от святейшего отца и слушая фашистский гимн?..

Вот он сидит, окруженный смеющимися пассажирами, и с детской улыбкой просит меня тащить из колоды карту. Я смотрю в его глаза и открываю загаданную карту.

— Мистер Нобиле, вы замечательный фокусник!..

Глаза генерала Нобиле сияют детским удовольствием. В самом деле, кто же этот столь странный человек: фашистский надутый генерал или... несчастный ребенок?..

(В последнее время за границею, преимущественно в Германии, группою лиц, имеющих научный и общественный авторитет, ведется упорная кампания в защиту Нобиле. В обширной книге, изданной этими лицами, подробно и обстоятельно рассказывается история трагической гибели «Италии» и приводится ряд фактов, реабилитирующих поступок Нобиле, которому было предъявлено обвинение в том, что он, нарушив основной долг капитана, покинул экипаж погибшего воздушного корабля и спасся первым).

Новая земля

Бухта Андромеды

Отстоявшись во льдах от шторма, по всем признакам яростно бушевавшего в открытом море, «Малыгин» направился к берегам Новой Земли, где в бухте Андромеды предполагалось посадить иностранцев с целью показать им охоту на диких оленей.

Северный остров Новой Земли (Новую Землю разделяет на два отдельных острова узкий пролив, носящий название Маточкин Шар, данное первыми русскими мореплавателями — поморами,

хаживавшими еще в древние времена к берегам Новой Земли), территория которого равна примерно территории всей Швеции, еще до сего времени мало изучен. Громадные его размеры, непроходимые ледники и неперелазные горы, холодные потоки, срывающиеся с гор и ледников, ставят почти неодолимые препятствия для исследователя. Большинство гор и горных хребтов, занимающих серединную часть острова, еще не имеет названий и не посещалось человеком. Западный берег его, примыкающий к Баренцову морю, более доступному для плавающих кораблей, исследован несколько лучше, на восточном же, омываемом неприветливым Карским морем, до сего времени человек — редкий гость.

На каменистой, засыпанной щебнем и острыми осколками плитняка, обдутой злыми ветрами, покрытой снегом и льдом почве Новой Земли растительная жизнь скудна. Однако на берегах Новой Земли еще до сего времени пасутся стада оленей и в большом количестве водится песец, присутствие которого зависит от обилия жувающей в камнях полярной мыши-пеструшки, которую кормится этот похожий на нашу лису хищник.

Когда-то — еще и не в так отдаленные времена — на Новой Земле повсеместно водились большие стада оленей (повидимому, в зимние месяцы олень перекочевывал по льду с материка), а в последнее время на западном берегу олени почти уничтожены. Теперь стада оленей остались преимущественно на восточной карской стороне, куда еще редко проникает промышляющий добычу человек.

Именно поэтому бухта Андромеды, находящаяся в северо-восточной части Новой Земли, была избрана, чтобы дать возможность иностранным туристам испробовать охоту по диким оленям. Признаюсь, я мало верил в удачу, когда спускали шлюпку и в нее усаживались американцы, одетые в вооруженные, как Дуглас Фербенкс в кинофильме. Однако охотникам неожиданно повезло, и первая шлюпка вернулась в точно назначенное время. Сидевший в ней американец, одетый в зеленую шерстяную куртку с капюшоном и в кожа-

ные канадские сапоги, издали махал нам рукою. Когда шлюпка приблизилась, мы увидели, что в ней на дне лежит добыча. По словам сопровождавшего американцев промышленника Кузнецова, недалеко от берега они встретили пасшееся семейство оленей, корову и двух еще безрогих телят. Подкравшись к напуганным животным, американец убил самку и оставшегося у ее трупa теленка. Охота происходила в нескольких километрах от берега и добычу пришлось тащить на руках. Тяжелая дорога, острые и неровные камни, мешавшие ступать, охладили пыл путешественников, и желающих тащить на себе тяжелую добычу оказалось очень немного. Однако прочный американец и на сей раз показал себя. Ввалив на спину убитого оленя (он тащил тяжесть каким-то неизвестным нашим охотникам индейским способом, перекинув лямку через лоб), он благополучно доставил его на шлюпку. Убитых животных подняли на палубу. От них пахло молоком и землей.

Вторая охотничья группа, в которую входили наш веселый «наркомпочтель» Папаня и два московских корреспондента, отправившаяся особняком в другую сторону, долго не возвращалась. Беспоясы о судьбе этой группы (в извилистых и глубоких новоземельских ущельях не раз блуждали и самые опытные путешественники), на «Малыгине» стали давать продолжительные гудки, чтобы помочь заблудившимся скорее найти верную дорогу. К большому огорчению представителей «Интуриста», озабоченных накладными расходами, в ожидании пропавших охотников пришлось простоять лишние сутки. Предположения о судьбе заблудившихся были тревожные. Не будучи знакомы с местностью и условиями ходьбы в горах и ледниках, охотники могли не только заблудиться, но — хуже того — провалиться в глубокую трещину и погибнуть. С каждым часом беспокойство об ушедших товарищах возрастало. «Эх, Папаня, Папаня, — говорили в кают-компани, выслушивая страшные рассказы о погибавших в ледяных трещинах полных путешественниках. — Вряд, браток, пропадаешь!..» На вторые сутки, когда уже было решено посылать на берег поисковые спасательные пар-

тии, вахтенный штурман увидел наконец сквозь серую сгустку дождя медленно подвигавшихся на берегу людей. Люди подвигались так тихо, что уже с борта можно было судить о тяжелом состоянии несчастных.

За возвратившимися охотниками была отправлена шлюпка. Выбившиеся из сил отважные путешественники едва могли без посторонней помощи завалиться в причалившую к берегу шлюпку. Дав им отдышаться, оставшиеся на корабле настойчиво приступили к расспросам. Из довольно сбивчивого рассказа злополучных охотников (им, видимо, не хотелось признаваться в своих ошибках) выяснилось, что они отправились к югу, где в широкой каменной долине наши стадо спокойно пасшихся оленей и, убив четырех штук, сняв шкуры и захватив в качестве охотничьих трофеев рогатые головы (мясо было брошено), отправились дальше. Рассчитывая кратчайшим путем выйти к морю, они попали в ущелье, которое их привело к незнакомому месту. Игги берегом моря не позволяла бурно катившаяся по камням река. Папаня, весьма опытный в походных делах, попытался было снять штаны, но вода была так холодна и бурна, что о переправе нечего было думать. Путешественникам пришлось вернуться на место охоты и разыскивать прежнюю дорогу. Так, без пищи и отдыха, они проблуждали целые сутки. На острых обломках камней, покрывающих почву, сапоги их превратились в лохмотья. «Мы не шли, — сами признавались злосчастные путешественники, мокрые с головы до ног, — а ползли, как раздавленные черепахи. Шаг пройдешь и сядешь ...» Все же, несмотря на крайнюю усталость, у них хватило терпения притащить шкуры и головы четырех погубленных оленей, и трофеи были торжественно подняты на ледакол. Кажется, всех больше пострадал круглый и тяжелый Папаня. Он похудел в одну ночь и более суток не показывался из каюты, отсыпаясь.

— Ну, как, Папаня, — шутя спрашивали его, — хочешь сыграть «пулечку?»

— Пошли к чорту! — кратко и выразительно каждый раз отвечал на это уставший Папаня.

Зимовщики

Мы шли вдоль карского берега Новой Земли на юг. Над черными с серебристыми узорами берегами стояли облака, странно похожие на флотилию больших освещенных солнцем дирижаблей. Верхние стороны дирижаблей были синие, нижние — золотые.

Чем ниже мы спускались к югу, — темнее делались ночи. У входа в Маточкин Шар нас опять встретил густой туман. Боясь наскочить на берег, капитан отошел в открытое море. Так, лавируя малыми ходами, топчась на одном месте, мы простояли почти целые сутки. Вечером в расходившемся тумане открылись берега Шара — замечательно места, о красоте которого мы слышались немало.

Мы вошли в пролив в сумерках. Синяя дымка висела над высокими покатыми горами. На правом берегу, в глубине небольшой круглой бухты, у подножья пологих и синих гор (белый снежный ледничок на синем фоне горы замечательно напоминал образ летящей чайки, столь знакомый по занавесу Художественного театра) виднелась радиостанция — высокая деревянная мачта и несколько построек. Унылый и безжизненный вид имел этот человеческий поселок, к которому мы приближались. С мостика я смотрел в бинокль на пологий, усыпанный щебнем берег. Кажется, на станции все перемерли. «Малыгин» бросил якорь, когда на крыльце дома появились люди, сопровождаемые собаками, они спускались к морю. В спущенной шлюпке мы направились на берег. Уже по первому впечатлению здесь на голом и мокром берегу не было ничего похожего на роскошную и сытую жизнь, которою жили зимовщики бухты Тихой. Встречавшие нас люди были нездорово бледны и сдержанно выказывали радость. (Корабль наш был первым в этом году.) Признак болезненной усталости лежал на всех лицах. По усыпанной щебнем и каменным углем дороге мы поднялись к дому и вошли на крыльцо, где стояли и пожимали нам руки встречавшие нас пришедшиеся и побрившиеся ради прибития редкостных гостей зимовщики.

В коридоре дома пахло так, как пахнет в больших и не совсем опрятных общежитиях. Этот неприятный запах человеческого обиталища тотчас наполнил береговую прозу. Нас встречали просто. В большой комнате с бревенчатыми стенами висели диаграммы, белел лист стеной газеты, в шкафу виднелись корешки зачитанных книг. На покрытом белою скатертью столе стояла единственная тарелка с черным нарезанным толстыми кусками хлебом. Уже по первому впечатлению можно было сказать, что люди здесь провели тяжелый и трудный год.

Осмотрев жилое помещение, мы вышли на волю. Тяжелое впечатление производила самая местность. На покато и гоюм берегу, накрытом мокрым туманом, разбросанно и неуютно стояли отдельные постройки. Побывав в магнитном павильоне, где в темноте светились самопишущие приборы, мы направились на взгорок к кладбищу.

На осыпанной мелким щебнем земле пучками росли крупные новоземельские незабудки. Четыре надмогильных креста высились на вершине пологого взгорка.

— Эге, — пошутил кто-то, рассмагриявая кладбище, — у вас основательно пущены в землю корни...

За короткое существование станции — четыре могилы. Это наглядный показатель тяжести долгих зимовок, о которых мы знаем только по книжкам... Мы остановились у свежей забетонированной могилы. В ней лежал молодой сотрудник станции, геофизик Матюша Лебедев, прошлой зимой погибший при исполнении товарищеского и служебного долга. Мы стояли у могилы молодого товарища, погибшего на посту. Интуриста не пожелали долго оставаться. Для них здесь не было ничего достойного внимания. Никто не заметил их отсутствия.

Здесь было наше, и над могилой товарища мы молча сняли фуражки.

Рассказ о смерти

Вот краткий рассказ о смерти, переданный Вильямом Яновичем Лискиным. Два человека зимою работали в трех километрах от станции на льду, где

была установлена палатка и имелась прорубь для постоянных гидрологических наблюдений. День был ветреный и холодный. Живавшие на Новой Земле хорошо знают, что такое восток — бешеный норд-остовый ветер, несущийся со скоростью шестидесяти метров в секунду, поднимающий на воздух камни и снег и в водяную пыль превращающий волны. Именно такой ветер накрыл дежуривших в маленькой палатке двух научных сотрудников. Целые сутки, заметаемые снежным и ледяным ураганом, отрезанные от жилья, при температуре тридцать градусов ниже нуля два человека отсиживались в маленькой палатке, жестоко терзаемой ветром. На станции беспокоились о судьбе оставшихся на льду людей. Чтобы смёлить их, двое других — сам начальник станции Лискинен и молодой научный сотрудник Матюша Лебедев — решили отправиться им на смену. Ураганный ветер, несший тучи обмерзлого снега, сбивал путников с ног. Чтобы не задохнуться в струе плотного воздуха, им приходилось подвигаться пятясь. Так им удалось пройти немного. Ветер и тьма сбили их с дороги. Они долго кружили, засыпаемые пургою, из всех сил борясь с ветром, душившим дыхание и валившим с ног. Первым стал сдавать молодой Лебедев. Бывший кочегар Лискинен оказался выносливее. Он просьбой и грозьбой помогал спутнику бороться с одолевавшей его предсмертной усталостью, и, когда тот отказался идти, взвалил его на плечи. Маленький, тощий Лискинен во мраке и мятели долго таскал молодого умиравшего товарища, потерявшего желание и волю бороться. «Я не хотел его бросать, я заставлял его идти и двигаться, уговаривал бороться, — виновато улыбаясь, рассказывал маленький Лискинен, не совсем правильно выговаривая русские слова, — я потерял мои силы. Я положил его в снег лицом под ветер и отправился искать станцию, чтобы скорее, как можно скорее, прислать помощь. Но что я мог сделать? Я очень долго еще бродил и никак не мог найти дорогу. Должно быть, я бродил близко и ничего не видел. Однажды я уперся в снежную гору и стал подниматься, ду-

мая, что нахожусь в знакомом месте. Я упал глубоко в снег. Мне не хотелось подниматься и хотелось заснуть, но я заставил себя подняться и идти дальше. Мне нужно было скорее организовать поиски и спасти товарища. О своей жизни я думал тогда меньше всего...»

Лискинена подняли у порога дома. Он едва дополз до порога и почти не имел силы, чтобы постучаться. Кожаные его брюки примерзли к телу. Лицо было обожжено ветром. Его внесли в помещение на руках. Впадая в забытие, он сказал: «Скорее идите спасти Лебедева... Он близко... Лежит в снегу...»

Трое зимовщиков, связавшись веревкою, тотчас отправились на поиски, но ветер и мгла помешали им что-либо сделать. Лебедева нашли на другой день, когда стихнул восток. Он лежал в снегу заочневший. На лице его, обращенном в подветренную сторону, выросла ледяная толстая маска. По мнению доктора, ходившего его разыскивать, он умер от задушения, — его задушил набившийся в дыхательные пути снег...

На свежей, аккуратно обложенной могиле Лебедева растут полярные высокие незабудки. Ветер колышет их голубые и пахучие (на Новой Земле незабудки сладко пахнут) венчики. На белом деревянном памятнике, поставленном над могилой, висит любительская фотография: молодой свежий юноша уютно сидит у стола под электрической лампой и читает. Маленький худой Лискинен, одетый в короткую куртку с якорьками на пуговицах, держа в руках форменную морскую фуражку жмурясь от ветра, говорит:

— Замечательный, веселый был товарищ... А все ветер... Ветер здесь бывает ужасный... Однажды наш доктор пошел в баню, и, пока ходил, крыльцо занесло до самой крыши, и доктор не мог взобраться на сугроб. Мы вышли только тогда, когда слышали, как он скребется в стену. Мы слышали случайно, что он скребется, и поэтому вышли на улицу...

Выслушав рассказ о гибели товарища, мы стали спускаться к станции. Ветер трепал волосы на открытой голове Лискинена, не умевшего улыбаться.

Маточкин Шар

Проводы

Ночью все одиннадцать зимовщиков были нашими гостями, мирно сидели в просторной кают-компании ледокола за празднично накрытым столом. Кажущаяся чистота и непривычное убранство их, видимо, смущали. Они жадно тянулись к капусте, к свежему и растительному,—тому, чего нехватало зимою.

В нарядной кают-компании, оборудованной для избалованных иностранцев (уже давно почивавших в своих каютах), на сей раз мы принимали своих товарищей, и в их простоте и конфузливости была живая искренность дружеской встречи.

— Самое замечательное, — сказал один из товарищей, привечавший гостей, — это дружественная товарищеская спайка, которую, несмотря на исключительную тяжесть зимовки, вы сохранили на редкость. Недавно мы гостили у зимовщиков на Земле Франца-Иосифа, где условия зимовки отнюдь не похожи на ваши. Однако зимовщики бухты Тихой не могут похвастать взаимностью добрых отношений. У вас мы не заметили признака недружелюбных чувств. Вы с удивительным терпением перенесли тяжелую зиму и работали дружно. С искренним чувством пьем за вашу товарищескую семью, до конца исполнившую свой долг...

В речи говорившего было затронуто болезненное место полярных зимовок. О ссорах и неполадках, почти неизбежно сопровождающих каждую длительную зимовку, мы слышались за дорогу немало. От людей, хорошо знающих условия жизни на отдаленных полярных станциях, на долгие сроки отрезанных от всего мира, я слышал много о том, как за долгую зиму люди до лютой зависти надоедают друг другу и после долго не могут встречаться. В большинстве случаев засидевшиеся зимовщики без всякой меры склонны преувеличивать обиды и лишения, и личная склока им кажется наполняющею весь мир. Разумеется, одною из основных и существенных причин неурядиц является неудачный и поспешный подбор зимовщиков. На зимовку нередко попадают

измотавшиеся, неуравновешенные люди, неврастеники, которых гонит на край света обычная для этой болезни непоседливость,—такие люди бывают особенно невыносимы.

Рассказов о неудачных зимовках, ссорах и столкновениях мы слышались очень много, поэтому особенно было приятно видеть дружную семью людей, стойко перенесших тяжелую зиму, тем более, что снабжение станции в Маточкином Шаре, по словам самих зимовщиков, было поставлено из рук вовлохо.

Гости

Мы еще долго сидели, прощаясь с матшаровскими зимовщиками, с великим удовольствием уничтожавшими капусту, тарелки с которой приходилось неоднократно сменять. Уже под утро, когда над морем поднялся мокрый туман и открылись ворота пролива, окруженного цепью синевеющих гор, к ледоколу, готовившемуся поднять якорь из глубины пролива, подошла моторная лодка. Из грязного люка торчала скуластая черная голова. Другая такая же голова без шапки с топырившимися во все стороны русыми волосами виднелась на носу лодки. На грязном дне бота между ящиками и жестянками с нефтью стояла корзина, в которой, поблескивая, рядами лежала свежая рыба — новоземельский голец, которого промышленяют в новоземельских реках жители становищ. Бот прибыл с западной стороны Маточкина Шара из становища Поморского. Обойдя вокруг ледокола, бот остановился под трапом. Из него поднялись на палубу два человека — самоед и русский, простоволосые (русские новоземельские промышленники так же, как и самоеды, не пользуются головными уборами, зиму и лето ходят с открытыми головами), одетые в грязные малицы, с которых на палубу капала вода и грязь. Люди были похожи на экзотических дикарей. Особенно диким, точно выскочившим из двенадцатого века, показывался русский. На русой, светлоглазой голове его, обветренной и покрытой веснушками, во все стороны торчали клочья никогда не расчесываемых волос. Под прикусанными

усаами белели плотные, зверино-крепкие зубы. Он улыбался и скалил эти желтоватые, как моржовая кость, крупные зубы. Самоед был черен, молчалив и скуласт. Лицо, руки, волосы его были густо покрыты маслом и нефтью и зелено-вато блестяли.

Мы окружили неожиданных гостей, конфузливо улыбавшихся и совавших нам грязные негнувшиеся руки. От них мы узнали, что они — промышленники из губы Поморской и только восемь часов, как вышли оттуда, что о прибытии ледокола в Маточкин Шар им ничего не было известно.

Выгрузив рыбу (предназначавшуюся зимовщикам) и получив на обмен ящик с мясными консервами, они обратились к нашему капитану с просьбой взять бот на буксир. Это не представляло трудностей, и на бот был подан конец. Всю дорогу эти два гостя провели на палубе, держась возле камбуза. Они казались дикарями и, улыбаясь исподлобья, с удивлением поглядывали на фотографировавших их нарядных иностранцев.

Маточкин Шар

О красотах Маточкина Шара написано много. Картины художника Борисова, посвятившего всю жизнь и талант изображению новоземельского пейзажа, хорошо показывают необычайную воздушную чистоту линий новоземельских гор и берегов. Этот художник, увлекшийся красотой далекого Севера, много лет провел на берегах Новой Земли. Памятью его пребывания остались названия гор и ледников, которыми он окрестил прилегающие к Маточкину Шару снежные сияющие вершины. На карте, разложенной в капитанской рубке, мы прочли имена почти всех русских великих художников.

Пролив, соединяющий два северных ледовитых моря, самым удивительным образом перерезает наиболее гористую часть Новой Земли. Глубина пролива равномерна и настолько безопасна, что в случае отсутствия льдов, нередко загромаждающих узкие и извилистые его колена, в нем полным ходом могут проходить глубоководные океанские корабли (это обстоятельство имеет большое значение для судов Карской экспеди-

ции, которые пользуются Маточкиным Шаром для прохода из одного моря в другое). Наиболее живописные места Маточкина Шара находятся ближе к выходу в Баренцево море. День, когда «Малыгин» проходил Маточкин Шар, оказался исключительно благоприятным. Яркое сияло солнце. Последние ключья тумана, провожавшего нас из Карского моря, на глазах наших таяли между лиловыми складками гор. Поверхность пролива, иногда волнуемая быстрым течением, была чиста и зеркальна. Меня поразило полное отсутствие жизни на Маточкином Шаре, придававшее ему особенный мрачный колорит—даже чак и кайр не было видно над водой. Высокие, все увеличивавшиеся горы, изрезанные и осеребренные ледниками, возвышались направо и налево. По их высоким склонам и обрывам ползли и курились похожие на лебяжий пух белые облака. Мы плыли, точно посреди высокой нарисованной декорации: пролив замыкался за нами в своих коленах, и казалось, что ледокол плывет по тихому зеркальному озеру, окруженному синими и лиловыми горами...

Любители альпийских восхождений (мне чуждо это ультралюбительское удовольствие) с завистью смотрели на возвышавшиеся горы, и, чтобы удовлетворить их настойчивое желание, было решено остановиться в одном из лучших мест пролива. Место было действительно чудесное. Мы с'ехали на берег в шлюпке. «Малыгин» стоял на середине зеркального пролива; казалось, он стоит посреди глубокого горного озера, в котором прозрачно отражаются окружающие его снежные воздушные горы...

Яркость панорамы увеличивала замечательная прозрачность воздуха, и, когда мы поднялись на берег, все вокруг стало видно. Шагая по камням, мы стали подниматься на гору. Растительность здесь была богаче, солнце пригревало теплее. Среди обломков камней на пригорках цвели горные цветы, а над ними по-летнему, раскачивая красные и лиловые венчики, гудел пузатый бархатный шмель.

На крутых обрывах между камнями, нагретыми летним солнцем, густо ро

сла-стлалась полярная мохнатая ива, здесь ничуть не похожая на микроскопическую иву, которою любовались мы у подножья Рубини. Поднявшись на заросший цветами пригорок, с удовольствием уселись мы на круглые камни, подставляя лица ласково припекавшему солнцу. Я уже второй год не видел жаркого лета и, отказавшись сосуществовать альпинистам, с высунутыми языками поднимавшимся на крутую гору, нашел замечательный уголок, где пахло летом. Это был край обрушившейся скалы, под которою, как в теплице, густо росла высокая пахучая трава. Я с наслаждением лег в эту траву. Смотря на небо, вдыхая аромат, я лежал и слушал, как глубоко внизу шумит расплывшийся по камням поток и гогочет, носясь над потоком, тревожно кличет напуганный людьми дикий гусь.

Губа Поморская

Крепкий ветер

На выходе из Маточкина Шара погода переменилась, подул крепкий ветер, и в губе Поморской, открывающей вход в пролив со стороны Баренцова моря, «Малыгина» встретила крутая, идущая из открытого моря зыбь.

Губа Поморская — это широкий, довольно просторный залив, имеющий форму круглого ковша, в глубине которого мореплаватели-поморы с давних времен находили себе место для отдыха и стоянки. О временах прошлых свидетельствовал крутой обрывистый мыс, выдвигавшийся далеко в море, где на фоне багряного неба виднелся высокий каменный гурий и два деревянных креста — старинные мореходные знаки промышленников-поморов.

«Малыгин» остановился далеко от олюцкого берега, на котором, окруженные чашею снеговых синевеющих гор, виднелись небольшие, покрашенные желтой краской постройки. Здесь когда-то жил художник Борисов. Памятью пребывания художника остался построенный им большой зимний дом, где теперь благополучно зимует артель зверобоев, два представителя которых были взяты нами на борт при остановке у станции Маточкин Шар.

Теперь эти два дикообразных представителя, уже отлично освоившиеся на корабле, готовились к отправке на берег. На прыгавшем на волне боте они возились с мотором, который никак не хотел запускаться. Сверху, свесясь за поручни, на них смотрели испачканные в угле коцегары и смеялись:

— Ей, что же твоя машинка стала?

— Крути, крути, Мишкка!..

— Плохо, брат, ваше дело!..

На сей раз желающих ехать на берег почти не оказалось, и я был очень доволен, оставшись единственным (кроме начальника экспедиции В. Ю. Визе и двух поваров, ехавших на берег покупать гольца) пассажиром в утлом боте промышленников, насквозь пропитанном ворванью и нефтью. Не дождавшись, когда пойдет мотор, над которым, согнувшись в три погибели, возился доморощенный моторист-самоед, пользуясь ветром, гнавшим нас прямо к берегу, мы отчалили от борта. Скуластая голова моториста, мокрая от пота и нефти, иногда появлялась в квадратном окошечке люка и, утеревшись грязной рукою, опять исчезала. Так, с незапускавшимся мотором, больше часу качались мы на волнах, медленно гонимые ветром.

Ветер и волны, во все стороны раскачивавшие наше судно, медленно подносили нас к отлоному берегу, где тесною кучкою стояли люди в раздуваемых ветром малицах, без шапок, и с места на место перебегали и лаяли на приближавшееся к берегу судно собаки.

Подойдя к берегу, мы убедились, что пристать нет никакой возможности. Волны с шумом накатывали на берег.

Гремели галькой и не в шутку грозили разбить о камни наше маленькое судно. Не подходя к самому берегу, мы бросили маленький якорь и терпеливо стали ждать лодку, которую по круглякам скатывали на воду не очень торопившиеся люди. С борта было видно, как и людей, и маленькую лодку накрыла и подхватила высокая волна, как в нее вскочили на лету двое гребцов и, оказавшись на гребне другой подхватившей, просвечивавшей волны, она скользнула вниз, точно с высокой водяной горки. Мало удовольствия представляло пользоваться столь ненадежной пере-

правой, но другого выбора не было, и, когда лодочка пристала к борту нашего судна, мы уселись на дно прямо в плескавшуюся холодную воду в единственной надежде, что берег близко и в случае крушения нас должно благополучно вынести прибоем на берег. Мы не заметили, как, колыхнув на высоких качелях, лодочку вынесло на заливаемый волнами берег, и, соскочив в кипящую, накатывавшую под ноги воду, чувствуя, как проникает под одежду ледяная холодная вода, мы бросились на сухое, где с громким радостным лаем нас окружила добрая сотня разномастных собак, с доброжелательным любопытством обнюхивавших незнакомых гостей. Собаки кучились возле нас, визжали от непонятого удовольствия и ласкались. Люди стояли в сторонке. Среди них были самоеды и русские. Они сдержанно нас приветствовали и подавали нам свои колодные, мокрые от морской воды руки...

По пологому берегу, засыпанному костями белух (собак кормят на становищах заготовленным впрок белушьям мясом), заставленному боченками с свежесоленным гольцом, хранившимся под открытым небом, мы прошли к дому. Построенный художником Борисовым крепкий дом хорошо сохранился. Превращенная в амбарушку, в стороне покинуто стояла часовня со сбитым крестом, а рядом высилась новая баня.

Промышленники

Промышленники, населявшие Поморское становище, живут домашне—с женами и детьми. По высокому крыльцу мы вошли в одну из квартир. Лежавшая в сенях сука с новорожденными щенятами недружелюбно залаяла на нас. В комнатах было просторно и сравнительно чисто, висели на стенах плакаты. На двух постелях, застланных шкурами оленей, сидели взрослые самоеды. Один из них, маленький старик со сморщенным бабьим лицом, курил обгрызанную короткую трубку и, облокотившись на грязную подушку, привычно поглядывал в мутное окно. К появлению редких гостей самоеды отнеслись равнодушно, не высказывая видимого любопытства. Приехавший с нами охотник

Кузнецов, знавший по имени всех новоземельских русских промышленников в самоедов, встретился, как со своими. Его привечали, как желанного гостя. Прислушиваясь к разговорам, я оглядывал помещение. Две женщины—молодая и старуха—копались у печки. У голых стены стоял раскрытый шкаф с опорженными грязными пузырьками от лекарства.

Осмотрев помещение и утварь, я подсел к молодому самоеду, показывавшему Кузнецову изделия из моржовой кости. Самоед сидел на лавке, скрестив ноги, и улыбался.

— Ну, как промышляли? — спросил я его, не зная, с чего начать разговор.

— Как промышляли?

— Ну да, промышляли?

— Ничего промышляли...

— Зверя много взяли?..

— Зверя?

— Ну да, зверя много взяли? — повторил я, удивляясь манерою самоеда переспрашивать каждое слово.

— Зверя? — медленно ответил вопросом же мой собеседник, — зверя взяли много, ходили на Карскую сторону на собаках, взяли десять медведей. Здесь белух много взяли. Собак все лето мясом кормили...

Мне очень хотелось раздобыть немало новоземельского гольца, о вкусе и нежности мяса которого я много слышался еще в прошлом году. На деньги самоеды однако отказались продавать рыбу, и волей-неволей довелось придумывать дружеский обмен. Я обещал угостить хозяев на корабле, в старик охотно повел меня на улицу к стоявшим без всякого прикрытия кадушкам.

— Бери, — сказал самоед, открывая кадушку, до половины наполненную плававшей в рассоле серебристой рыбой с распластанными розовыми боками.

Я взял две рыбы и застеснялся.

— Еще бери, — сказал самоед.

Видя мою нерешительность, он сам выложил на доску шесть отборных рыб и вопросительно посмотрел:

— Еще надо?

Мне казалось, что взято слишком, и я отказался. Однако старик прибавил еще две рыбы.

— Бери, бери, — говорил он, подвигая рыбу и спокойно принимаясь за свою обгрызанную трубку.

Щедрость старика-самоеда мне показалась необычайной, и я чувствовал себя неловко. Старик, повидимому, был очень доволен и, улыбаясь морщинистым лицом, исподлобья хитро смотрел на меня своими маленькими черными глазками.

На улице меня остановил Кузнецов.

— Ну, как, раздобыл рыбы? — спросил он, осведомляясь о моих успехах.

— Десять штук самоед подарил, — похвастал я.

— Мало. Пожалел старый чорт, — серьезно сказал Кузнецов.

Я с удивлением посмотрел в его глаза. Кузнецов не шутил. Видимо, старик-самоед в самом деле «пожалел» дать больше. «Каково же было в прежние времена, когда в этих краях царевали купцы-кулаки?» — полумал я, представляя недавнее прошлое этих людей и мест...

Положив сумку с рыбой на опрокинутую шлюпку, лежавшую на берегу моря, в ожидании переправы я пошел вдоль берега. Собаки всею огромной сворой отправились меня провожать. Среди них некоторые проявляли особенную настойчивость, всеми способами стараясь выразить свое удовольствие. Мне запомнился один рыжий кобель, шея и ухо которого были изорваны в клочья. Кобель только-что был в потасовке, однако это ему ничуть не мешало ласкаться. Тряся головой и пачкая меня текущей из ран кровью, он всячески старался высказать свое необыкновенное расположение ко мне...

Уже смеркалось, когда мы наконец переправились на бот, беспомощно качавшийся на волнах прибоя. О поездке на веслах против зыби и ветра, дувшего прямо с моря, не приходилось думать. Оставалось всецело положиться на опыт и упорство нашего скуластого моториста, настойчиво продолжавшего возиться у остановившейся машины.

— Чорт возьми, не зимовать же здесь, — думали мы, ляская от холода зубами, и, забыв про грязь, старались забраться подальше в скрытые от ветра уголки.

Уж когда лопнула последняя надежда на то, что нам удастся переправиться на корабль, видневшийся посреди бухты, кому-то пришла наконец дельная мысль:

— Нефть у тебя в баке имеется? — спросили мы у самоеда, пыхтевшего над мотором.

Вопрос оказался кстати. Бак был пуст, и мы могли сидеть бесконечно. На сей раз все наладилось быстро. Мы подлили керосину, и мотор весело зафукал. Промерзшие, мокрые до костей, мы наконец помчались по волнам к ожидавшему нас, разворачивавшемуся по ветру кораблю.

Белушья

Тыка-Вылка

Только после Поморской по-настоящему увидели мы, что день отличен от ночи. Ночью светили звезды.

Утром мы шли вдоль берегов Гусиной Земли. На плоских, видневшихся за сеткой дождя серых береговых скалах паслись олени. Это было стадо домашних оленей, принадлежавшее первому на Новой Земле оленеводческому хозяйству, опыт которого впервые производился в этом году. В бинокль видно было, как по отлогим холмам и скалам движутся серые точки.

У входа в Белушью в море вдавался каменный мыс и виднелся высокий гурей. В прошлом году сюда мы входили утром, было светло. Теперь над берегом, над морем, кипевшим седыми мелкими волнами, висела мокрая мгла. Остановившись на якорь, на темневшем знакомом берегу увидели мы постройки. У самого берега качались на якорях два промысловых новеньких бота.

Ехать на шлюпке было далеко, и мы решили ждать берегового бота. Скоро, фукая мотором, он обошел вокруг корабля и остановился с подветренной стороны у левого борта. Это было крепкое промысловое судно с пахнувшей

смолой деревянную палубой и чистенькой рубкой. На палубе стояли люди. От них мы узнали, что судно принадлежит Госторгу, что оно пришло сюда недавно и назначено на зимовку, что люди, приехавшие нас встречать, — члены геологической научной экспедиции, в составе нескольких партий работающей на Новой Земле.

Мы познакомились с встречавшими нас людьми, любезно согласившимися доставить нас на берег. Новенький мотор шел очень послушно, и, покачиваясь на зыби, мы скоро подошли к «пристани» станции.

В прошлом году здесь на берегу лежал снег. Теперь мы поднялись по голым, порогшей коротенькой травой горке. В полутьме полярной ночи, напомилавшей утренний рассвет, поселок казался особенно угрюмым. Два-три строения прибавились с прошлого года (я узнал белевший деревом новый сарай, который, сидя верхом на бревнах, в прошлом году рублили архангельские плотники). На горке, на обдутом ветрами бугре, высились знакомые постройки. В тусклых окнах не было огня. Маленькая женщина, соскочив с высокого крыльца, остановилась в смущении, увидев много незнакомых людей, ветер беспощадно трепал ее плажье.

Следуя за своими спутниками, я вошел в избу, принадлежавшую председателю новоземельского совета — самюеду Тыке-Вылке. В тесных сенях была кромешная тьма, путались и топтались под ногами собаки. Чей-то женский голос приглашающе говорил:

— Заходите, заходите, пожалуйста!..

Тыкаясь в притолоки, я зашел в избу. Две маленькие комнаты были набиты битком людьми, огонек спички снизу освещал лицо Вылки с умными блестящими глазками и свисавшими вниз тюленьими усами.

При свете спички я увидел угол русской печи, полку, заставленную посудой и банками от консервов, и над столом в углу в ките, оправленном узором из бумаги, чей-то большой портрет.

Освещаемый вспышками спичек, усастый, улыбавшийся Вылка неторопливо отвечал на вопросы, которыми его засыпали корреспонденты.

Мы недолго пробыли в хижине, нельзя набитой людьми. Выйдя на волю, мы направились к школе.

Я не успел увидеть всю официальную часть приема, который устроил для нас Вылка. В высокой школе было темно, мигал огарок свечки, которую держал в руках Вылка. При свете огарка мы рассматривали рисунки старшего сына Вылки, сделанные с несомненным талантом, потом, собравшись в большой классной комнате с черной доскою и висевшими на стенах нарисованными новоземельскими учениками — детьми самюедов и промышленников — плакатами и рисунками, корреспонденты слушали «доклад» Вылки. В школе было чисто, пахло нежилым. От большой белой печи по-домашнему веяло теплом...

Усевшись на сдвинутых партах, раскрыв записные книжки и приготовив карандаши, корреспонденты окружили маленького улыбавшегося Вылку. На каждый корреспондентский вопрос Вылка отвечал, подумав. По рассказам его мы узнали, что на Новой Земле все дети обучаются теперь в школе, что нынешний год для промышленников был особенно тяжелым, так как плохо ловился пещ, что жизнь ничего бы, не будь лютой нужды в припасах. Истекшей зимою Вылка, представлявший собою главную на островах власть, на собаках обехал все становище, побывал на северном острове, где промышленники зимовали впервые. Путешествие было трудное. О делах и нуждах новоземельцев Вылка рассказывал толково и деловито.

Выслушав рассказ об организации советской жизни на Новой Земле, кто-то из корреспондентов спросил Вылку:

— В Москве-то ты был?

— В Москве?

— Ну да, был в Москве?

— Я в Москве был. Целый год жил.

В двадцать пятом году на прием ездил к Калинин.

— Тверскую улицу знаешь?

— Знаю, знаю.

— Ну как Москва?

— Москва?

— Ну да, Москва.

— Очень хорошая Москва.

— Что же ты, — сына туда отправляй учиться.

— Нельзя отправлять.

— Почему нельзя?

— Климат худой.

Вылка так серьезно и так искренне сказал о худом московском климате, что было невозможно удержаться от смеха.

Всю эту сцену я наблюдал со стороны. Вылка мне казался хитрым и опытным человеком.

Многое знает он о самоедской жизни, нам известной только по книжкам. В нем была порядочная доля той наивной хитрости, с которою каждый самоед, за это время отлично научившийся разбираться, где плохо, а где хорошо, притворяясь и опуская глаза, рекомендует себя восторженному корреспонденту, стоящему перед ним с записной книжкой в руках:

— Я самоед...

На этот раз мы недолго пробыли на берегу, где все уголки, каждый камень

был обдуг жестокими полярными ветрами.

Через час Вылка и его двое сыновей— два черноглазых, остролицых и сообразительных хлопча — сидели в кают-компании за столом. Мы угощали ребят конфетами, кормили квашеной капустой, которая им казалась лакомством. Вылка морщился, хитро смеялся в усы и опускал глаза.

Губа Белушья была последним местом, которое посетил «Малыгин». Заходить на остров Кюлгуев, посещение которого стояло в плане похода, капитан отказался, ссылаясь на мелководье и отсутствие средств сообщения с берегом. Сторожный капитан, видимо, все еще не мог оправиться от страха после неудачи у острова Ньютона. Мы не могли возражать ему. Снявшись из губы Белушья, дружески распростившись с председателем новоземельского совета и его востроглазыми сыновьями, «Малыгин» направился в Архангельск. Полярный рейс был закончен.

Люди и факты

ЛЕВ ЮДКЕВИЧ — Посевная. 2. О. ЛЯТКОВСКАЯ — Карагянда. 3. Н. В. ПИНЕГИИ — У студеного моря. 4. МАКС ЗИНГЕР — Город на опушке мира

1. ПОСЕВНАЯ

Лев Юдкевич

1
Невероятно тяжелый 1931 год открылся речью Абду-Рахим Ходжибаева в Сталинабаде, Председатель Совнаркома, иранец с головой монгола с картины «Потомок Чингиз-хана», сказал великолепную по своей красочности речь. От образов его речи, иногда наивных, как фольклор, иногда самобытных и крепких, как выстоявшийся воздух горных ущелий, бросало в дрожь.

Он сказал:

— Наше хозяйство от полунатурального успешно переходит к социалистическим формам. Мы подняли вуаль у ряда округов нашей страны, и под вуалью оказалось не безобразное лицо. Уже давно превзойдены довоенные посевные площади, и особенные успехи у нас по хлопку. Солнца не закроешь. Это результат энтузиазма трудящихся, помощи пролетариата СССР и правильной политики партии.

Все же этот год, по его речи, выходил такой же трудный, как и прошлый год. У Таджикистана еще много дыр, и каждая не меньше Варзобского ущелья.

— В современном нашем кишлаке, — продолжал он, — произошли громадные изменения. Каждое из этих изменений больше, чем самая высокая гора на Памире. Но мы должны добиться еще большего. Нашему дехкану надо сказать, что мы не перестанем его раскачивать, подталкивать до тех пор, пока не добьемся, чтобы у него был европейский дом, чтобы он был в сапогах, хоро-

шо одет, грамотен, работал бы в коллективе, чтобы кишлаки были бы связаны хорошими дорогами. Для этого нужно, чтобы все живое работало на социализм. Пусть лошади не козла дерут, а землю; петухи пусть не бьются с петухами, а будят дехкан вставать во-время на работу.

Совершенно спокойно приняли председатели райкомов, секретари райкомов, агрономы, землемеры и такое ядовитое самокритическое замечание:

— У нас были и есть голоса за то, что разве можно работать так напряженно и ненормально. Работаете днем, работаете ночью, кушаете что попало, спите когда придется. Дайте хоть один год поработать спокойно. А я говорю, кто не берется за хлопок, тот не большевик.

Но действительно ведь все это правда: не едят нормально, не спят, не отдыхают, не видят неделями и месяцами жен и детей; из-за недостатка работников мобилизованные ведут кочевой образ жизни круглый год. Всегда на лошади, в седле, под дождем, в жару, по оврингам, в далеких кишлаках без дорог и почты, в кибитках, где топят по-черному. Точь в точь, как в гражданскую войну. Откуда такая выдержка у актива! Откуда чортовская самоотверженность у этого поколения.

Но когда Абду-Рахим, перегнувшись за пюпитр и характерно размахивая кулаком, начинает крыть районы, то собравшиеся на республиканское совещание

приходят в волнение и отвечают правительству картечью крепких и деловых слов. Много говорится здесь справедливого — в прошедшем году были и промахи, и ошибки.

Если бы эти самокритические разговоры велись в таком тоне в парламентских странах, в правительство давно бы швыряли вотумы недоверия, продажно лепили бы коалиции и набивали цену за партийные уступки. Но здесь, изругав изрядно друг друга, сегодняшние низы и верхи сели за один красный стол обсуждать детальные посевные планы каждого района.

Из Сталинабада раз'ехались чрезвычайно довольные, с точными посевными планами, директивами, решенными вопросами, о чем в прошлом году в это время можно было лишь мечтать.

И все же Абду-Рахим Ходжибаев не предвидел одного события, превратившего весеннюю посевную в тяжчайшее испытание. Да и никто этого не мог предвидеть.

Речь зашагала по полям.

Малырийный Гиссар рьяно ухватился за директиву, как за откровение. Как большой плот, проплыв по болоту, древний Гиссар пришвартовался у крепости на горе. неожиданно выросшей посреди долины. Какой-то варвар-повелитель на горбах рабов-таджиков стащил сюда эту гряду земли. И вот она, как египетская пирамида, — памятник деспотической воли.

Жизнерадостный восьмитысячный городок, резиденцию бека, басмачи оставили пять лет назад шестидворовым хутором. Еще жутко скалятся провалившиеся стены небитых кибиток. А суворые медресе стоят, как шпионы, среди шумной советской толпы восстанавливаемого кишлака. Временно в их заброшенной келье селится приезжий бригадир, канцелярля, ставят лошадь. Но все при первой возможности убегают от этого средневекового каменного соглядатая, где тесно, темно и какие-то паразиты наносят длительную жгучую боль всему телу. И как странно видеть честные советские мешки с зерном в иезуитских кельях другого медресе.

Бои за хлопок, как партизанская война в тылу, — в кишлаке, на поле, сре-

ди своих. Стычки возможны везде, где прижалась управляемая вековыми инстинктами косность. Однако никто не допустит, чтобы из-за нее земля, способная вынашивать драгоценный хлопок, производила только хлебный мякиш. Этот экономический и политический абсурд должен быть доказан и доказывается дехкану.

Глубокой ночью в чайхане на гиссарском базаре тоже бой за хлопок. Сидящие и лежащие, как в черном пруду, утонули в крыльях десятилинейной лампы. Только за столом китайские тени на выбеленной стене. Вытянувшийся до потолка докладчик говорит все, что полагается в таких случаях: прорыв, ответственность, хлопок, партия; особо упоминает обязывающую речь Ходжибаева. Он подсчитывает на пальцах отчаянные результаты прошедших дней: хлопка законтрактовано пятьдесят процентов, мало тракторных договоров, нет производственных планов, тракторы вспахали лишь 281 га из пяти тысяч.

— Неопытные трактористы, — огрызается агроном.

— Посланные не сидят в кишлаках, — жалостно причитает уполномоченный.

Каждый говорит, много говорят.

Но докладчик знает, что события не сами делаются, их делают люди, и он ради хлопка предлагает произвести самую безжалостную операцию. Нужны бойцы, не слюнтяи.

И вот, когда усталый посевком уже кончает свои тяжелые резолюции, меняет людей в своем составе и отстраняет негодного уполномоченного, чтобы завтра заработать по-новому, в чайхане перед испуганными, опешившими падает и взрывается, как снаряд, старый Мирзов, прискакавший на взмыленном коне:

— Басма-ач-и...

— ?...

Басмачи в Таджикистане — это клич к винтовке, басмачи — призыв к тяжелым, но привычным боям, к бессонным ночам и удвоенной работе. Бои с басмачеством — это бои против хлеба на поливной земле, за хлопок, это борьба с классовым врагом, гражданская война за Таджикистан. Героическая беспредельная преданность Красной армии в

этой прошлой борьбе и иступление средневековых феодалов и фанатиков ислама в своем сплетении — образ ярко-красных роз в густой зелено-розовой змеиной сукровице.

Тогда, в 1920 году, последний эмир Олим-хан бежал на юг, прихватив с собой всю средневековую мерзость. В ожидании Красной армии властитель в Гиссаре и в Дюшамбе предавался своим обычным забавам — растлевал двенадцатилетних девочек и мальчиков, которых ему, как идолу, подносили по два-три в ночь. Светлейший двор занимался тем же, но без всяких церемоний. Сотни девочек исковеркали животные, — говорит гиссарец, сейчас советский гражданин и милиционер, у которого сестра удостоилась тогда такой же «чести».

В марте 1921 года эмир скрылся наконец в Афганистан. Это и есть «день ангела» басмачества. Оставшиеся на месте беки поднимают восстание против советской власти. Их приходит объединить авантюрист Энвер-паша, «верховный главнокомандующий всеми войсками ислама, зять халифа, наместник Магомета». Но тысячные отряды его разбиты, и сам он падает убитый красноармейской пулей. Дело эмира продолжает Селим-паша, потом Файзулла Максум, Ибрагим-бек и множество других. Но в 1926 году Таджикистан извобляется от всех. Басмаческое отрепье уходит за Пяндж, хотя изредка еще беспокоит этот берег. Это и есть сухая лаконичная хроника басмачества.

Гарм, центр вилайета в горах, связан с Сталинабадом ишачьими тропками, оврингами. Афганистан — за снежными горными перевалами. В 1929 году, совсем недавно, старый матерый басмач Файзулла Максум переправился на турсуках через бешеный Пяндж, перевалил обледенелый Дарвазский хребет и явился неожиданно в Гарм. Помощи ждать неоткуда, гарнизона нет. Три чекиста, двенадцать учителей и три сотрудника самоотверженно принимают неравный бой и погибают.

Но когда каратегинский бек уже празднует свою победу в Гарме и вербует в свое войско «лучших людей», над Гармом проплывает огромная птица. Гармцы, никогда не видавшие у себя не только

аэроплана, но даже деревянного колеса до смерти напуганные, бегут. И каково их удивление, когда из брюха стальной птицы выползают знакомые — председатель ЦИК и комбриг Шапкин. Потом из других птиц выскакивают 45 красноармейцев с пулеметами. И, разбитый вдребезги, Файзулла бежит, как горный козел, обратно в Афганистан.

Но вернемся к посевной 1931 года. В ту же ночь, когда Гиссер с новыми силами собрался исправлять свои ошибки, телеграф известил Ханака, этот пустырь, плоский щит, на котором самое значительное — рельсы, отделяющие заброшенную станцию от скупного пункта:

«Вдоль дороги в направлении Ханака движется шайка басмачей примите меры».

Это насмешка. Что можно предпринять с двумя старыми винтовками, разве уйти по шпалам в Сталинабад. Но меры приняты. Одну винтовку без разговоров вскинул на плечо заведующий скупунктом Рауфов, другую крепче прижал стержень и милиционер. Остальные без сна, с совершенно голыми руками, такими голыми, что их долго рассматривали, как будто увидели в первый раз, притаились по углам в ожидании налета и неизбежного конца. Под утро проходит специальный вагон с паровозом. На станции Чептура он сбрасывает для района десяток винтовок и для того же направляется в Регар. На полутонке с винтовками уносимся в тревожную ночь на Шахринау. Но и здесь не знают — что и как. Люди опираются на винтовку и ждут. Лишь после стало известно.

Прорвавшись через границу, они пришли из Афганистана, откуда СССР обычно ждет саранчу, мароккскую кобылку, холеру и чуму. Там вместе с этой нечистью они под покровительством неких сильных окрепли за пять лет, отложили кубышки и вновь двинулись в «родную Бухару», чтобы уничтожить посевы, грабить бедноту, резать неверных кяфинов и «изменников мусульман» — джадидов, — присоединять к своим стаям «знатных людей» — баев, мулл, ишанов — и подымать восстания во что бы то ни стало.

Большой отряд под руководством давишнего заклятого врага СССР Ибрагим-бека двинулся сразу в горы. Горы — это ведь еще один Таджикистан, известный только немногим. И отдельные банды до прихода Красной армии уже успели по безлюдному Бабатагу и Ак-Тау добраться до Гиссарской долины.

С этой ночи тревожный клич разнесится по республике и предупреждает:

— Будьте осторожны. С лопатой, кетчем, на тракторе захватывайте патроны и винтовку. Непредвиденная тяжесть парализует для посевной одну руку, но пусть другая, свободная, машет втрое крепче и уверенней.

Вот собственно и начинается посевная. Абду-Рахим Ходжибаев не предвидел, что она так начнется. Но ведь никто этого не мог предвидеть.

2

Со времени победы Октября на советской земле так повелось, что вместе с обильным солнцем на теплые поля выходят миллионы пахарей не сеять, как прадеды, деды, даже отцы, а делать посевную. Даже единоличники, у которых сознание заслонено собственными уродливыми полосой, кибиткой, омачем, воллом, которые хотят только сеять, не зная сами того, делают все-таки советскую посевную. Ибо они, как миллионы им подобных, организованы вместе с колхозами и совхозами в огромном социалистическом плане, где каждому предусмотрена доля его труда в социалистической стройке.

Каждый день рассказывает, как в наше счастливое время первой пятилетки растет организованный сев, как миллионы выходят на поля делать посевную, чтобы на гребне одного урожая подняться еще выше к следующему вздымающемуся году. Но никто, нигде на советской земле в 1931 году, не в годы гражданской войны, не может рассказать о том, как тысячи выходят на поля с варварской задачей — не делать посевной, оставить неплодотворенной жаждущую землю, не сеять, чтобы не подняться и вырасти, а скатиться назад, упасть за пределы прошлого, позапрошлого сла-

беньких годов. Это возможно лишь здесь, у границ дикого, полукочующего Афганистана.

Эту контрреволюционную миссию взял на себя последний гонец эмира и империалистов, современный бандит и новоявленный пророк ислама Ибрагим-бек. Он конечно не смеет открыто выходить среди бела дня на поля, ибо даже только после шести лет советской власти это слишком опасно. Но, укрывшись в безлюдных горах, маневрируя на сопках и делая короткие налеты в долину, можно тоже добиться немалых успехов.

Ибрагим-бек угры-вор, так метко прозвали его на родине, в Локае. Он и есть вор. Укрывшись где-либо в укромном месте, он переждет, пока хозяин этого громадного хозяйства углубится в какое-либо дело, отлучится, и тогда он налетит, разобьет, зарежет и снова скроется в скады. Правда, расчеты у него были совсем иные. Размечтавшись о периоде безвластья, о том времени, когда он, один курбаши, уцелевший от разгрома Красной армии в Таджикистане, держал в своих руках всю Локайскую долину и угрожал Дюшамбе, возомнил, что бил его час. В смешном высокомерном воззвании «к влиятельным лицам и народу», забыв о своей кличке, Ибрагим-бек изложил теперь, в 1931 году, свои чаяния:

— Пять лет тому назад я покинул пределы Восточной Бухары затем, чтобы вы на своей шкуре испытали, что такое советская власть. Пять лет — срок достаточный, чтобы сделать выбор: я или большевики. И вот я пришел, и я уверен, что вы поумнели и придете под мои знамена.

Увы, дехкане прочли воззвание и не проявили признаков поумнения. Лишь кучка бывших, история которых в советском Таджикистане кончилась еще до их физической смерти, — духовенство, баи, бывшие басмачи, — возымили страсть помочь Ибрагиму в его грязном деле. Классовую борьбу, которую они до сих пор вели в кишлаках разрозненно, за свой риск, они слили с контрреволюцией Ибрагим-бека.

Напрасно Ибрагим сидит часами на сопке, разыскивая в бинокль Восточную Бухару и поджидая в помощь дехканские толпы. Мирный труд, особенный труд наполняет глубокую долину до краев. Волю влекут за собой не только корявый омач, но и острые плуги, сверкающие на солнце, как шашки. Земля раздалась до подножий гор, пашут, где были болота и туган. Пахари ходят не только в одиночку, но и коллективами, как воины, друг другу в затылок, на громадных массивах. А на целинных землях трещит шайтан-трактор. В вилайетах стоят хлопковые заводы, у Сталинабада ходят, как в больших государствах, железные паровозы, и на Вахше, этом вековом рыжем пустыре, хрипят сумасшедшие машины и копошатся тысячи мердекеров. Над головой, точно хотят сорвать ее, носятся страшные стальные птицы. Да под горой ходят, раздирая штыками воздух, кзыл-аскеры, таджики и узбеки.

Где Бухара, страна бесправия? Где все погоняльщики дехкана, где беки, амлякадары, муллы, ишаны?

Но это все кяфиры; это они притажили, это ихнее. Дехкан остаеся тем же. Ибрагим не верит. Крадучись, тайком, он ползет один в родной кишлак. Здесь свои. Он собирает родичей, односельчан и держит речь. Он говорит цветисто о своем могуществе, о том, что за него аллах и великие государи мира сего; что на границе стоят армии с пушками и пулеметами. Он высмеивает Красную армию и советскую власть и зовет дехкан итти к нему на борьбу за «святое» дело.

Тогда встает дряхлый старик, учитель Ибрагим-бека в юности. Тяжело опираясь на палку и трясая головой, он тихо говорит:

— О, Ибрагим, если ты так могуч и силен, зачем пришел ты сюда, как вор, зачем бегаешь, прячась по горам, как козленок. Мы знаем, ты хлопчешь о старой Бухаре. Но мы хорошо помним время эмира. Кроме ран на теле, у нас никаких других воспоминаний о нем не осталось. Сейчас мы мирно сеем хлопок — и этого нам достаточно. Уходи от нас, Ибрагим!

И Ибрагим ушел.

А дехкане Локая, смелые, воинственные, недавние кочевники, организовали вслед большой палочный отряд. Для Таджикистана это историческое событие. Ведь в этом углу басмачество было наиболее сильно, отсюда оно задавало тон всему движению. Локай дал сильнейшие шайки, лучших курбашей, самого Ибрагим-бека, крупнейшую фигуру басмачества. И теперь род, поднявший Ибрагима на белой кошме, прогнал его, как последнего проходимца. Конечно все мероприятия совласти ведут к упрочению диктатуры пролетариата. Но как все-таки билось революционное сердце у советских руководителей, когда локайцы в 1931 году во всеуслышание сказали — Да, мы за советы!

И слова у них не разошлись с делом. 28 мая отряд локайцев вышел с палками против вооруженных басмачей на прочистку Бабатага. Крутые неприступные хребты они прошли походным маршем заглядывая в каждую трещину, щель.

Но не только локайцы встали против басмачей. Во всех районах благодаря своевременной и умелой работе военной и партийной организаций подняли на ноги не одну тысячу красных палочников — дехкан от плуга, от омача.

В помощь этой своеобразной посевной без шума, спокойно, как на маневры, пришли части Красной армии.

И опять сюда с шинелью, рубашкой хаки, как и всюду в бою, в казарме пришла эта удивительная высокая сознательность, эта одухотворенная жажда долга перед социалистическим отечеством, командиром, товарищем, это высокое чувство своего достоинства, эта полная азбучная и политическая грамотность, эта слаженность, сработанность лучшего в мире коллектива. Приход Красной армии никогда не проходит бесследно. Не разворошенные кибитки, не разграбленные кишлаки, не изнасилованных женщин оставляет она на своем пути, нет, сильней крепнет вера в диктатуру пролетариата, возрастает сплоченность единиц, и увеличивается любовь к этой единственной победоносной армии.

В горы двинулись вооруженные добровольческие отряды — лучшее, что имеет Таджикистан. Они ухо-

дили в бой удивительно просто, эти люди, через полчаса после извещения о такой необходимости. Время перелистало назад страницы бытия Таджикистана и остановилось на годах гражданских войн. Опять разноцветные и разнопокройные одежды Красной гвардии — этой формы всех революций, всех времен и народов — стоят во дворе нынешнего геруправления. Опять у бойцов небрежные позы и свободные движения, а в глазах глубокая сознательность и вера в свое дело.

Вот эта милая стриженная девушка-москвичка, в шароварах, косоворотке и больших сапогах, работающая кем-то в дортрансе; винтовку она держит на плече все-таки с заметной женственностью, этопырив немного пальчик. Но она будет в бою безусловно выдержанней многих, стоящих рядом мужчин уже потому, что она только единственная среди бойцов. Кто ее звал сюда? Никто. Инспектор РКИ — плотный среднего роста семит с глазами грузина — беспартийный командир коммунистической роты. С винтовкой прокурор, бухгалтер, финтдела. Таджики, узбеки, русские, евреи, грузины — в рядах.

Чтобы окончательно дополнить картину гражданских войн, недостает только буйных песен, танцев. И действительно, устав за день, танцуют до темноты, до похода: таджики — «яблочко», с какой-то странной восточной грацией, с изогнутой талией и отставленными перед собой руками с вывернутыми ладонями; осетины — легчайшую лезгинку и шамля; русские, как два петуха на карачках, в плясовой отступают и наступают друг на друга.

В темноте расходятся. Мерно бьет нога в новом сапоге; позвякивают фляжки и котелки: скрипит позади родная, ротная повозка. Под ровный такт чувствуешь себя в массе так уверенно и хорошо, как у матери в колыбели. Разумная сила этого людского потока особенно прорывается на перекрестке, где без распросов и команд, молча, каждая рота, масса отдельных индивидуумов, сворачивает в разные направления. Все роты получили самостоятельное назначение и отдельные боевые задачи. Как

сумасшедше хорошо почувствовать второй раз в жизни свою юность.

А потом, как дрались все вместе — Красная армия, добровольческие отряды, красные палочники!

И снова собираются на очередное совещание у Ибрагим-бека в Курган Кудуе — знатные курбаши.. На кошмах весь цвет басмачества, дорогие халаты и огромные тюрбаны. Этот руководитель тоже подводит итоги кампании, как там, в Сталинабаде Ходжибаев:

— Аллах акбар... Мы теряем силы. Кзыл-аскеры и добровольцы из города ходят, как волки, по нашим стопам. Наш народ не идет нам навстречу. Нигде, несмотря на работу влиятельных людей, восстаний нет. — Он сжимает мясистые губы и, сощутив презрительно глаза, смотрит на расположившийся круг. — Даже локайцы, мой род Иса-Ходжа отвернул свое лицо от меня. — Потом, втянув в последний раз через горбатый дородный нос воздух и пощипывая редкую бородку, он глухо кончает: — Надо уходить в другие районы...

— Как это уходить в другие районы, — кричит, привскочив, Шокир Токсоба. — Здесь каждая тропка — старый друг и каждая скала — как дом. Уходить без мултуков и патронов! Народ не поддерживает, оружия достать негде, значит борьбе конец и надо сдаваться на милость победителя.

И Паша Куль, и Кур Артык, и Суюнбай, и Казим-бек Ягнобский, и Панаид согласны с Шокир Токсобо, но они молчат. Не всегда нужно говорить о своих намерениях.

Дородный маслянистый Кур Артык, огромный тяжелеющий монгол, потягивая коф-чай, рассказывает последние злоключения своего отряда в последние дни.

— Сначала наскочил эскадрон кзыл-аскеров, узбеков, порубил 35 джигитов, взял пленных и лошадей. Потом снова в Мунды он же порубил семь человек. Какой-то разезд снял шесть басмачей, забрал джигитов, винтовки. У переправы Кара-Кли опять погибло несколько джигитов, и у гор его поймали снова два отряда кзыл-аскеров. Спасаю только ночь. Они кишат там, в долине, как муравьи. Не знаешь, где их не встретишь

— На нас эти проклятые шайтаны наскочили в Ренганских горах, — докладывает Кара-Кул. — Стали уходить, хотели, как обычно, рассыпаться, но они хитро заняли все боковые выходы в ущелье. Пришлось драться. Ой, сколько пропало хороших джигитов. Шестнадцать убитых осталось на месте, много лошадей, седел, халатов. И тридцать джигитов сдалось кяфирам. Они дерутся, как звери. У них много хороших мултуков и железо, которое разрывает джигитов на части.

О том же могут рассказать другие курбаши. Но не всегда нужно рассказывать о происшедшем с тобой. Они молчат.

В стороне, отлеживаясь от седла, сплетничают обо всем, об Ибрагиме. Паша Куль, старик, — дядя Ибрагима, — кивает в сторону племянника:

— Ни разу не ночевал в кишлаке, боится. Достал где-то кяфиров плащ и спит всегда в горах, даже под дождем. Джигитам своим не доверяет, в бою идет позади, чтобы не убили свои же. А пищу берет только у муллы, что варит, боится отравы. Джигиты злы. Они говорят: «Он нас обокрал. Сулил легкую победу, а получим мы только легкую смерть». Э-э... Ибрагим был камень, стал болото, — продолжает он свою болтовню. — Я думаю, лучше сдаться сегодня, чем погибнуть завтра. Когда женщины придут проливать слезы на моей могиле, то разве жалобные напевы вернут мне жизнь... — И он машет рукой.

— Будь проклят тот, кто научил джигитов этому; пусть в ушах у него всегда звучит голос погибели, — шипит Мусунман Куль. — Пусть он умрет молодым. Слышали, последние джигиты Ибрагим-командира ушли к кяфирам и в знак собачьей преданности прихватили голову Ибрагима. Будь прокляты... Нельзя уже верить джигитам.

И Ибрагим-бек вынужден дать на этом совещании согласие «малодушным» — сдаваться на милость победителям, но без оружия. Однако курбаши кровно обиделись. Шокир Токсоба открыто выпалил:

— Не ты мне давал оружие, и не тебе я его отдам.

Через неделю усиленных боев на могиле Хозрет-Баба в горах Бабатага опять состоялось бурное совещание Многих здесь уже не доставало. Одни легли под ударом красноармейского клинка, другие ходят гостями по Сталинабаду и знакомятся с неведомой советской властью и выросшим здесь внезапно городом.

Нехорошие итоги. Сам Ибрагим выступил и заявил, что с такими силами бороться против советской власти нельзя; что ему нужно съездить в Афганистан за оружием и припасами. Но курбаши знают уже заранее хитрый маневр Ибрагима. Они одни не желают расклебываться закрученного здесь. Пусть Ибрагим остается.

И все же Ибрагим-бек, прославленный вождь басмачества, к 10 июня бежит из Таджикистана с жалкими остатками своей банды¹⁾.

Посевная кончилась. Каких огромных усилий, материальных ценностей и человеческих жизней стоила она. Если бы весь этот героический труд Красной армии, добровольцев и палочников приложить на воздвигание хлопка, можно было бы сотворить чудеса — покрыть огромную территорию драгоценным египетским хлопчатником, внедрить персидочный хлопок, устроить фашины и вырасти за один год в несколько раз.

Итоги этой очередной посевной в Таджикистане весьма своеобразны и неожиданны: план сева хлопка выполнен на 85 процентов, ни один из пришедших басмачей не ушел из Таджикистана — часть сдалась, часть захвачена в плен. Остальные погибли в бою. План сева пшеницы выполнен на 141 проц. За успешное проведение посевной Сталинабадский район награжден.

Таджикистану посевная стоила десятков храбрых и преданных голов, разгромленных кооперативов, сожженных школ и больниц, но хлопок по плану все-таки будет. Партия, руководившая боями, никаких уступок не давала районам на эти

¹⁾ 23 июня колхозники кишлаков Ходжи Буль-Булана и Ишкабада и добротрядцы Мукум Султана при переправе через реку Каферниган близ Сталинабада захватили Ибрагим-бека и передали его в руки советской власти.

события. И недосев пополняется сейчас энергичной трехкратной окучкой. Да, клопок будет!

Район

Сталинабад исчезает в этот горячий полдень, как мираж, лишь только, обернувшись на лошади, сощуришь на миг глаза. На его месте вздымаются километры кипящей непроницаемой пыли. Тысячи людей, повозок, грузовиков яростно мечут там этот прах, и горячий воздух, уходящий с земли, легко вздымает его на своих плечах. Только по обрыву у Дюшамбинки можно догадаться, что здесь стоит город.

Маленькая сумасбродная речонка, как впрочем все реки здесь, выплевывает на берег клочья пены. Она неглубока, но переходить ее вброд находится мало смельчаков, так как вода ее, сохранившая еще цвет горного ледника, холодом черепиливает кость в любую жару, сбивает идущего с ног и бешено притаптыкает валунами, которые ворочаются у нее по дну. Она еле сдерживает свое волнение перед стальным железнодорожным мостом, но деревянные мосты у Сталинабада она сбрасывает как необремененный мустанг притороченное седло. Однако таджики всерьез уже в будущем году собираются прибрать к рукам эти бесноватые Дюшамбе, Каферниган, Вахш, заставив их вертеть лопасти огромных турбин.

Еще десяток ручьев, не вместились в меняющемся русле, побежали стремглав по долине поить дехканскую жаждущую землю. Лошадь аккуратно и с большим удовольствием прильнула к этой воде нежными шлепающими губами в пупырышках, которые она жеманно подвернула, как женщина подол. Как хорошо в этот зной лечь на холодные камни в мелкой трепещущей воде!

Вдоль дороги до самых краев долины за ленивыми волами ходят изнывающие пахари. На минуту один из них останавливается на повороте, чтобы вытащить из земли и отряхнуть деревянный омач, старую корягу, которым здесь ковыряют землю со времени перехода человечества на оседлое состояние, и тогда видны совершенно правильные черты античного

арийца. Он оттирает подолом длинной рубахи пот с лица и опять продолжает начатую с утра черную борозду. Даже вот там, на большом массиве, где сошлись десять пахарей, чтобы дополнить друг друга в коллективе, ходит еще вместо плуга неизменный омач, и вместо бороны расрепанную землю причесывает огромное бревно — малла. Скоро, скоро этот варварский непроеводительный труд будет делать по-своему умная железная машина.

Когда мерно качаешься в седле между плавающей небесной эмалью и такой ощутительной горячей землей, которые до самого горизонта сопровождают друг друга, как влюбленные, все вокруг становится значительным и важным — волос в гриве у лошади, и кожа, которая пружинит в седле, и камешек особой формы под копытом, и жуки, трогательно катающие навозные шарики на дороге, и даже горячий воздух, льющийся в глаза бесцветными кружками и дрожащими полосами.

Отчего вот сотни птиц, поворачиваясь с боку на бок, так деловито читают здесь вечную книгу земли. Старик в широких одеждах, где ветер так же свободно играет с седыми волосами, как с зеленой травинкой на поле, мерно покачиваясь, разбрасывает семена. Молодой медно-красный сын или внук в тубетейке не попевает за ним с омачом. Благодарные птицы просто подбирают разбросанные по невспаханной земле зерна. Но почему же так глупо засеивает бабай невспаханную землю?

— Дети мои, божьи птицы выклюют столько, сколько им нужно, да и нам еще останется.

— Но почему же раньше не вспахать?

— Э-э... так делали деды. Если омачом — семена останутся сверху, если урус плуг пройдет — пшеница не выдет...

— ?..

Этот консерватизм поддерживается очевидно безобразным инструктированием, не иначе.

Однако уже невозможно двигаться. Даже пахари уходят, чтобы укрыться в

гени чинары, на берегу прохладного хауза. Пусть уйдет за горы это медное солнце, пусть наступит бодрящая прохлада, мы дождемся ее на лужайке в соседнем кишлаке.

И ночь. Невероятная, невиданная ночь. Все неестественно в этом белом свете, точно декорации в плохом театре: и небо, белесо-голубое с огромным круглым отверстием, сквозь которое какой-то источник нагнетает в долину свет, и черные горы, приблизившиеся сразу амфитеатром; и палатки у подножья, на заднем плане, ярко светящиеся огоньками; и сама дорога, нарисованная серым углем на зелени степей. Кажется, в «Кармен» так бывает. Ах, ни капли фантазии у декоратора, только все преувеличено!

Но феерия начинает тяготить. Мы качаемся в седле уже пять часов, и в дреме все одно и то же; лошадь в молоке, лошадь в молоке, дорога. Потом черные горы начинают сближаться, сближаться. Они раздавят нас. Это нестерпимо. Мы начинаем несладко кричать песни все, которые знаем, — романсы, революционные; мы мчимся галопом, так что ветер свистит в ушах и екает у лошади селезенка. Но как только усталые лошади умеряют шаг и снова мерно покачивают крупом, мы снова впадаем в молочное бытие. Мы зло сползаем с лошадей, опускаемся на землю и, заслонившись лошадьми от луны, легко вздыхаем. Наконец-то нахождение кончилось. А через пять минут в седле уже снова не можем избавиться от бешеной луны, этого чуждого нашей планете света мертвецов, от намалеванных гор, от самих себя.

Наконец кишлак. Вылепленный из глины, он в эту большую ночь — как постройка муравьев-термитов. Глухие кибитки, глухие дворы молчат, облитые свинцовыми белилами. Напрасно обезжаем узенькие лабиринты переулков, напрасно выкрикиваем всякие слова заклинаний. И не шелохнется полог у кочевых юрт, которые вчерашние кочевники предпочитают вылепленным кибиткам, даже осев на землю. Где же люди? Из оцепления выводят наткнувшиеся на нас собаки. Стая их, огромных, как волки, встречающихся только здесь, в

Средней Азии, почти молча пытаются вскочить прямо на лошадь, грызут ей сзади ноги. Не подчиняясь узде лошади, храпя, выносят нас из кишлака легко как на ветре.

А за пару километров от кишлака снова чудо. В стороне от дороги стреляет трактор, родная машина, единственное живое существо в этой немой ночи. Несемся туда. Тракторист далеко от дороги среди поля, и больше ни души. Он скоро вернется к меже. Подождем на теплой земле. И вдруг оживает рядом вся межа: двадцать, сорок, пятьдесят голов отделяется от земли, в халатах, в тубе тейках. Бред, бред! Но двое отделяются осторожно, подходят и спрашивают:

— Ба куджо меравед?..¹⁾

— Где Шахринау?

Все становится ясным. Они из того умершего кишлака, который только-что остался позади. Там только женщины которым алах не разрешает показать лицо чужому мужчине. Они — колхоз. Это им пашет трактор. Похлебав шурпы и кок-чая, они пришли с вечера посмотреть, как ходит шайтан-асп, и остались здесь, на меже, зачарованные нето трактором, нето ночью. Какое чудовищное сплетение средневековья, социалистического и фантазии!

К рассвету мы в Шахринау.

Зачем здесь, в голой степи, построили десять европейских домов, никто не знает. Точно пройдя большое расстояние и утомившись, они осели нелепо, где кто попал, у случайной непротопанной дороги. Железнодорожная станция, МТС совхоз, нефтесклад вынуждены ходить сюда по грязи, за шесть километров в этом барычам — районным учреждениям. Больше здесь ничего нет. Нынешние работники пытаются исправить чью-то глупость, рассуждая о переезде районного центра обратно к станции, МТС в совхозу.

Конечно здесь делают посевную. Конечно, как везде, здесь — райком райпосевком, рик, райпо и еще все отделы имеющиеся в центре. Работникам нет жилья, но зато учреждения размещены Предрика, заместитель и завоорг райком»

¹⁾ Куда идете?

живут в одной комнате, где умещается голько три топчана и стол. Конечно семьи их живут где-нибудь в других городах, потому что в районе их пока некуда девать.

Здесь непосредственно руководят контракцией, севом, внедрением инвентаря, тракторами. Здесь предупреждают ошибки посевной и намечают ее дальнейший ход. Сейчас здесь довольно крепкая и грамотная головка: секретарь райкома — бывший нарком в Узбекистане; зампредрайкома — бывший секретарь ЦИК ТаджССР; временный председатель КК — член ЦКК в Таджикистане и работник НКРКИ; председатель колхозсоюза — бывший член правления Хлобоцентра. Постановление ЦК об укреплении районов не прошло даром — центр согласился с ним и покорно отдал сюда, как и в другие районы, все, что имел лучшего, еще раз оголив себя, чтобы по мере сил подготовить новых работников. Но дальше здесь начинается пустыня — люди не подготовлены или их вовсе нет.

Если посеять необходимо двадцать четыре тысячи гектаров хлопка, а вспахать пока лишь десятки процентов намеченной площади; если район коллективизируется на шестьдесят процентов, а Колхозсоюз — буквально пустое место, куда нельзя притти даже за справкой о количестве колхозов; если приходит срок сева, кредитования переселенцев и колхозников, а денег, несмотря на десятки телеграмм, никто не шлет; если, несмотря на категорическое распоряжение СТО использовать горючее МТС только по прямому назначению и острую необходимость в нем, зав. Нефтесиндикатом из личных симпатий отдает всё-таки цистерну керосина железной дороге; если агрообслуживание района ведет, как это выясняется впоследствии, агроном-вредитель, бывший управляющий именными сахарозаводчика Терещенко; если райпо и Азияхлеб никак не хотят порядочно снабжать дехкан хлебом и промтоварами, — как же не волноваться ответственному руководителю всей политикой в районе — секретарю райкома Урун Ходжаеву. Он не спит ночами, если дома, и бодрствует в разездах по району.

Кто хочет уловить стиль работы большевиков, пусть побывает на заседании любого руководящего штаба, не в спокойные часы, когда все идет точно по отмеренному плану, а в дни тревог, прорывов и бед. Сегодня нужно наконец решить, что же дальше делать с тракторной вспашкой.

— Товарищ Касымов, доложите заседанию о работе МТС.

И директор МТС рисует безотрадную картину тракторной вспашки. Это катастрофа, если не принять экстренных мер. Он не ищет объективных причин — у большевиков это не принято.

— Почему у вас заключено с дехканами только 50 процентов договоров на тракторную вспашку? Не думаете ли вы этим ограничиться, — спрашивает ехидно заседание.

— Где же ячейка, местком, почему они не сигнализируют о провале.

Касымов хмурится и молчит. Все, что говорят даже о других в его коллективе падает на него. Ведь он старый партизанин из Ферганы, прекраснейший товарищ, готовый отдать все, что у него попросят, он ни в чем не отказывает рабочим. Он тоже работает день и ночь как другие: ездит по району, инструктирует, но что же ему делать, — не ладится, не выходит. Да, да, он не может охватить всей этой работы, слишком много народу, он это чувствует. А тут еще несчастье — в его отсутствие басмачи постреляли, как куропаток, всю семью — жену, детей, старуху-мать, отца. Он не думает об этом, не должен думать; он работает без передышки. Но... так получается.

Тогда встает Урун Ходжаев. Он вглядывается пристально в сидящих перед ним и выкладывает уже отстоянные ночами мысли. В этом иссиня-черном вечно шестинином лице, с огромной шевелюрой, чувствуется строгий марксист закаленный в аудиториях среднеазиатского Коммуниверситета. Обычно, чтобы оправдать свои беспокойные подозрения и довести доказательства до безапелляционных аксиом, он прихватывает с собой в поездку по району руководителя нужного учреждения. Там, на месте, не только показывает дефекты работы но и учит смотреть на вещи глазами

марксиста, видящего везде классовую сущность и за малым делом — большие обобщения. Тогда никто на райкоме, на посевкоме не смеет выступить с полемической болтовней, оттягивающей дело.

Ходжаев подсказывает МТС, что нужно сделать, он приказывает исправить положение и переходит к виновным.

— Дорогому тов. Касымову запишем строгий выговор (Касымов бледнеет и покорно шепчет: «Хоп»). Замдиректора, знающего и умеющего больше, после всех выговоров, предлагаю исключить из партии. Нужно распустить партактив, поставить вопрос о роспуске комсомольской ячейки и месткома, которые слепы, как новорожденные котята. Время не шутит, и мы не шутим. Завтра утром все раз'езжаются по району.

Поднятые руки показывают, что все согласны. Так надо.

Через семь часов все раз'езжаются по посевным участкам.

Опять пахари до горизонта. Там у дороги ситцевый пахарь с железным плугом. На стальных лемехах девственно не тронута фабричная зелень. Он неспокойно ходит за своей машиной, нутжится, подымает ее, как брошенный здесь же омач. Нет у него еще искусства управлять плугом.

Лошади идут шагом у какого-то земляного вала. Дехкане кончают очистку арыка. Здесь тот же непроизводительный варварский труд. Чтобы выбросить один кетмень земли, они образуют конвейер—перебрасывают землю от дехкана к дехкану по цепи, пока земля не дойдет до стоящего вверху, на валу.

Молчавший Ходжаев говорит вдруг, ни к кому не обращаясь:

— Вот я думаю, ночами не сплю, сжимаю голову—что делать. Ну вот — выговоры, заносим в трудовой список, в партбилет, а они становятся умней? Нет.—Но, спохватившись, кончает: — Все же мы будем работать, будем учить, добьемся своего, правда, дорогой товарищ.—На солнце лицо его точно засыпано синим порошком, а белки щуриющихся глаз от бессонных ночей перепутаны красными ниточками сосудов.

В соседнем Чим-Курганском районе, в пустой кибитке без окон, с одной скамь-

ей, столом и портретом Ворошилова встречаются вежливо, как вообще на Востоке, согнувшись и приложив руку к груди. Председатель оказывается грамотным, знающим дехканом. У него аккуратно записано, сколько надо вспахать, сколько уже вспахано, как идет коллективизация, где хороший и где плохой колхоз, что делается с контракцией. В Таджикистане такие председатели — редкость.

А в Наджи, где в одной кибитке и джамсовет, и коопсоюз, Урун после передышки начинает по обыкновению перекрестный допрос. Происходит характерный диалог с заместителем председателя:

— Вот скажите, дорогой товарищ сколько у вас колхозов, как они себя чувствуют, что со сдельщиной?

Заместитель, запинаясь, отвечает:

— Что... как... кулаки в колхозах. пяти колхоз..

— А мы специально вовлекли, — хвастается зампред, — чтобы враль так инструктор велел..

— ?..

— Скажите, вы знаете, что такое колхоз, чем он отличается от соза?

Нет, он не знает.

Урун терпеливо раз'ясняет человеку. Он должен понять, но он ничего не понимает, хотя качает утвердительно головой.—в этом убеждает вторая проверка. Работник этот проводит здесь коллективизацию.

К вечеру — в Тоде. В джамсовете никого не оказывается — раз'ехались. Снова убеждаемся, как плохо кооперация снабжает дехкан, и собираемся уезжать, но встречаем уполномоченного по посевной Низамутдина Караметдинова, индуса из Пенджаба.

Закоулками по-над дувалами идем в кибитке. В глиняном кубе бросили на пол яркий палас, по под стенами растянулись ватные одеяла, и мы, поджав ноги, уселись. Старик принес в платке «резиновых» лепешек и липкого винограда. У Низамутдина еще ничего нет. Он сам гость. Это он на-днях женился, и все здесь женино и стариково.

При маленькой керосиновой лампе, устроенной в складчину несколькими со-

седами, кончаем трапезу. Но Урун Ходжаева и сейчас не оставляют в покое. Приходят все, которые узнают, что пришла власть, посмотреть, побеседовать, попить кок-чай вместе. Приходит по делу важный единственный милиционер в цветном халате, какой-то старик, уговаривающий, что он никакого отношения к баям не имеет, и еще другие.

А мы в углу заставляем растянувшегося на животе хозяина рассказать что-нибудь о сказочной Индии. Но что может рассказать пролетарий и бедняк о порабощенной родине. Его история — оплеуха зарубежным измыслителям о принудительном труде в СССР, и только.

Индусский красавец с зрелыми вишнями в глазах, обрамленный аккуратной чернейшей бородкой, облокотился и рассказывает:

— Отец мой, как и большинство дехкан Индии, все свои годы трудился на земледельца в Равенте близ Лагора. Брат работал с восхода до заката солнца у английского концессионера. Мать тоже откуда-то приносила к вечеру чашку заработанной муки. И все же мы голодали.

— Десяти лет и я начал работать на англичанина, начальника станции Лагора. За лепешку в день я обязан был обмахивать сагиба и членов его семьи большим опахалом. Когда рука уставала, сагиб бил меня больно палкой, ботинком, чем попало.

Потом Низамутдин убежал в железнодорожные мастерские, где видел, как англичанин бьет индуса-рабочего за неотдание чести; как расстреляли индусов ремонтных рабочих за то, что англичанин машинист переехал пьяного англичанина. Сбежал и отсюда.

— Что же делать, когда в брюхе пусто, — продолжает он. — Я поступил вольнонаемным в белуджистанский полк № 129. Тут били, давали наряды, называли черными собаками, а потом отправляли в Африку воевать, — и Низамутдин чистосердечно расхохотался. — Ведь мы дрались за неведомую колонию. С одной стороны, были мы — английские офицеры и индусские солдаты, с другой — германские командиры и солдаты

какого-то африканского племени. Двуногие рабы таскали с обеих сторон грузы и поклажу.

Низамутдин посмеивается, отпивая свой кок-чай. Нам вспоминается такая подходящая сейчас к Низамутдину песенка негров, американских рабов, песня, детски наивная и беспомощная, которую в одной из последних статей приводил Максим Горький:

Мы снова идем куда-то драться,
Но, как в прошлый раз, мы не знаем
зачем?..

— А как же ты в СССР попал?

— Просто. Когда нашу часть перебросили на индо-афганскую границу, я и еще другие, прослышав о порядках в СССР, бежали сюда. Вот и все.

Раб понял, зачем он идет, куда его гонят драться.

Утром после завтрака Низамутдин пытается блеснуть своей революционностью и культурностью. Он обещает познакомить с молодой женой, т.е. показать ее без чаувана. Это большое событие. Входим в коробочку, обитую сплошь коврами и ждем. Однако знакомство не состоится. Низамутдин приходит скучный — жена наотрез отказалась показаться. Тут и отец, и мать.

— Но я ее еще обработаю.

До горизонта ходят медлительные пахари. Они взрывают целину, чтобы победить ее хлопком и завоевать себе социалистическую независимость.

Мы едем в Ханака.

„Шарк Хакикате“¹⁾

Желтая пуховая дорога из лесса, в которой тонет башмак, крутыми извилами идет вдоль арыков, полей, мимо коричневых кишлаков, где за дувалами зеленые ветвистые бородачи или мохнатая юношеская поросль закружили сладостную беломалиновую урючину. Бродящая у этих кишлаков дорога совсем не главное и необходимое, иначе б она не путалась так беспризорно по равнине. не кидалась без памяти в разные концы Кишлаки, прожившие века в натуральном укладе, не имели большой нужды в ней — спутнице социалистических форм производства. Верхом на лошади или

¹⁾ «Правда Востока».

вьюком можно в крайнем случае проехать и без дороги, напрямик. Главное здесь—поле и арык. Вот почему дорога, смиренно приноровившись и к полю, и к арыку, делая большие крюки, дружески пошла с ними рядом.

Обросший за эти дни клочками какой-то серой ваты бригадир Алексей Миронов, упрямо проплутав по этой дороге несколько часов в поисках правления колхоза, запнулся наконец о зеленый горб у арыка, проглотившего свой собственный переход.

По ту сторону арыка дехкане, как большие цветные куклы, старательно повторяют движения «широго украинца з Киева», агронома Кухаренко, и секретаря колхоза — двадцатипятилетнего Андрея. Агроном регулирует глубину захвата земли плугом, секретарь ведет запряженную пару дико шарахающихся лошадей. Даже запряжка — тяжелая для дехкана наука, знающего, как предки, только верховую и вьючную езду. Оба, принесшие в средневековые европейский опыт, загипнотизированы удачной бороздой и не слышат далекого призыва:

— Эге-ей.

Наконец усталые двое переходят где-то в стороне арык и падают рядом с Мироновым. Всем троим не больше семидесяти лет. Молодость дедает их жизнь веселой даже в непривычной, сумрачной, как хлев, кибитке, а вера в гворимое — интересной. И много ли нужно, чтобы столкнуться с'ехавшимся из разных концов СССР для одного и того же дела. Миронов коротко говорит, зачем он здесь.

И Кухаренко, молодой агроном Средколхозсоюза, упрямый хлопец в сером плащике, временно командированный в район, и секретарь колхоза Андреев, заводской парень в москвошвеевском пиджаке, с руками, болтающимися от непривычного безделья, — оба готовы сделать все, только чтобы было лучше. Почему же не попробовать нового. И спор кончен.

Все же надо в последний раз попытаться разбудить руководство. Миронов и Кухаренко добиваются у посевокма

решения о созыве районного совещания по колхозному труду, по введению сдельщины, но совещание не состоится; они ставят вопрос о труде перед МТС, но она его не продвигает; они добиваются согласия на созыв совещаний в отдельных агроучастках, но подчиненные ничем не лучше учителей и хозяина. Вопрос о колхозном труде, несмотря на категорический приказ партии, тонет, как самый тяжелый, среди плавающих на поверхности легких дел. Колхозсоюз ждет распоряжений, не имеет «категорий труда» и норм для введения сдельщины, а Колхозцентр, несмотря на апрель, разгар вспашки, все еще никаких инструкций не дает.

— И ну их к черту! Разговаривать с ними будут в другом месте, а здесь гибнет дело...

Как в корыте, между гор и железной насыпью улегся двухгодичный колхоз «Шарк Хакикате». Его десять кишлаков с странными названиями: Турба-Кала, Мулла-Шади, Чим-Курган разбросанных на десяток километров сошлись в этом году впервые на огромном поле в пятьсот двадцать гектаров. Колхоз засеивает уже одну сорок восьмую всей хлопковой площади района. Он — передовик, хотя у него еще не обобществлено имущество, скотина стоит по сараям у колхозников, никаких книг учета не заведено, прошлогодний урожай поделали поровну. Колхоз этот — передовик по величине и по возможностям. Он отдает лишь ровно столько, сколько в него вложили организаторских усилий. Малый вклад — малая и отдача. У него нет никаких внутренних препятствий, как и у остальных колхозов района республики, к тому, чтобы сделаться на самом деле примерным. Необходимо только достаточное количество толковых грамотных организаторов.

Подготовка к наступлению состоит в зеленой яме, на дороге в кишлак, где усевшись вокруг, совещаются уже два часа трое работников и еще переводчик Алиев, черномазый шофер третьей руки, первый таджик — квалифицированный пролетарий, безразличный ко всему, кроме машины. С дороги никому не видно странного совещания, только потное небо стоит над головой.

Ведь, чтобы ввести сдельщину в колхозе, надо самим точно знать все о ней. И Кухаренко, и Миронов уверены, что сейчас, когда пахота в разгаре, дело не в величине норм, а в самом принципе сдельщины. Пусть на первых порах будут ошибки, через неделю-две их можно исправить. Но сдельщина заставит работать, организует.

— Сколько же пахут у вас гектаров?

— Кто его знает. Человек семь вспашут за день...

— Что же они на карачках ползают,— говорит зло Кухаренко. — По-русски они должны делать полгектара в день каждый.

Безразличный Алиев насмешливо свистит в небо:

— Ого... они шляются, как зачумленные, до девяти утра по кишлаку, а в жару, часам к двенадцати приходят обратно с поля. Часто за себя посылают дегей. Не все девяносто пар волов работают, а лошади благородно бездельничают.

Какие громадные возможности у колхоза. У него 175 волов и 188 лошадей, а уже в пахоте прорыв.

Но откуда взять эти нормы. Ни район, ни Сталинабад, ни Ташкент не удосужились их еще проработать; они сами не уверены в своих цифрах. За два дня бригада кое-что добыла,—это мало и не точно. Но пусть это будет первый упрямый шаг.

И вечером на земляном, покрытом паласом кубе под чинарой тройка ведет уже заседание правления, превращающееся в обширное колхозное собрание. Миронов делает своеобразный, нигде неслыханный доклад. Он говорит, как человек, пробежавший без остановки пять километров: «Нормы повысят производительность...» и ждет, когда ленивый Алиев переведет: «Нормы подымут производительность». Это потому, что Алиев всего доклада не запомнит, ему это неинтересно, а записать он не в состоянии.

Но даже это косноязычие, словесное бултыхание колхозники принимают неожиданно горячо. Напрасно Ташкент и Сталинабад чешутся за столами в поисках норм. Здесь они совершенно легко находятся.

Здоровый батрак, председатель колхоза Хал Мирзо в пестрых ситцах и голубой чалме наивно раскрыл даже рот от удивления. Ведь он об этом думал давно, как заставить людей работать. Хал Мирзо очень энергичен, но он не знает, с чего начать—то ли с людей, то ли со скотины, то ли с имущества. У него ведь громада — 230 хозяйств, и ничего не сделано. Он делает каждый день первую подвернувшуюся организационную работу, без плана, без порядка. То, что ему приходится решать, он решает чутьем, верно, справедливо. Вот например старший первого участка записал дехкану трудодень за безделье. Председатель расвирепел, велел немедленно вычеркнуть. В местных условиях и для этого надо иметь гражданское мужество. Но разве он может за всем уследить и все предвидеть. Если бы он был грамотный, да широкий кругозор, да хороший секретарь-таджик. Но то, что хотят сейчас сделать урусы, здорово ему поможет.

Мурат Тагой, старший рабочий, слушает внимательно и покачивает головой. Он уже стар. Если он вытянется и раскроет свои сухие руки, вороны примут его за знакомое чучело, тем более, что высохшее старческое лицо торчит из халата, как палка, на которую намотали слишком мало тряпок. Тагой покачивается и гладит раздумчиво бороду.

Даже осторожный вежливый секретарь колхоза Баба-Мурат Юлдаш, вернее почетный секретарь его, так как он почти неграмотен, раскрыл вместо ушей большие покорные глаза свои.

— Тогре-е...

И боя после доклада не получилось. Все согласны. Наконец-то каждый будет заинтересован в работе. Кто больше работает, тот больше получает. Ах, как это понятно даже самому неразвитому. Кто трудней работает, тот тоже больше получает. Как опять во-время в недрах партии вызрел ценный лозунг.

— Тогре... Тогре...

Колхозники чрезвычайно заинтересованы. Самим лодырничество давно надоело. Земля давно зовет работать по-настоящему. Но стимулов не было. Одна честь называться «лучшим» не всех удовлетворяет.

Десять, двадцать вопросов сразу. Никогда на собраниях не было так горячо со времени дележа урожая,—столпотворение. Все сразу спрашивают и все отвечают. Сколько же на самом деле сможет каждый выработать, если ему будут платить по труду, если он не будет прятать энергии в глубине мышц, как при нынешней уравниловке.

На общем собрании колхоза нормы снова горячо приветствуют, вносят опять поправки. Какой-то чужой голос о ненужности сдельщины затоптан сотнями дехканских голосов. Собрание велит вести сдельщину, оно ее ждет.

Но как теперь внедрить сдельщину. Вот, кто конкретно будет завтра давать задания бригадам, мерять землю и подсчитывать выполнение. Все ответственные за участки неграмотны, все старшие бригадники неграмотны, на район надеяться нельзя, людей нет. А без учета нет сдельщины. Миронов, как капитан, до последнего часа надеется, что судно, хотя и с пробойнами, но не пойдет ко дну. Пока тройка решает самой обойти десятки километров, чтобы дать задания, а вечером чтобы их проверить. Будут разговаривать знаками, мимикой, так как Алиев — только один на трех.

Только буйная молодость, только верящий в свои силы класс может бросаться переплывать океан трудностей без выкладок, сентиментальных расчетов и рассуждений. И эта уверенность всегда мобилизует откуда-то со стороны дружеские силы, становится притягивающим магнитом.

Ноги уже деревянные, колени подгибаются, кожа пожелтела от солнца; от черных квадратов, треугольников, ромбов земли опухли глаза. Вот опять четыре дехкана на поле лениво ползут за волами. Они останавливаются поглазеть на каждого прохожего. Миронов подходит, раскрывает циркулем ноги и меряет. Дехкане с удовольствием смотрят.

— Если твоя работай... воон, — показывает колышек, — каждому пиши як ним руз, хоп...¹⁾

Дехкане ничего не понимают. Только после показа руками, ногами, беганием, хождением трое, должно быть, догадыва-

ются, начинают работать. Но один трогает за рукав, выходит к дороге, садится:

— Зачем, урус, делай? Не надо...

— Почему?

— Поровну лучше. Много недовольных.

Это ручеек байских слов, откуда он?

— Кто же недоволен?

— Посмотри, много, все...

Врет, надо о нем говорить в правлении...

Но обойти все эти километры в день невозможно. Нужно еще много людей. Тройка снова сошлась в берлоге секретаря Андреева, где одна дверь и одна щель в стене вместо окна; на глиняном полу невыделанные шкуры и грязные одеяла, а потолок и стены черные от топки по-черному. Никто не обошел всех километров и не проверил всех дехкан. Они ушли с полей раньше, чем пришли проверщики. А проверенные заданий не выполнили. Можно ли в самом деле добиться своего такими средствами? Миронов уже знает, что нет. Миронов видел уже многое. На втором участке не пришла на работу половина дехкан. Старший не пошел их звать: «Я не хочу, чтобы меня потом прикончили».

— Агростаросты, агроисполнители ващи... где... они-то грамотные?

Алиев приводит одного.

— Знает ли он счет? — Плохо, не знает.—Знает ли умножение?—Нет.—Пусть измерит кибитку.

Исполнитель ходит обмерять. Что-то видно, знает. Тройка кидается на него как волки на добычу. — Ну-ка еще раз... Да нет же, вот так.

Исполнитель притворяется. В чем дело?

— Да исполнитель не хочет, — переводит Алиев. Он был на курсах в Сталинабаде. Им там много обещали: халаты, постель, шестьдесят рублей жалования и — ничего не дали. Они мучились в дождь в дырявых бараках, пока разбежались. Теперь он думает, что его спрашивают для того, чтобы опять куда-нибудь послать учиться. Нет, он больше не хочет, он будет дехкан.

— Пойдем завтра на те же участки, чорт возьми, — кричит Миронов, — к тем же дехканам, опять будем говорить

¹⁾ Полтора дня, ладно...

о том же еще десять, двадцать раз, пока поймут, что здесь им выгодно отдавать свое для блага общего. Только после этого перейдем на обработку других участков. Надо изъять баев, они здесь где-то.

Это уже иступление, фанатизм. Но, может быть, в таких условиях без фанатизма и не преодолеешь препятствий.

И опять они ходят трое. Эти молодые, упрямые, с переводчиком, шустрым беззаботным шофером третьей руки, которого забросила сюда посевная. Солнце зло стискивает им головы и выжимает, как из лимона, сок. Исхоженные дороги и отмеренная земля рябят в глазах и стучаются комками о мозг. Дехкане снова слушают чужую тарабаршину. Но слушают внимательней, потому что в кооператив впервые дан список на товары, в зависимости от выработанных трудовых. Лодыри ничего не могут поделывать.

Вечером опять такие же итоги. И внутри так пусто, как будто солнце все выжгло и осталась только одна чело-вечья скорлупа.

Где-то в колхозе растет сопротивление, но упрямство гасит тревогу.

— Завтра опять пойдем на те же участки...

Молчат.

— Здесь вот не члены колхоза рядом два учителя есть... — говорит внезапно кто-то нехотя.

— Как?.. Где они... грамотные люди... Немедля, сейчас же к ним...

Трое отправляются, нет, бегут к учителям на поклон. Колхоз лежит, как многообещающий больной в ожидании легкой операции. Они двое, Исхаков и Кахаров, учителя, должны помочь, и ученики должны помочь. Это будет летняя практика. Ученики не могут считать? Научатся на полях.

— Так как?

Учителя не хотят. Но, взглянув на гройку, на их лица, чего-то пугаются и решаются помочь с одним условием, чтобы им выдали справки о работе на посевной. Наивные чудaki конечно.

И все-таки опять пропадает три дня. Работа идет недружно. Одни выходят на поля, другие не выходят. Опять всех надо обегать.

Но наступает самый счастливый день в 1931 году. Солнце в этот день не ковыряет в мозгу раскаленным ланцетом а ласково треплет щеки. Все маломальски грамотные, скрывавшиеся, боязливые под воздействием упрямой воли выступают на поля: три «заговорщика», два агростаросты, два учителя, десяток учеников. В этот день дехкане изумлены, потому что измерители выступали на поля с дрекольями, сбитыми на манер циркуля: ими легко отмерять целую сажень.

Вечером в этот день тройка, трепеща, ходила смотреть заданную работу. И, о счастье! На первом участке каждые четыре дехкана вспахали гектар земли. Неужели начало. Каждому, стало быть, записывается по полтора дня. Об этом должен знать весь колхоз. Старшему тоже полтора дня. Пусть все до единого будут заинтересованы в сдельщине.

На второй день снова первый участок справился с заданием.

На шестой день многие выполнили задание.

На десятый пришла пятая бригада спрашивать: «Значит у нас окончательно утвердился такой порядок раздачи хлеба? Тогда мы покажем, какая мы бригада».

На двадцатый в связи с прорывом целой бригады пошли в ночную работу. Создана женская бригада. На полях появилось больше волов, появились даже лошади, которым к стати у коопсоюза выпросили по пять фунтов ячменя на время работы. Создана ударная бригада, пришло соцсоревнование. Это уже всходы нового социалистического отношения к труду.

К 15 мая колхоз ликвидировал прорыв и засеял свои 522 гектара хлопка.

Вот это история введения сдельщины в одном из лучших колхозов в Таджикистане.

К этому же времени Колхозцентр невозмутимо декларировал: «Опыт передовых колхозов — им. Ворошилова, «Правды Востока» и других — показал крупные преимущества сдельщины... что никаких технических затруднений для перехода колхозов на сдельщину нет и быть не может».

Верней было бы сказать так: огромные технические затруднения имеются, но большевистская воля, деревянный циркуль, отяжелевшая от хождения нога и кружащаяся голова должны преодолеть и преодолевают все эти трудности.

Ведь это тот самый Колхозцентр, которого месяц назад молили об инструкции по сдельщине, тот Колхозцентр, о котором один член правительства оригинально, по-восточному образно сказал:

— Колхозцентр тяжелее, чем верблюд или слон. Его нужно трясти, раскачивать, поднимать и бросать вверх, вниз, направо, налево, чтобы он стал легким и гибким. На ишаке в социализм не в'едешь. На нашем верблюде—Колхозцентре—в социализм тоже не в'едешь. Его нужно сделать быстрым, как автомобиль...

Да, нужно сделать быстрым.

Не поэтому ли в нынешнем году перешли в Таджикистане на сдельщину только 42 процента колхозов. Что же в остальных не нашлось большевиков или орудовал оставленный без руководства слабый недооценщик. Очевидно и то, и другое. В Таджикистане, как и в остальном СССР, приходится бороться с недооценщиком и просто оппортунистом.

Даже некий представитель Колхозцентра СССР, прибывший из Москвы, прогалопировал по республике, и здесь, на окраине, осмелился излить свои сомнения, сомнения размагниченных людей, что колхозы еще не являются опорой советской власти в Таджикистане, что колхозы не являются показательными для индивидуальных хозяйств. Увидев убогую пока тозовскую в своей массе форму, он не приметил богатого потенциального многообещающего содержания в ней.

Надо ведь знать, что колхозному движению в Таджикистане пошел лишь третий год. В первый 1928—29 год было коллективизировано полтора процента всех хозяйств, в 1929—30 году — тринадцать процентов. Конечно в этом году были искривления. Работники усиленно кланялись вправо и приседали

«влево». Но партийные организации Таджикистана во-время все исправили. И такого отлива из колхозов, какой был в остальном СССР, здесь не было. А в 1931 году коллективизация достигла уже 27 процентов всех дехканских хозяйств и 52 процентов всех хлопкоробов. В 1930 году, то-есть первом году рождения, колхозы действительно несколько отстали в выполнении хлопкового плана. Но в 1931 году колхозы вместе с совхозами уже засеяли три четверти хлопковой площади и должны дать ²¹, всего хлопкового урожая.

Оппортунисты ищут в колхозах Таджикистана заразные образцы, примеров, и, конечно, не находят их.

Сили и ливни смыли массу посевов у колхозников Янги-Курганского джамагата. Тогда колхозники Гулистанского джамагата с знаменами, музыкой и 78 парами волов пришли им на помощь. Подъем был настолько велик, что гулистанские единоличники... обиделись, почему их не пригласили оказать помощь соседям. Они привели 8 пар быков, а потом из Рахатинского джамагата пришли еще 22 пары быков.

Колхоз «Иштимоят», имеющий большие успехи вообще, кончил сев первым к 7 мая и послал в помощь отстающим колхозам 80 своих колхозников со всем инвентарем.

А когда колхозы работают ночами, ковыряют землю кетменем и боронуют, впрягшись по паре в бороны, если неповоротливые колхозсоюзы не поспевают с помощью (колхоз «Пахарь»),—это ли не энтузиазм!

А если на поля Наусского района колхозы выгнали из душевной ичкари на окучку хлопка две тысячи женщин,—это ли не sobьггие, это ли не заразные примеры!

А борьба двух классовых начал в колхозе им. Буденного, Наусского района, за и против сдельщины — байского выходца Арсланова и батрака активиста Нимитджан Ходжаева, — в результате чего Ходжаева из чувств классовой мести баи зверски убили.

Разве это не оставляет следа в сознании?

И главное, чтобы организовать все это, надо только двинуть рукой, поработать. Понятно теперь, какие потенциальные залежи, огромные возможности

имеются в Таджикистане в области коллективизации, где именно нехватает этих организаторских рук, толкачей,

2. КАРАГАНДА

(Очерк)

О. Лятковская

Караганда строится. Поезжайте в Караганду. Там вы увидите большевистские темпы, там вы поймете, что такое наше строительство. Тов. Горбачев оглядывает нас исподлобья маленькими острыми глазками, в его глуховатом голосе звучит отцовская гордость, опаленное жгучим азиатским солнцем лицо его светится бодростью и энергией. Вот как в общих чертах обрисовал он нам историю Караганды: это мощное месторождение угля открыл в 1847 году купец Ушаков, начавший в 1856 году разрабатывать его кустарным способом. Потом здесь хищничали англичане. В 1917 году англичане уехали, и на несколько лет Карагандинские копи были забыты. И только в декабре 1930 года здесь начинается кипучая жизнь. У Караганды громадное будущее. Она будет снабжать топливом Турксиб, Магнитострой, Халиловские заводы. Сейчас уже только за один год устроено 29 шахт, в ближайшее время по намеченному Шахтстроем плану предполагается выстроить еще 28. Через несколько лет Караганда станет большим промышленным центром, дикая степь изменит свое лицо, казак-кочевник сделается рабочим. Уголь для нас сейчас очень важен. Не говоря уже о прямом топливном назначении угля, из него вырабатывается масса побочных продуктов. Анилиновые краски, искусственные пахучие вещества, сахарин, ванилин, самые ходкие лекарства — аспирин, пирамидон, теокол, 606 и т. д. — и наконец взрывчатые вещества — все это получается из каменного угля. Прежде наша потребность в красках, пахучих продуктах, вкусовых приправах и лекарствах покрывалась

растениями и животными. Изготовленные из них товары были слишком дороги. Ученые изобрели способы заметить эти природные вещества искусственными, из смолы каменного угля.

Что касается качества карагандинских углей, то совсем недавно опытное коксование в полузаводском масштабе на Кемеровском коксо-химическом заводе дало блестящие результаты. Кокс получился плотный, серебристый, звонкий с небольшим содержанием золы. Карагандинский кокс, как теперь бесспорно доказано, значительно лучше донецкого, а карагандинские угли вообще одни из лучших в мире. Они уступают лишь некоторым сортам кузнецких углей.

И так мы едем

Хочется увидеть этот удивительный край, где за короткое время сделаны такие громадные достижения. Несколько дней пути, и вот уже Петропавловск. Отсюда начинается безлюдная, сожженная солнцем степь. И сразу же охватывает недоумение: разве может быть ключом жизнь в этой громадной пустыне, где на расстоянии нескольких десятков километров не встретишь жилья.

Поезд стоит три часа. Пассажиры бродят вдоль вагонов. Какой-то молодой человек, босой и в одних трусиках, принимает солнечную ванну. Совсем юные девушки, геодзистки, едущие на работу в Караганду, бегают, ловят саранчу и оглашают степь беззаботным, веселым смехом. Я подхожу к паровозу. «Когда же поедем?» — спрашиваю машиниста. Он неторопливо жует свой завтрак. Чумазое молодое лицо его озаряется усмешкой. «Сегодня поедем. Дорога молодая. Пути загружены, ждем

встречного поезда. Может быть, простым и до завтра. А куда так спешите?» — обращается он ко мне. «В Караганду! — повторяет он мой ответ. — Ох, и жизнь там до чего занятая».

— Хорошо, плохо? — спрашиваю я с невольным волнением.

— Ничего не скажу, сами увидите. Только жизнь там совсем особенная.

На станции Ак-Куль казакские женщины предлагают кумыс. Они так грязны, что, несмотря на жажду и полное отсутствие питья, не решаешься купить их «священный напиток». Они предлагают всем желающим пробовагь кумыс прямо из кувшина и вытаскивают оттуда пальцами мух и конские волосы.

В Акмолинске долго стучимся в двери небольшого деревянного особняка — в контору Казугля. Заспанный экспедитор встречает приветливо, предлагает ужин. За дымящимся супом экспедитор рассказывает о полученной на-днях из Москвы телеграмме: «Едет 31 американец, приготовьте комнаты и кровати». Он сбился с ног, бегал по всему городу, кровати и комнаты были готовы. И вдруг вместо 31 приехало всего четверо: только один американец, переводчица и два инженера. Такие «шалости» телеграфа происходят от его загруженности. От экспедитора я узнаю, что работагь в Караганде очень трудно. Только в самое последнее время жизнь начинает помаленьку налаживаться; раньше, да и теперь на ряду с хорошими работниками зачастую в Караганду едут рвачи. Они смотрят на свое пребывание здесь как на временное, отчего страдает производство.

Руководители треста „Караганды“

В Акмолинске сейчас находятся руководители треста тт. Горбачев и Юнов, только-что прибывшие на работу из Донбасса в Караганду. Юнов очень серьезен, глядя на него, трудно определить его возраст. Когда он улыбается, ему можно дать двадцать пять лет, когда хмурится — все сорок. Он внимательно и подробно расспрашивает товарища о предстоящей работе.

Корнею Осиповичу Горбачеву около 50 лет; он коренаст и приземист. На

нем кожаная куртка и пыльные сапоги. Ему некогда, да и неинтересно думать о своей внешности. Работа захватывает его целиком. Старый большевик, бывший забойщик, человек с большим революционным прошлым, он сейчас заведует трестом «Караганда». Ряд долгих лет работы в Донбассе, в Ткварчелах, в Сибири закалили его, поездки за границу, где он внимательно наблюдал и изучал горное дело, дали нужные знания. Горбачев — первый пионер Караганды. Она — его детище. Настойчиво и упорно, он начал изучать месторождение. Производил разведки, подсчитывал, и первый назвал цифру в 30 млрд. тонн.

В контору входит второй заместитель т. Горбачева тов. Майзель. От всей его крупной фигуры веет энергией и деловитостью. Майзель молод, стремителен и страстен в речах. Он информирует товарищей о положении дел в Караганде. Он говорит о реальности плана дать стране 700 тысяч тонн угля за 1931 год, о возможном прорыве, об ужасном транспорте, о недостатке живой рабочей силы, обо всех затруднениях, тормозящих работу. Беседующие озабочены, мысль их напряжена. Мне представляется, что в этих трех людях сосредоточен сейчас главный нерв громадного производства.

Экспедитор передает Горбачеву записку. Прочитав ее, зав трестом морщится и заявляет: «Нечего мне с ним разговаривать». Экспедитор не успевает открыть дверь, как в комнату врывается элегантный молодой человек. Он бросается к Горбачеву. «Вы должны меня выслушать» — говорит он с трагическим пафосом. «Я не желаю разговаривать с вами — рубит в ответ Горбачев. «Как старший товарищ, как партийный руководитель вы должны меня выслушать». — «Вы пьяны, и мне не о чем с вами разговаривать, гражданин Целентис» — раздражается Горбачев. Лицо его багровеет, он сердится. Я ожидаю скандала, но все кругом улыбаются. «Вы хотите опять на работу в Караганду. Но вспомните, что над вами был уже суд. Он уже сказал свое слово. В Караганду вам не попасть, лодырям и пропойцам там не место. Уйдите отсюда, мы заняты». Целентис уходит. Мне об'я-

снимают, что этот человек неисправим. Он образован, знает несколько языков, но напивается каждый день.

На полуторатонке в Караганду

На пыльных улицах и на громадной базарной площади Акмолинска много казаков. В меховых малахаях, в длинных халатах, они медленно движутся по сонным улицам или подолгу стоят на одном месте. Мне нравятся их скуластые бронзовые лица, с любопытством прислушиваясь я к гортанному говору и наблюдаю медлительную скучную жизнь. Верблюды плавно ступают по однообразным и пыльным улицам. Проходят женщины в белых джоулуках¹⁾, похожие на медицинских сестер. На маленькой киргизской лошадке едет казак. На плече у него коромысло с двумя небольшими ведрами. Русские женщины смеются, на него глядя: «Эй, джолдаз²⁾», смотри, не выплесни воду. Хозяйка будет ругать». Казак спокойно едет, вода не выплескивается из ведер.

Возле мирно жующих верблюдов, нагруженных каким-то тряпьем, скучает, повидимому, ожидая родигелей, подросток, казак. На нем яркокрасный малахай и, несмотря на июльскую жару, баранья шуба.

В небольшом садике на берегу Ишима чахлые акации и тополя. Повсюду строгие надписи: не ходить по траве, не срывать листьев, штраф сто рублей. В этой пустыне каждое деревцо слишком дорого стоит. Амовская полуторатонка уже нагружена вещами. На чемоданах и вещах сидят около 20 человек. Возле автомобиля толпится публика. Идут препирательства и ссоры. Всем нужно спешно ехать в Караганду, а мест только 15. В первую очередь попадает бригада железнодорожников из Петропавловска, потом садятся несколько рабочих из Караганды.

Едем. Я сижу между шофером и его помощником казаком Юмасеем. Не успели отъехать, как он уже клюет носом. Что это он, или не выспался? «Такой уж народ, чуть закачает — спит» — смеется шофер.

¹⁾ Род чадры.

²⁾ Джолдаз — товарищ.

Ширь. Степь. Автомобиль режет километры. Их 250 от Акмолинска до Караганды. Куда ни глянешь — всюду голая степь. Изредка попадаются деревушки: низкие саманные домики напоминают украинские хатки, но нигде нет ни садовка, ни кустика — кругом унылая мертвая азиатская степь. Встречный казак вихрем мчится на неказистой с виду лошадке, зорким глазом косит он на наш автомобиль. Пара верблюдов, запряженных в телегу, везет в Акмолинск казакскую семью. Мелькнуло на мгновение скуластое лицо «марджи»¹⁾ и веселые рожицы двух раскосых «баранчуков»²⁾. Жалобный стон верблюда нарушает угрюмое молчание степи. И снова безлюдье, и снова тишина. У реки Ишима люди пьют зеленоватую прозрачную воду. Вечереет. На востоке виднеется зарево. «Степь горит» — равнодушно бросает шофер. «Почему же не тушат?» — «Зачем тушить. Лучше трава будет» — оживляется Юмасей. Он уже зажег фонари. Желтым светом далеко озарена дорога. Выскакивает тушканчик. В смертельном страхе ошалело мчится он перед машиной. Знойный, насыщенный солнцем день сменяет холодная ночь. Вдруг резкий толчок. Стоп. Что такое? Лопнула шина. «Значит, придется заночевать» — равнодушно заявляет шофер. Все спокойно принимают это известие. Располагаются на ночлег. Сладко пахнет полынью. Я закрываю глаза, закутываюсь в кошму, стараюсь дремать. В глаза настойчиво и упорно смотрят звезды, и они кажутся здесь в степи яркими и крупными.

Карагандинские копи

Под первыми лучами солнца золотеют подсолнечники. Виднеются белые домики, возле них огороды, участки с картофелем.

Желтоватыми бугорками торчат юрты около Караганды. Сколько их, сосчитать невозможно. Вдруг неожиданно вздымается туча пыли, густой пеленою окутывает она автомобиль. Подъезжаем к зданиям из серого крупного камня. Шофер останавливает машину у гаража.

¹⁾ Марджа — женщина.

²⁾ Баранчуки — дети.

Оглядываюсь с изумлением. После мертвого молчания степи странно поражает и волнует кипучая своеобразная жизнь. Идет стройка. Пестрая толпа женщин шумна и суетлива. Они на носилках таскают песок, камни и глину. На верблюдах и лошадях подвозят к уже воздвигнутым корпусам строительные материалы. Рядом ползут тяжелые тракторы, ухаю́т паровые машины. В механическом цехе солидно и деловито дымит труба. Среди лязга железа, рева верблюдов слышится оживленный казакский говор. Черные, измазанные углем казаки-шахтеры в живописных лохмотьях проходят с кайлами и кирками. Осматриваюсь кругом. У гаража свалены части машин. В серых зданиях помещается контора, правление треста, аптека и отдел кадров. У стен саманных построек лежат вороха домашнего скарба: подушки, матрацы и сундуки. Пока еще негде жить. Рабочие в ожидании новых жилищ ютятся в землянках. Тут же под открытым небом на сложенных из кирпича плитках и печках пекут хлеб, кипятят чай. Кругом бегают ребятишки, бродят телята, поражает обилие лохматых, худых собак. Нет ни кустика, ни деревца, всюду носится едкая каменноугольная пыль.

В шахтах

Неподалеку, в одном или двух километрах друг от друга, расположены шахты. Высокая груда угля, вышка, рядом деревянный барак-контора и тут же, в нескольких шагах, землянки — жилища рабочих. Здесь не приходится, как в Донбассе, опускаться в глубокий колодезь, здесь входят в шахту, словно в пещеру, — угольный пласт лежит под самой поверхностью земли.

Ударная шахта № 18. В местной газете пишут: «18-я изо дня в день дает добычу выше плана. 18-я бесперебойно дает наивысшую производительность от 3 до 4 тонн на забойщика».

Мы идем по штреку, медленно, по жидкой грязи, стараясь не поскользнуться и не упасть. Останавливаемся в забое. Здесь работают четыре казака. Они торопливо наполняют вагонетку крупным и влажным углем. Ее откаты-

вают по рельсам. Забойщики снова начинают долбить кайлами плотную угольную стену. «У нас даже нет под'емной паровой лебедки,— жалуется десятник.— Уголь поднимает наверх простой барабан, вращаемый лошадьми. А взгляните-ка, какое богатство, — десятник поднимает лампочку и освещает забой,— здесь пласт 8 метров, вот!» Я глажу бугристый влажный пласт и ощущаю особую радость от этого прикосновения.

Завшахтой № 4 инженер Иванов спускается со мною в штрек. Здесь четыре восточных и четыре западных штрека. Эта шахта, по словам тов. Иванова, на-днях будет ударной. Мы натыкаемся на вагонетку, нагруженную углем, она сошла с рельсов. Десять человек казаков с дикими криками стараются поставить ее на рельсы, но безуспешно. Завшахтой командует, помогает, с большим трудом удается наладить дело. Шахтеры расходятся по забоям, продолжая издавать гортанные крики. Голоса перекатываются по штрекам, наполняя шахту зловещим воем. «Зачем они так кричат?»—«Это они дают знать другим о моем присутствии и хотят показать, что очень стараются»— отвечает мне зав. шахтой. При отсутствии механизации работать здесь тяжело. Особенно казаку, который привык к степи, к простору, к солнцу.

«Джалдаз, — кричит тов. Иванов, — что ты здесь ходишь один, что тебе нужно?» В ответ слышится невнятное бормотание. Завшахтой не может понять, он не знает казакского языка. Подошедший десятник объясняется показавши с шахтером. «Джалдаз, если ты болен, ступай нагора, нагора! Слышишь! Иди в амбулаторию». Болезнь у всех казаков одна и та же: «курсак». Живо у них в большом почете. Все же постепенно казаки начинают привыкать к работе в шахтах, среди них есть много ударников. «Вот в этом забое, — указывает завшахтой, — бригадир—казак. Вся бригада ударная. Трудятся добросовестно, торопятся, работа сдельная, а здесь трудно работать, погадают про-дслойки». Завшахтой кайлом огкалывает кусок блестящего колчедана. «Ну, что, джалдаз, серебра много? Откидывай его в сторону, оно не нужно».

От тов. Иванова узнаю, что казаки робки, обидчивы, как дети. Попробуй-ка казаку-шахтеру сказать, что он плохо работает, он, пожалуй, расплачется. Ему надо сказать: «Джалдаз, ты работаешь хорошо, но дай-ка я тебе покажу, как будет лучше», тогда он доволен и будет стараться. Они очень забыты и к русским неважно относятся. Это остатки воспоминаний о национальном гнете в прошлом. Зато они очень ценят человеческое отношение; казак ничего не пожалеет, чтобы за него отплатить.

Завшахтой показывает завал, — здесь было плохое крепление. «Не успели мы пообедать, как увидели на поверхности большую воронку. Теперь починаем и к новому креплению относимся очень внимательно». Тов. Иванов рассказывает о трудности работы, о текучести рабсилы, о недостаточном снабжении рабочих, плохом оборудовании шахт. «Но все же работа идет, мы движемся вперед. У Карагандинских копей богатое будущее. К концу пятилетки мы далеко подвинемся. Только бы поскорее механизировать шахты».

Большая Михайловка

Большая Михайловка — зеленый оазис среди скучной однообразной степи. Здесь всюду растут тополя, здесь много колодцев. Возле тщательно выбеленных саманных домиков устроены огороды. Слышится украинский говор. В лунные ночи звенит гармошка, поют страдательную, пляшут и веселятся девчата и хлопцы. Здесь живет большинство служащих Караганды. Каждое утро к общежитию подезжает амовская пыитонка, которая отвозит на работу всех служащих. Отсюда до Караганды 10 километров. На грузовиках помещается около ста человек; давка, хохот и крики. Пыль слепит глаза, толстым слоем покрывает одежду и лица. В Караганде люди прыгают из машины, серые, чумазы, протирают глаза, чихают.

В Большой Михайловке, в неказистом домике из самана, разместились американцы, два озеленителя из Агролеса и будущий редактор газеты. За тонкой перегородкой слышны шаги и каждый шорох соседа. Узнаю, что редактор при-

летел из Алма-Аты на аэроплане в Алматы, и на машине приехал в Караганду. Здесь он должен организовать постоянную газету «Большевистская когечарка». Впереди еще много работы. Редактор должен опять лететь в Алма-Ату, оттуда в Москву, пригласить людей, все оборудовать.

Кого только нет за обедом в столовой для инженеров. Инженеры, геологи, строители, техники, врачи, журналисты, большинство командированные из Москвы, Ленинграда и других мест. Здесь я встречаюсь с представителями Шахтстроя, или, как их все тут называют, «американцами». Мистер Эванс щеголяет, несмотря на постоянную пыль, в безукоризненно блестящих американских штиблетах. Мистер Эванс почти три года живет в Советском Союзе, но по-русски знает всего несколько слов. Он очень приветлив, охотно и часто смеется, когда его неизменная спутница переводчи- тов. Серафимова, или, как ее называют «американцы», мисс Мэри, переводит ему из общего разговора шутку или чью-либо остроту. Остальные «американцы» — инженеры Шахтстроя — совсем молодые ребята. Они советуют мне в первую очередь посетить разведочные работы.

На разведке

Отправляюсь с геологом Гапеевым и штейгером Буровым на разведку. Едем на паре сытых лошадок сожженной солнцем степью, но она теперь не гнетет нас своей мертвенной тишиной. Степь разбужена. То-и-дело встречаются буровые машины, сверлящие грудь земли. Ритмический стук этих машин нарушает мертвый покой, радует и волнуется. Мы подезжаем к вышкам, геологи-техники, работающие у машин, дают Гапееву отчет о своей работе. Кое-где попадает ручное бурение. То-и-дело встречаем загорелую бодрую молодежь. Это учащиеся геодезисты, коллекторы, гидротехники, присланные из городов сюда на работу. Группы рабочих кирками неутомимо роют канавы. Здесь ищут воду. Только нужно, чтобы она не замерзала зимою. Колодцы около метра в

более глубины. Вода пресная и вполне пригодная для питья.

Штейгер Буров один из первых приехал в Караганду. Сейчас он заведует разведочными работами. Он исходил здесь каждую пядь земли, знает и помнит каждую канаву. Он перевыполнил план работы на текущий год. «Пока лето, надо как можно больше успеть, чераз месяц-полтора невозможно будет работать». Далее Буров рассказывает нам об ужасных буранах, когда люди замерзают в нескольких шагах от жилья. Едущие зимой в Караганду отсиживаются неделями в вагонах и деревнях. Работать нелегко.

Сейчас производится закладка шахт «Верхняя Марианна». «Вот там, далеко вперед, — объясняет Гапеев, — ведутся разведки на 100 квадратных километров. Вся же площадь простираения пластов каменного угля измеряется 1.000 квадратных километров. Но мы думаем о возможном ее расширении».

Внимание мое привлекает один человек. Я узнаю его, он ехал в поезде. Он медленно идет по степи, внимательно осматривает одно и то же место, стараясь подальше держаться от канав и колодезев. Это авиатор Чернуха, он ищет место для аэродрома. Он гоже, как и другие, говорит о затруднениях в работе, у него нет помощников, но все же скоро над степью птицей взвоьгнется аэроплан.

О транспорте

От Акмолинска до Караганды — расстояние 250 километров, а поезд идет иногда четверо суток. Дорога молодая, она проложена только зимой 1930 года. Рельсы клали прямо на лед. Неудивительно, что здесь бывали крушения. Двадцать пять шахт бесперебойно работают в Караганде, но мало добыть уголь, надо доставить его к фабричным, заводским и паровозным топкам. Временная железная дорога не удовлетворяет требования Караганды; задерживается доставка скреперного леса, машин и строительных материалов. С трудом пробивались первые эшелоны с карагандинским углем к топкам.

Сейчас заканчиваются работы по сооружению постоянной железнодорожной линии на Караганду. По направлению Караганды и озера Балкаш уже выполнено свыше 400.000 кубометров земляных работ. От магистрали Боровое—Акмолинск—Караганда на соединение с Турксибом в будущем году протянутся железнодорожные рельсы. От Акмолинска намечен железнодорожный путь на Орск к Халиловскому железнорудному району. Насколько широк размах казахстанского железнодорожного строительства в 1932 году, видно из того, что на строительство путей предусмотрено израсходовать 80 мил. рублей.

Первый этап работ Казжелдорстроя завершен. По директиве ЦК ВКП(б) и правительства магистраль Боровое—Акмолинск—Караганда должна была поступить в эксплуатацию 1 ноября. По встречному плану ударников Казжелдорстроя дорога готова к 1 сентября. Благодаря соцсоревнованию и ударничеству за два месяца рабочими Казжелдорстроя сделано столько, сколько сделано было за весь предшествующий год. В июле в результате ударной работы, развернутой партийной и профессиональными организациями, число соревнующихся рабочих достигало 58 проц. Особенно большие успехи были достигнуты среди казаков в июле — участников в соревновании стало 75 проц. Путь к Караганде готов.

Техническое совещание

В правлении Казугля все уже в сборе: инженеры, геологи, завшахтами, «американцы» и все руководители треста. Присутствуют на совещании и бывшие вредители. Теперь они мирно работают под контролем партийных товарищей, и один из них уже реабилитировал себя долгой и честной работой; он уже на свободе.

Молодежи почти нет. Собрались пожилые люди, опытные горняки. Они сдержаны и малоречивы. Мистер Эванс в ожидании совещания меланхолически жуег американскую резину. Горбачев открывает собрание. Голос его растет и

крепнет: «Наше предприятие должно быть образцовым. Все данные к этому мы имеем. В старых бассейнах иногда не удастся быстро перестроить работу, потому что этому мешает «наследство», оставленное от капиталистов. Мы все создаем заново. Поле чисто и свободно. Поэтому мы хотим построить Караганду образцово».

Горбачев информирует присутствующих о плане, намеченном ВСНХ на ближайшие годы.

Производительность шахт в 1932 г. должна выразиться в 3½ мил. тонн, в 1933 г. — в 6½ мил. тонн, в 1934 г. — в 12—15 мил. тонн, в 1937 г. — в 30—40 мил. тонн.

Ни для кого из нас не секрет, что в Караганде нехватает многого. Проводка шахт производится самым примитивным образом. Нехватает оборудования, нет котлов, паровых лебедок, нет электричества. Но электростанция, мощная радиостанция, водопровод, клуб, учебный комбинат, больница — все это уже строится. Правительство отпустило в 1931 году на строительство Караганды свыше 20 миллионов рублей, сотни вагонов строительного материала, 1.000 вагонов строительного и крепежного леса, 25 классных вагонов, десятки стандартных домов. Нам предстоит громаднейшая работа. Нужно много живой рабочей силы и творческой энергии, чтобы выполнить все это. И мы выполним. Пора уже старые примитивные методы работы кайлами, изнуряющие людей, отменить и ввести всюду отбойные пневматические молотки, врубовые машины, а также конвейеры для погрузки угля в вагонетки. Представитель из Шахтостроя мистер Эванс приглашен сюда разработать проекты открытия новых шахт и механизации старых.

После тов. Горбачева с докладом выступает старший инженер Берлин. Он говорит о наиболее правильных и экономически выгодных способах вскрытия месторождений и о главных принципах механизации.

Речь его длится около трех часов. Сопровождение кончается поздно. Усталые, но веселые, мы возвращаемся на гоузовичке-полоторатонке домой, в Большую Михайловку.

Озеленение будущего города

Со временем Караганда станет большим промышленным центром. В сторону Большой Михайловки идет распланировка города на 50.000 жителей. Почему бы не украсить Караганду зелеными тополями? Для этого трест и заключил договор с Агролесом. Целые дни два молодых агронома-озеленителя бродят пешком по степи, роют ямы, исследуют почву. «Здесь солонцы, здесь ничего не будет!» — говорит старший. Даешь дальше. У них на руках мозоли, они устали копать, но упорно и неутомимо продолжают работать: надо же узнать, что можно посадить в этой бесплодной дикой степи. Недалеко от Большой Михайловки, возле речки Баква-Сакур, устроен первый питомник. Он молод, как молодо все в этом краю. Его устроили лишь в мае 1931 года. Площадь в 3½ гектара зеленеет молодыми побегами кустарниковой ивы и тополей. Станным и необычным кажется здесь в унылой степи целое море зеленых деревьев, колеблемых ветром Их подрезают, их можно уже рассадить.

Землю для питомника поднимали верблюды, волы и лошади. Никаких культур, кроме тополя и ивы, нельзя было достать, но предполагают, что здесь будут расти дуб, рябина, некоторые плодовые деревья, из кустарников: черемуха, смородина и крыжовник.

Из своих ежедневных экскурсий озеленители возвращаются бодрые, с сизым загаром, голодные, как звери, с охалками скудных степных растений. Они собирают гербарий. Можно удивляться обилию найденных ими трав; до этого казалось, что в этих степях растет только полынь, запах которой преследует человека днем и ночью.

Знакомство с бытом казаков

За озером в Большой Михайловке расположились маленькие аулы. Подходя к юртам, мы говорим: «Аман». Казакские женщины приветливо кивают посетителям, жестами приглашают в юрту. Они ощупывают наши платья и волосы, о чем-то расспрашивают, гово-

рят все сразу. Наконец одна из женщин приносит слово «шампань». Все оживляются и весело повторяют это слово. Я вижу, как одна казачка поднимает с порога сосуд, который только-что тщательно вылизали коза и собака. Женщина наливает в него кумыс из грязного бурдюка и с приветливой улыбкой подает его мне. Я делаю вид, что пью, и передаю моей спутнице. Та пьет кумыс с нескрываемым отвращением и остатки выплескивает на землю. Поднимается невообразимый шум. Женщины негодуют, кричат, машут руками. Одна из них с перекошенным от гнева лицом вырывает кисе из рук испуганной девушки и дает вылизать последние капли кумыса ребенку.

«Что ты сделала, — кричу я. — Ведь у казаков кумыс считается священным напитком. Вылить его на землю, значит оскорбить хозяев».

«Я не знала» — смущенно лепечет девушка.

В это время подходят два казака, они немного говорят по-русски. Мы объясняем с ними. Они успокаивают оскорбленных женщин, русские «марджи» не знают обычаев предков. Но мужчины тоже недовольны, мы видим, что они хмурятся и косятся на нас.

У одного из казаков пышная борода. На солнце она отликает золотом. Казак очевидно гордится ею. Он собирает в кулак бороду, подносит ее к нашим лицам и спрашивает: «Джакси?» — «Джакси!» — отвечаем мы и смеемся. Во рту моей спутницы казаки замечают золотой зуб. Они тянутся к нему пальцами, пытаясь ощупать золото. Одна женщина уже коснулась губ моей спутницы. Та поспешно отскакивает. «В следующий раз надо в юрты идти с переводчиком» — решаю я.

У небольшого каменного здания — больницы — я вижу толпу казаков. Они напирают на дверь, готовые вломиться в приемную. В глазах их мольба и страстное желание скорее попасть к врачу. Но дверь чуть приоткрывается, сиделка впускает только одного. Женщина-врач показывает мне больницу, где, как и всюду в Караганде, не хватает помещений. Она рассказывает о казаках.

Они невозможно грязны, они никогда не моются. Осматривать их — мучение. Они почти не стирают белье. От грязи казаки страдают кожными болезнями; лишаи, парша — здесь обычное явление. Венерических заболеваний совсем небольшой процент. Женщины сначала боялись лечиться, на прием всегда приходили с мужьями, но теперь прибегают в больницу из-за всякого пустяка. Среди ребятишек большая смертность. Очень часто встречается костный туберкулез. Детей губят зимы, когда они много месяцев проводят без воздуха. Рожать в больнице женщины не привыкли. До сих пор у них еще не изжит ужасный обычай: роженицу подвешивают в юрте на костылях, толкают в бока и спину или закутанную в кошму катают по юрте, чтобы скорей разродилась, юрта полна мужчин и женщин, все кричат как можно громче, чтобы скорей выгнать злого духа, который мучает роженицу. В последний момент все бросаются с ножницами к несчастной женщине, чтобы перерезать пуповину, и тот, кому удается это сделать, пользуется почетом и получает в подарок от отца новорожденного овцу или козла. Этот обычай сохранился в далеких аулах. В Караганде, глядя на русских, казаки начинают приобретать культурные навыки. Они очень легко поддаются культуре и вообще очень способный народ. Женщин нетрудно приучить к чистоте. Многие женщины уже работают в столовых при шахтах и справляются с делом не хуже русских. Но еще очень мало ведется с ними работы, мало культурных сил, не хватает людей и помещений.

Недостаток жилищ

Врач указывает на новые строящиеся двухэтажные деревянные корпуса. Вот будущий заразный барак, вот квартира медперсонала, вот жилища рабочих, а пока... консультация матери и ребенка помещается в юрте. Заразные больные лежат в общей палате, врачи задыхаются от тесноты. Вот в этой юрте живут пять врачей, на них льет дождь, их кусают блохи. Но помещения будут. Караганда растет не по дням, а по часам.

Нужно выстроить 180 тысяч квадратных кубометров жилья. Из них построено не менее 70—80 тысяч квадратных метров.

Я брожу среди воздвигающихся каменных, саманных и деревянных стандартных построек. Я слышу, как один из строителей сомневается в прочности последних.

Кто знает, вынесут ли эти дома силу казахстанских буранов, не осунутся ли они от бешеных порывов ветра.

О прорыве на строительных работах бьет тревогу газета «За уголь Караганды». Пионерам Караганды приходится работать в исключительно трудных условиях. Опытных рабочих мало, отсутствует сдельщина, казакское население еще только привыкает к новой работе. Медленно катит по рельсам вагонетку с кирпичом молодой рослый казак. Кажется, что ему тяжело. Я подталкиваю вагонетку, и она катится легко и быстро. Смущенный казак подтягивается и начинает быстрой работой. И так во всем. Надо подталкивать, шевелить. Нехватает людей. Сотни людей совсем без крова. Руководители треста Караганды, Горбачев и Юнов, живут в небольшой неуютной комнате в саманном домишке. Большинство служащих и рабочих пока ютятся в землянках, вагонах, юртах.

Просвещение

Отдел народного образования находится в небольшой хибарке, окруженной колючей проволокой. Здесь же помещается горсовет. Помещение даже не разгорожено. За одним из столов сидит педагог тов. Зайцева, командированная сюда из Алма-Аты. Первые дни она изнывала от сомнений, от жары, от всюду проникающей едкой каменноугольной пыли. Она была похожа на рыбу, вынутую из воды. Она жалела, что сюда приехала, жаловалась и мечтала об отезде. Сейчас передо мной совсем другой человек. За два-три дня тов. Зайцеву изменили карагандинские темпы. У нее бодрый голос, спокойный уверенный взгляд, она с увлечением рассказывает о развертывающейся здесь работе: при шахте № 1 будут открыты 5 семилеток

казакских, одна русская и 3 школы переростков, при остальных шахтах тоже будет открыто несколько школ, уже организовано 33 ликбеза, открываются 35 ликпунктов. Дело, как и везде, за помещением, но к осени его обещают.

К столу тов. Зайцевой то-и-дело подходят студенты-казаки, ликвидаторы неграмотности. У них приветливые, веселые лица. На ломаном русском языке с увлечением они рассказывают о своей работе.

В райкоме я знакомлюсь с женоргом. Работа среди женщин пока развернута слабо, но уже среди казачек есть делегатки. Санитарки ходят по юртам, ведут борьбу с грязью, наблюдают за детьми, стараются привить женщинам культурные навыки. Сначала они встречали резкий отпор. «Вот бери его, забирай совсем, учи чему хочешь, — указывает казачка санитарке на сынишку-пионера. — А меня не трогай, какая родилась, такая и умру». Но мало-помалу начинают женщины принимать участие в общественной жизни. На районную партконференцию явилась делегация женщин; они шли торжественно в белых чадрах с серьезными, взволнованными лицами, и одна из делегатов говорила о том, что уж просыпается отсталая и забитая казакская женщина, что она охотно и радостно идет навстречу новому, терять ей нечего, позади жалкая, убогая жизнь, к которой, познав лучшее, никто из них не вернется.

В ликбезе за длинным столом сидят женщины. Лбы их морщатся от напряжения, они шевелят губами, непривычные пальцы чертят закорючки букв. Трудно им дается учеба, но они очень стараются. У одной на коленях ребенок, за подол другой держится двухлетняя девочка.

Если и детсад еще только организуются.

Горнопромышленное училище помещается временно в Большой Михайловке, в здании семилетки. Я сижу на уроках и с интересом наблюдаю ребят. Они священнодействуют на уроках. Преподавание ведется на казакском языке, по старинке, без новых методов, но ребята жадно ловят каждое слово педагога, старательно пишут в тетрадях, не озорни-

чают и не шумят. Для них все ново и интересно, каждая мысль, каждое слово для них откровение. Русский язык преподается здесь как иностранный. За недостатком педагогов в одной из групп занимается русским языком студент-казак. Я слушаю, стараясь сдерживать улыбку, как ребята добросовестно повторяют за учителем: «В этой комнате четыре шкапов есть».

Бывшая сельская церковь Большой Михайловки служит теперь общежитием для ребят Горпромуха. Они встречают меня приветливо и радушно, но разговаривать я могу только с одним Ермеком. Один из всех он хорошо говорит по-русски. Маленький, быстроглазый Ермек необычайно подвижен и словоохотлив. Он информирует меня о жизни ребят. Из далеких аулов они бросились сюда неудержимо и жадно, стремясь к учебе. Здесь сейчас около двухсот человек.

В общежитии грязно. Ребята вначале наотрез отказались идти в баню, которую увидели в первый раз.

«Там жарко. Хватит с нас солнца, а там, пожалуй, умрешь». Они заставили раньше пойти в баню педагогов. «Если они не умрут, значит и мы уцелеем».

Ребята теперь вымыты. Русский комсомолец занимается с ними физкультурой. Они подбрасывают футбольный мяч руками, игра захватывает их и увлекает. Громадная площадь под окнами общежития долго звенит веселым, молодым гамом.



Я посещаю с Ермеком юрты, расположенные у Караганды. Мы пьем там кумыс. Ермек служит мне переводчиком. Теперь я могу многое узнать о жизни и быте казаков.

Старый Катулай, сидя у юрты, рассказывает мне, не спеша, о своем прошлом и настоящем.

Тут же рядом его жена Распала готовит на треноге вкусные баврсаки. Пахнет бараньим салом и кумысом Резвится, бегают и смеется тринадцатилетняя дочь Катулая и Распалы—Амантай. На ней длинные мужские штаны, и на дубаху надета грязная безрукавка.

— Раньше жили мы по-другому, — говорит Катулай. — Коммунист пришел, переменял нашу жизнь. Коммунист называет казака «джалдаз», и мы этому рады. Он также сказал, что есть будет только тот, кто будет работать. И это тоже неплохо. Раньше только баям жилось хорошо, а бедняку трудно было даже жениться. Где он мог достать 48 голов скота, чтобы заплатить калым за невесту. От «услуг» муллы мы отказались. По Магомету не скучаем: сколько ни молись, а если сам не посеешь пшеницу, не выменяешь ее на овцу, никакой бог хлеба тебе не принесет». — А вот лишиться второй жены, Рахимы, ему было жалко. Коммунисты запретили иметь нескольких жен. Пришлось уступить Рахиму младшему брату Осману. Осталась у Катулая теперь одна старая Распала. У них трое детей, остальные ушли в могилу. Вот бегают их сынишка Алепусбай, что значит сын шестидесятилетнего, а это их дочь. Ей уже скоро 14 лет. Пора замуж, но по новым законам можно выдать ее только 16 лет. Распала недовольна. У Амантай уже намечаются груди, она уже засиделась. Но ничего не поделаешь, таков новый закон.

Старший сын Сарвай работает в шахте. Катулай рассказывает о том, как они долго не решались перекочевать в Караганду, но их уговорили родичи. Они все шахтеры. Некоторые из них ударники. Они приносят домой много таких вещей, которые и не снились никогда старому казаку. Они получили сапоги, прозадежду, у них есть всегда сахар и чай. А Катулай все же не очень доволен жизнью. Он тоскует по далекой степи, где трава не затоптана тысячью ног, где он мог спокойно играть на домре и ни о чем не думать. Казаку ведь нужно немного: юрта, жена, верблюд, хорошая лошадь и одежда, которую можно носить, не снимая, зимою и летом.

Раскосые, быстрые глаза Ермека смеются, когда он переводит мне последние слова Катулая.

Мы возвращаемся пешком в Большую Михайловку. Долго идем безлюдной степной дорогой, кругом тихо, пахнет полынью, тонкий рожок месяца слабым

светом озаряет скудную степь. Мы не замечаем ее убожества, мы говорим о зеленом будущем городе, о летающих над ним птицах-аэропланах, о механизиро-

важных шахтах и о той новой прекрасной жизни, которая уже идет на смену старому отживающему быту казаков-кочевников.

3. У СТУДЕНОГО МОРЯ

Н. В. Пивегин

Сто лет назад жил в пустынном Устьянском крае бездетный старик тунгус Сыпсай. Задумал он построить две «поварни» на берегу Ледовитого моря, одну у Святого Носа, другую — у Аджергайдаха. Говорил старик:

— Нет у меня сына и внучат. Помру — некому будет вспомнить, что жил на свете охотник Сыпсай. Если построю поварни, быть может, люди, которые будут отдыхать в хороших поварнях, вспомнят, помянут и меня добрым словом.

Сыпсаева поварня — на Святом Носу, зовут ее Чай-поварня; она подгнила, еле держится. Много промышленников перебивало в ней, каждый готовил пищу. На полу — отбросы, никогда не выметавшиеся, толщиной около метра. Теперь в избушке стоять можно только согнувшись. Люди давно забыли имя Сыпсаея, из островников один Василий слышал про старика. А имя его узнал я от Сыллагая.

В Чай-поварне мы застали две артели с Новосибирских островов — одна с Малого острова, с Надыбиным во главе, и другая — Митрофана Иванова — с Котельного острова. Тут же был Бочкарев — сухой, подвижной, живущий на островах охотник за оленями. Этот прибежал в Чай-поварню пешком из становища Зимовье. С нашим приходом в избушке собралось 11 человек, а снаружи около 80 собак.

Я застал в избушке одного Надыбина, остальные ушли в горы у Святого Носа на охоту. Скоро охотники вернулись. Первым пришел Митрофан Иванов, выбранный староста, или «князь» всех островных артелей. Он хорошо говорил по-русски. За Ивановым подо-

шли и другие — молоденькие спутники его и товарищ Надыбина, якут Марков. Эти вернулись с добычей: недалеко от Святого Носа они убили трех диких оленей. Часа через два олени были привезены. Собаки получили по хорошему куску мяса. И у нас на железной печке в ведре — лучшие кусочки из оленьих туш.

На следующий день начался довольно трудный переход через горный хребет Святого Носа. Пять нарт одна за другой растянулись, как звенья цепочки, по голым, безжизненным склонам на перевале у г. Хаптагой.

Дав отдых собакам на перевале, каюры наши пустили запряжки полным ходом под гору. Из-под тормозов понеслись потоки снежной пыли; в некоторых местах погонщики, вся на нарте, тормозили ногами. Но, несмотря на это, нарты неслись со скоростью поезда. Меньше чем в полчаса мы оказались на морском берегу у полуразвалившейся поварни Горохов стан.

Теперь предстояло пересечь широкую губу Эбеляхскую. Лед в ней замерз совсем спокойно. Несколько раз пересекли мы следы диких оленей, прошедших куда-то на север. Собаки, зачуяв след, прибавили ходу. Километрах в пяти от берега наша запряжка словно взбесилась. С визгом и лаем собаки понеслись по направлению берега. Не понимая, что случилось, я спросил каюра, что они видят. Он ответил:

— Жилье почуяли!

Здесьние собаки — одни из лучших в мире. Если спросите колымчанина, где лучшие собаки, он скажет:

— Наши колымские собаки — беда

хороши! А сказывают люди, что лучше наших — на Лене!

На Лене скажут, что лучше ленских — аллаихские или устьянские. В Устьянске говорят, что на Колыме собаки хороши для быстрых переходов на легкой нарте, но колымский подбор не сделает с грузом 4.000 километров, которые покрывает за одну весну собаки островников.

Старики говорят, что в последнее десятилетие измельчали собаки, стало их меньше после гражданской войны. Теперь трудно подобрать безукоризненную упряжку.

В самом деле, в Устьянском крае порода собак теперь довольно пестра. Наряду с прекрасными экземплярами чистокровных лаек, по большей части серых, широкогрудых, с точеными ушками, с волчьим прямым и коротким хвостом, встречаются экземпляры с слегка повисшими ушами и довольно слабой шерстью. Но таких экземпляров немного.

Обыкновенно нагрузка на собаку островников колеблется между тридцатью и сорока килограммами. Весной, когда дорога особенно хороша, промышленники, выезжая на острова, загружают нарты с 12 собаками до пределов возможности, иногда килограммов до 960, иначе говоря, на собаку приходится до 80 кг. Здешняя нормальная упряжка состоит из 12 собак, из которых две — передовые. Обыкновенно один из них — главный передовой «бастын», второй — запасный обучаемый. Собаками управляют исключительно при помощи голоса.

Нарта промышленника, почти не отличающаяся от колымских и ленских нарт, на первый взгляд кажется весьма неуклюжим и непрочным сооружением.

К довольно грубо выструганным копылам вверху их привязаны на ремнях поперечные бруски, соединяющие копылы и продольные жерди с ремненным переплетом. Внизу копылы поддерживают два грубо обтесанных березовых полоза, соединенные впереди такой же грубо сделанной дугой из ивы или лиственни-

цы, на которой даже кора не ободрана. Полозья к копылам прикреплены сыромятными ремнями. Вот и все.

Приходится удивляться прочности этого сооружения. Удары нарты с полного хода среди нагромождений морского льда о торосы для нее нипочем. За все время поездок на островах при мне лишь два раза случились поломки нарт, которые были быстро исправлены, благодаря тому, что все части держатся на ремнях. Достаточно развязать ремни, соединить сломанную часть накладкой, на ремнях же, и можно трогаться дальше в путь до места, где будет время выстрогать новый копыл или жердь. Лишь в случае поломки полоза приходится заменять его на остановке новым. У каждого запасливого островника есть полозья или на нарте, или в местах остановок.

На нарте всегда раскинут полог. В Устьянском крае зовут его «чум». В него укладывается все дорожное снаряжение. Впереди у дуги неизменный спутник промышленника — железная печь. Чумом пользуются в случае непогоды вместо палатки, растягивая его на поставленные боком нарты и прикрываясь им же сверху.

Собак запрягают длинным цугом — парами, одна за другой. Несложная сбруя собаки, или «алык», к концу переходит в ремень с палочкой, которая закладывается в ремennую петлю «потяга». Вдоль этого потяга парами на таком расстоянии, чтобы не мешать друг другу, вделаны петли.

Смотреть на хорошую упряжку в работе одно удовольствие!

С нарты видишь два ряда пушистых комочков с поднятыми кверху хвостами. Быстро мелькают лапки. Иногда собака кидается в сторону, хватая снег и снова налегает на алык. Тогда рядом со следом нарты остается на снегу продолговатый желобок. Плотно влегли в алыки передовые.

Главный передовой — весь внимание. Его язык всегда на стороне, высунулся из открытой пасти красной тряпochкой. В такт дыханию вырываются плотные комочки пара.

Вот препятствие — под'ем или торо-

сы. Передовой удваивает усилия, но сзади, где запрягаются обыкновенно ленивые, собаки замедляют ход и отстаиваются. Передовой жалобно тявкает, пытаясь рывками сдвинуть нарту. Ему вразброд помогают другие. Но в трудном месте нарты им не сдвинуть. Каюр помогает, бранясь. Нарта снова трогается с места.

У хорошего каюра на пути, где он обычно ездит, есть в промежуточных поварнях корм. Собаки запоминзют эти места. Завидя урасу, у которой когда-то дан был корм, они несутся вскачь. Достаточно трем-четырем собакам, вспомнив, внезапно удвоить усилия и перейти в галоп, как вся упряжка обязательно заражается и несется некоторое время, как бы собаки ни были утомлены.

Ездок на собаках знает все слабости

собачьего темперамента и пользуется ими. Если он завидит издали куропатку, оленя или песца, он, приучая собак, неизменно повторяет одни и те же слова, в роде:

— Хара бар! (черное видно).

Или:

— Кыл бар! (зверь, зверь).

Привыкнув к таким словам, перед встречей зверя собаки обыкновенно при подобном окрике настораживают ушки, а наиболее горячие кидаются вскачь. Точно так же задолго до поварни каюр начинает понукать словами: «Кор бар» или «кор догор» (близко дом, дом друга).

Еще один прием употребляется, когда из утомленных собак хотят выжать последние силы.

Несколько раньше собак, после остановки выезжает вперед человек на оле-



В торах на море по пути с Ляховского острова

нях. За оленем собаки несутся, не помня себя, с каким угодно грузом, вскачь. Здесь уже не упряжка собак, а стадо диких животных на охоте. Вот это стадо начинает догонять оленя, — собакам в ноздри уже бьет аромат животного.

Еще одно усилие — и вся стая вопьется в добычу.

И в этот самый момент едущий на оленях круто сворачивает в сторону, вся упряжка пронесется мимо и, разгоряченная, бежит еще несколько времени



Юрта на севере Устьянского края

тем же темпом. А за это время олени после короткого отдыха, необходимого им, стороной обгоняют запряжку собак и снова показываются на пути. Снова начинается погоня.

Применяя такой способ, мы проехали от Налла до Устьянка 55 км. в три часа.

К вечеру собаки начинали уставать.

Мерзнут руки и ноги у проводника. Чаще и чаще люди соскакивают с саней согреться на бегу. Темнеет.

И вдруг собаки, что-то зачуяв, несутся вскачь. Через несколько минут перед вами признаки жилья. Поварня.

Начинается обычный, твердо установленный порядок приготовлений к ночлегу.

Собачий потяг надвязывается длинной веревкой. Конец ее крепится к воткнутому в снег порею, а в петельки этой веревки вдеваются палочки от алыков. Теперь собаки привязаны по одной. Они располагаются длинным цугом в

таком расстоянии, что не могут дотянуться одна до другой. Второй человек в это время раскапывает поварню, если она занесена, ставит железную печь и растопляет ее. На островах существует обычай при отъезде из поварни оставлять после себя запас сухих дров, сухой растопки и льда для воды.

Скоро печь разгорается, и поварня наполняется теплом. В ведре или чайнике растапливается лед. В это же время дается корм собакам. Пока варится несложный обед, путники чинят изорванную сбрую, одежду, колют дрова на утро и строгоют растопку. Сразу после обеда и чая, раскладывая на оронах или на полу оленьи шкуры, все готовятся ко сну.

Такой же распорядок был и у нас.

Первая остановка — в поварне Аджейгардах. Поварня оказалась занесенной снегом доверху. По крыше можно было проехать, не заметив ее, если бы не выставившийся из снега шест. Пока

мы откапывали поварню, прошел по меньшей мере час. Наконец задымилась труба. Иззябшие люди с трех нарт собрались у огня. Говоров задержался с раздачей корма собакам. Внезапно он ворвался в поварню и, не закрывая двери, сдавленным голосом прокричал:

— Кылы, кылы! (дикие, дикие).

Через несколько секунд поварня опустела. Выбежал и я с винтовкой.

Километрах в двух, на склоне горы, медленно шло стадо диких оленей, голов в шестьдесят. Я не предполагал, что наши промышленники так страстны на охоте. Даже дверь в поварне оставили открытой. Все бежали, казалось, не помня себя. Одни старались отрезать оленей от моря, вторая группа побежала влево, по равнине, в сторону от стада, часть же охотников направилась к оленям почти прямым курсом.

Мне ни разу еще не приходилось участвовать в охоте на оленей при большом количестве охотников. Мне казалось, что группа охотников, бежавшая по направлению оленьего стада, должна была спугнуть его. На самом же деле олени не побежали прямо от охотника, но почему-то все стадо после некоторого колебания свернуло налево, стараясь перегнать другую группу людей, бежавших влево.

Перегнав эту группу, стадо резко повернуло влево. В этот момент охотники и олени начали сближаться. Послышалось несколько выстрелов. Но оленья стадо уже отдалялось. Охота кончилась неудачно.

Все выглядело, как будто охота производилась неправильно. Однако впоследствии я узнал, что на открытом месте нет иного способа сблизиться с оленями.

Техника охоты здешних промышленников основана на глубоком знании привычек оленей и образа их жизни.

Олень — животное стадное. Особенности оленя — быстрый бег, прекрасное чутье и сравнительно плохое зрение. Всегда в стаде имеется вожак, на зоркость и чуткость которого надеется все

стадо. Стадо всегда бросается вслед за вожаком. Второе, что необходимо знать охотнику: главный враг оленя — волки. Больше всего оленей гибнет от волков. Завидев в тундре темный предмет, олени прежде всего подозревают в нем своего главного врага.

Волки, следуя по пятам оленьих стад, не дают им покоя. Волки приближаются к оленям, пользуясь неровностью местности. В большинстве случаев волк не отваживается напасть на стадо в одиночку. Обыкновенно олени в стаде остаются сравнительно спокойными, видя в тундре один темный предмет. Поэтому промышленники скрадывают дикого оленя, охотясь в одиночку или вдвоем. Другое дело, если олени заметят группу. В таких случаях они убегают с невероятной скоростью.

Но если стадо замечает несколько групп волков или людей, вожаки его начинают беспокоиться. В таких случаях олени никогда не бросаются бежать опротягу по направлению от врага, они стараются кругами обогнать врага и проскользнуть на ветер, чтобы чутьем внять его запах и выйти на ровную местность, где не может быть заставы.

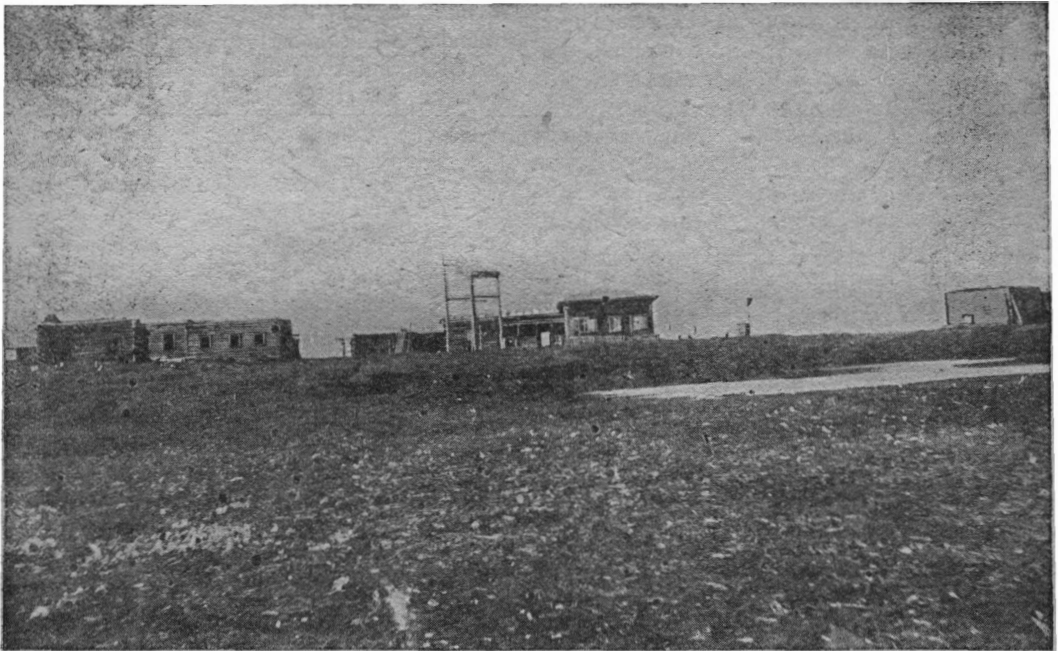
Олень на полном бегу легко оставляет волка за собой. За оленями не угнаться. Тем не менее волки в стаде успешно охотятся за оленями. Обладающие плохим зрением олени время от времени останавливаются, чтобы рассмотреть, где враг. Волки же двигаются безостановочно. Стая волков, разделившаяся на несколько частей, и олени мало-помалу сближаются. В конце концов какой-нибудь отставший олень становится добычей волков.

Все особенности волчьей охоты хорошо учтены промышленниками. Когда нет возможности подойти к стаду на открытом месте, промышленники прибегают или к волчьему способу сближения с оленями или к способу, основанному на плохом зрении оленя. Взяв в руки оленьи рога, чаще же всего просто подняв над головой сошки от ружья, которые должны изображать эти рога, несколько промышленников с замечательным искусством начинают подражать движениям оленя и его характер-

ному бегу с плавным припрыгиванием. Иногда останавливаясь и наклоняясь, охотники начинают приближаться против ветра к стаду. Животные приподнимают головы, всматриваясь в незаметно приближающихся охотников, но не понимают опасности.

Самый интересный и трудный способ охоты путем под'езда на собаках. Высмотрев стадо оленей в отдалении, про-

бак—они конечно считают их за стадо волков, — чтоб оказаться под ветром. Передовой все более и более отклоняется в сторону, парализуя попытки оленей прорваться под ветер. Так же, как при волчьей охоте, олени иногда останавливаются, чтобы рассмотреть врага. Вследствие стремления оленей выйти на ветер и таких остановок запряжка собак и олени понемногу сближаются.



Село Казачье на р. Яне

мышленники едут к нему полным ходом, подгоняя собак соответствующими выкриками до тех пор, пока собаки не заметят стада. Тогда не нужно поощрения, — собаки сами несутся к оленям стрелой. Олени замечают собак сравнительно на близком расстоянии. В первый момент, увидев только один предмет, стадо бросается в противоположную сторону. В дальнейшем охота зависит от того, насколько дрессирован передовой. Если упряжка продолжает бежать прямым курсом, олени скрываются. Хорошая передовая собака должна повернуть упряжку в сторону от стада, обязательно под ветер.

Заметив этот маневр, олени также изменяют бег и стараются обогнать со-

В конце концов оленям дается возможность перерезать курс мчащейся упряжки. В этот момент один из охотников соскакивает и открывает быструю стрельбу по стаду. В зависимости от того, насколько близко удалось сблизиться, бывает успешна и охота. Иногда, заметив падающих товарищей, олени кидаются панически в сторону охотников или сбиваются в кучу. Тогда добыча бывает еще обильнее.

Для промышленника охота — вопрос жизни и смерти. Оленьё мясо—его главная пища. Он не сделает ложного шага. С терпением волка он крадется к стаду в одиночку или бежит во всю силу легких и сердца, стараясь сблизиться с животными. И, как волк, в случае удачи охот-

ник старается набить возможно большее количество животных.

Это — его богатство, его счастье, его репутация.

Северная часть Устьянской тундры умеренно возвышена. Невысокие, очень пологие холмы или ровная местность в промежутке между отдельными группами гор, со множеством больших и малых озер и лужиц. Вся эта местность не населена. Только в отдельных местах, большей частью у берега моря, стоят такие же поварни, как в Аджейгардах. Первое жилье встретили мы на Муксуновке.

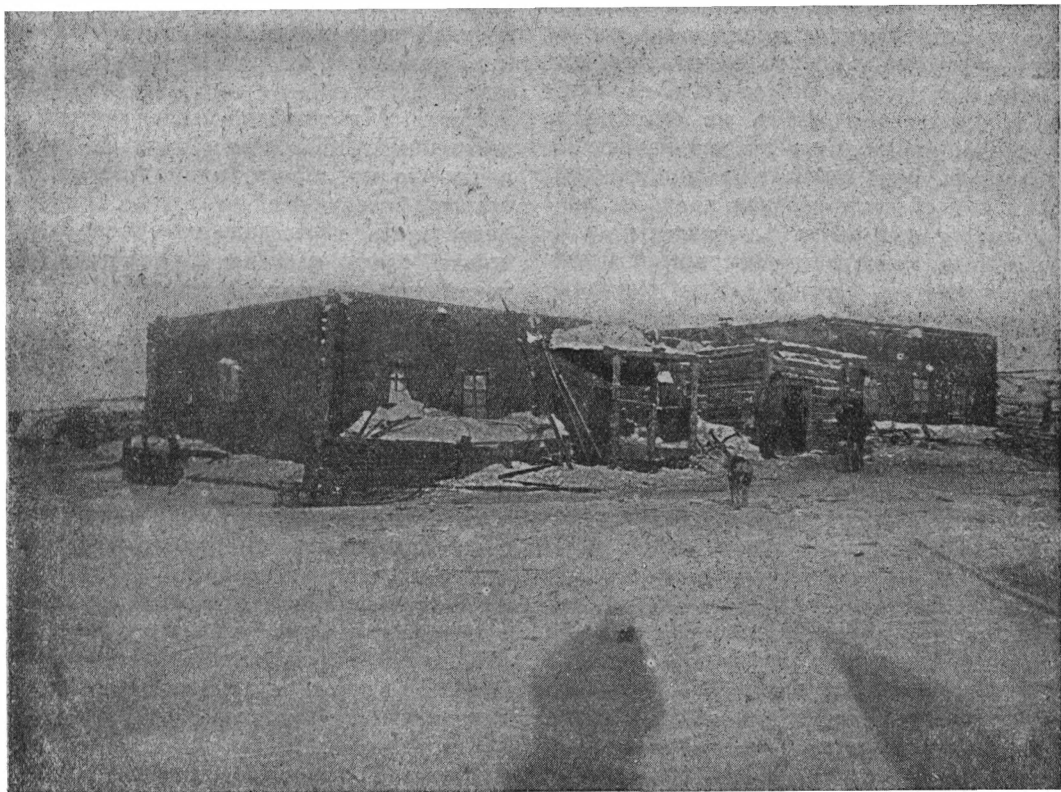
Мы под'ехали к тунгусской избушке поздним вечером. Нас встретили лай собак и переполох обитателей. Гости здесь бывают только несколько раз в год.

После утомительных переходов по безжизненной тундре и ночевки в холодных поварнях (последняя была без двери) человеческое жилье представ-

ляется верхом комфорта. Можно, оставшись в одной фуфайке, высушить основательно одежду. Не нужно беспокоиться о дровах, воде и ужине. Гостеприимные хозяева усадят гостя на почетное место, для сна хозяин уступит свой орон. Через 10 минут напоят чаем с сушеной рыбой «юколой» и мороженой «строганиной». А к обеду маленький качающийся стол будет заставлен яствами, которые хранились год для гостя или для самых обильных обедов в большие праздники.

Нас хозяин принимал особенно гостеприимно по той причине, что достаток его пошел от экспедиции. Молодым парнем он был взят биологом Бирулей, участником экспедиции Толля, в качестве рабочего. Он летовал с этим исследователем на Новой Сибири. Об этом времени хозяин вспоминает, как о времени неслыханного блаженства:

— Еды было сколько угодно. Консервы были, какава, сахар и молоко в банках — целые ящики. И Алексей



Здание исполкома в Казачьем

Андреевич из собственных рук подносил иногда даже чарку «аргы». Хороший человек. Я всегда его, как отца, вспоминаю. А работа какая, — настрелять оленей да покормить собак, да дров приготовить!

Хозяева тунгусской избушки, в которой мы остановились, — самые северные обитатели Устьянского края. Смотри на жизнь этой семьи, ясно видишь тяжелую обстановку в суровой полярной стране, где детям приходится с момента рождения сидеть в тесной урассе-полуземлянке десять месяцев в году. С рождения кругозор ограничен двумя десятками квадратных метров. Весь воспринимаемый мир состоит из бревенчатых наклонных стен с землей в пазах между ними, с таким же потолком на высоте восьмидесяти сантиметров, с низкой — в подроста человека — дверью, обитой оленьей шкурой, и очагом — «огохом» — с несложной посудой около него.

За пределами этой хижины не видно ничего: маленькие окошечки зимой закрыты мутными льдинами, а летом затянуты тонким, непрозрачным желудком оленя. В центре жизни огонь в очаге — «огохе». Ребенок видит его, тянется к нему. Маленькие дети, не получая впечатлений извне, не склонны к шумным играм. Они поздно учатся говорить, они молчаливы и угрюмы. Только лет пяти ребенок получает возможность выглянуть за пределы землянки на короткое время зимой и подольше летом. Если обратить внимание на игры детей, увидишь, что все они вращаются около одного — жизни внутри хижины или вблизи ее. Мальчики мастерят санки, строгают палочки, складывая из них кучки дров. Будучи и старше, они при помощи ножика быстро выделывают из тонких палочек игрушки, похожие на спину оленя с рогами. Сделав такое стадо и аркан, мальчики набрасывают на рога воображаемых оленей этот аркан — мамыкту. Я видел детей почти во всех жилищах на севере Устьянского края, но других игр, кроме игры в оленя, не видал.

Если детей много, они развлекаются вместе, не много и нешумно шалят.

Но там, где ребенок одинок, он проводит время в накидывании мамыкты на воображаемых оленей или ходит на

коротких ножках по урассе с поднятыми вверх ручонками с растопыренными пальцами, изображающими рога оленя. Так часами ходит ребенок, подражая хрипящему, мягкому голосу оленя и изумительно ловко передавая ручонками характерные движения оленьих рогов во время бега.

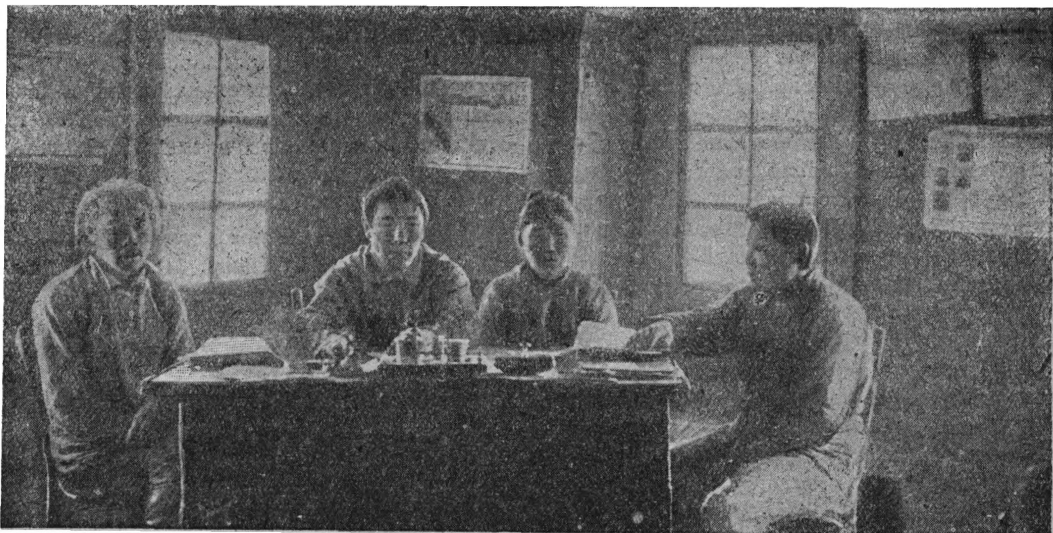
Есть у ребят драгоценности, хранимые между тонкими дощечками, перевязанными ремешком, или в мешочке из рыбьей кожи. Среди них можно найти обломок стекла, обрезки ремешков, обрывки конфетной картинки, кусочки бересты от нерастущей здесь березы, реже — клочок «гумаги», а еще реже — огрызок карандаша.

С девяти лет мальчик начинает помогать отцу в ловле рыбы, в поисках и запряжке оленей и в мелких хозяйственных работах. На его поясе всегда — нож, которым он ловко выстругивает мелкие предметы обихода и готовит растопку. Лет с 12 или 13 мальчик начинает совершать с отцом продолжительные поездки по тундре, приучаясь читать ее знаки и находить верную дорогу. В пятнадцать лет он уже работник, помощник отца.

После Муксуновки места считаются населенными. И в самом деле, мы ехали почти-что по дороге, точнее говоря, по старому следу чьей-то нарты. Иногда встречались пересекающие этот след другие следы оленьих запряжек. Чаще попадались на пути поварни. Однако на ночлег нам пришлось остановиться в низкой землянке — поварне без двери и «огоха».

Мы дригались быстро, делая за день по 80—90 километров. Зимой дорога здесь равна, без заметных возвышений: местами она пересекает мелкие заливы, в которых тут и там торчат кусты травы и плавник. Легом эта местность почти непроходима. Море то надвигается на берег, — при ветрах с морской стороны, — то, когда подует ветер с берега, уходит далеко, оставляя множество мелких озерков и лейд с соленой водой. Такова почти вся местность от Муксуновки до устья Яны.

Ближе к устью тундра меняет характер. Появляются кое-где отдельные, трудно отличимые от травы низкорос-



Исполком в Казачьем

лые кустики полярной ивы. Перед самым устьем Яны зачернела на горизонте какая-то полоса. Подъехав ближе, мы увидели, что эта полоса состоит из сплошной заросли корявых, перепутанных кустарников ивы, не превышающих человеческого роста. Кустарник рос на берегу маленькой янской протоки, называемой Мохнатка вероятно по обилию этих мохнатых, обрамляющих протоку кустиков.

На льду этой протоки мы увидели первую настоящую, хорошо укатанную дорогу. Она лишь местами занесена была снегом недавней метели.

С устья Яны начались ночлеги в теплых урасах. В них при нашем приезде собиралось множество народа. Какими-то загадочными путями становилось известно о приезде «испидиторов». Люди приезжали за 20—30 км., чтобы взглянуть на невиданных гостей. То же самое происходило во всех попутных урасах. В каждой мы неизменно останавливались ненадолго — выпить чашку чая.

К югу от небольшого селения Налла, где застали мы раз'ездную факторию и по случаю ее прибытия большой съезд окрестных промышленников, начинается лес. Сначала попадаютс'я невероятно искривленные листовницы на очень большом расстоянии друг от друга. Потом лес становится гуще.

Около Устьянска, в 30 километрах от Казачьего, по берегам Яны уже настоя-

щий лес из низкорослых, но довольно толстых листовниц.

Устьянск некогда считался городом. В настоящее время весь «город» состоит из одного рубленого домика в пяти якутских юрт. В одной из этих юрт мы переночевали перед последним переходом в 30 километров до Казачьего.

Мы в'ехали в Казачье с неожиданным триумфом. Приезд островников с дальнего севера, из-за моря, — каждый раз большое событие в Казачьем. Но в этот раз молва — «капсэ», — перегнавшая нас на двое суток, оповестила жителей заброшенного городка о том, что едет с островитянами «испидитория».

Когда бешено несущиеся к жилью собаки докатили нас до угора, на нем было немало народа. Нарта сразу была окружена: множество рук подхватило нарту и помогло ей подняться на угор. На верху его сани остановились. Со всех сторон сбегались обитатели Казачьего с откинутыми назад тунгусскими шапками. Вытягивались из камусных рукавиц руки. Каждый считал долгом поздороваться и сказать свое приветливое «капсэ», затем отойти в сторону и, разинув рот, смог'еть на странное наше, непохожее на местное, полярное одеяние. Когда церемония приветствий закончилась, поднялся спор, куда везти нас. Было решено — в «спалком».

Исполком — две низкие рубленные избушки, соединенные сенями. На плоской крыше — несколько саней и небольшой красный флажок. Рядом — полузасыпанный метелью возок, куски голубого льда — запас воды — у входа.

Внутри — нечто среднее между якутской юртой и русским домом. Вместо камелька — железная печь. На стене большой агитплакат, на котором изображена история отношений тайона¹⁾ и хамначита²⁾.

На плакате — одетый в пеструю рубашку пузатый тайон с войлочной шляпой на голове надменно смотрит на стоящего перед ним полураздетого, покорного хамначита. Поодаль, у хотона, полуголые хамначитовы ребята. На плакате — история эксплуатации забитого хамначита и путь его освобождения. Впоследствии на всем длинном пути от Ледовитого моря до Якутска этот плакат гостеприимно встречал меня во всех более чистых юртах. Он являлся как бы символом приобщения хозяев юрты к современности.

В исполкоме встретили нас приветливо. Заместитель председателя сразу отвел помещение в читальне клуба и самолично отправился таскать дрова и топить замерзшую комнату. Мы довольно оживленно разговаривали, хотя собеседник не говорил по-русски. Отдельные слова вместе с оживленными и выразительными жестами и с моим запасом якутских слов дали понятие о несложной истории молодого работника, прошедшего с красными партизанами по всей Якутии. А теперь он временно осел в самом северном исполкоме Якутии в качестве работника на все руки, начиная с заместителя председателя и кончая сторожем.

Клуб в Казачьем — довольно странная постройка. Она состоит из четырех срубиков, прилепленных один к другому. Два из них побольше. Стена между ними прорублена, — получился довольно обширный на здешний масштаб зал. Устроена сцена с занавесом. На стенах и перед сценой на кумачевых полотнищах лозунги на якутском языке. Раз в

неделю или в две собираются сюда закутаные в меха узкоглазые жители. У входа колотят по меховым торбасам палочкой или обухом своего ножа и, сгибаясь при входе в низкую дверь, протискиваются в холодный зал, терпеливо ожидая начала спектакля.

Я был на одном представлении. Пьеса шла на якутском языке. Поневоле пришлось перенести внимание с артистов на зрителей в зале, сизом от дыма крепкого балаганского табака. Зрители в большинстве молодежь.

Пьесы я не понял. Повидимому это была агитка о преимуществах сберегательной кассы, написанная не для местных жителей и им едва ли понятная.

Однако само развитие действия захватывало зрителей. А больше того — перевоплощение всем знакомых Уйбанов и Федоров, друзей и знакомых, неожиданно являющихся в чужом образе, со словами не о мелочах жизненного обихода, а с речью о широких задачах коммунистического общества.

На следующий день я успел побывать чуть не во всех домах Казачьего.

Еще накануне явился ко мне некто Оконешников, юркий человек с приглаженными косичками, с бегающими елейными глазками и тоненьким голосом иногда срывающимся на быстрый и таинственный шопот. Узнал я впоследствии, что был сей человек попом-расстригою.

— Здравствуйте, — заговорил он быстренько и озираясь, видимо, по привычке. — Позвольте представиться. Оконешников. Не слышали обо мне? Я участвовал в экспедиции, которая была здесь в прошлом году. Собственно говоря, я здешний житель. В экспедиции служил завхозом. Я, знаете ли, служил бы до конца, но здесь, в Казачьем, кругом такие сплетни. Всегда все перессорятся. Ужасно развиты интриги. Ну, сами посудите, например: вы не знакомы еще с завсудующим факторией. Жаль, жаль! Ну, познакомьтесь, сами увидите, возможно ли с таким человеком работать. Вы думаете, из фактории пушнина не просачивается?..

Через полчаса я был посвящен во все казачьинские сплетни и узнал о двух главных фронтах борьбы в Каза-

¹⁾ Тайон — буквально господин, в переносном смысле — хозяин или богатей.

²⁾ Хамначит — неимущий, бедняк-работник.

чем — между ячейкой и больницей, между двумя факториями.

На утро не успел я проснуться, а Оконешников уже стучится:

— Проснулся? Ну, как спалось? А я для вас уже похлопотал. У Иван Семеновича в магазине табак американский, всего несколько коробок. Так я подумал, наверно вы любитель заграничных табачков. И сказал Ивану Семеновичу, чтоб он отложил. Потом говорил еще в Госторге. Там очень дешево продают меховые чулки, наверно вы захотите взять. Потом по дороге сюда я забежал к арендатору бани. Нужно, нужно вам с дорожки помыться! Приятно, хе, хе! Ах, да, самое главное-то забыл. Вам здесь наверно неудобно, холодно. Я уже поговорил. Хотите, можно в Госторг, можно в больницу. В больнице лучше, там кормить лучше будут!

С таким проводником я обошел все Казачье.

Дома фактории — лучшие в Казачьем. Они остались в наследство от купцов. Дом «Холбоса» (объединение кооперативных обществ) имеет даже крышу, и не простую — железную.

У фактории всегда несколько оленьих запряжек. Понурые, с прекрасными задумчивыми глазами, стоят заиндевшие олени, пока хозяин сдает пушнину и набирает в лавке товар. У кладовки большие весы. Здесь, на морозе, отвешивают кулями муку, пилят двуручной пилой мясо, рубят топором куски замерзшего масла. Бродячие собаки подбирают крошки. У фактории целый день толчея. Все люди в кухлянках с откинутыми назад шапками — берегигея. Почти у каждого в руках мешок или сверток.

Скуластый якут, заведывающий факторией, ловким движением рук встряхивает принесенных песцов, дует на них, подносит к свету и, глядя на ворс, объявляет цену шкурки. Почти всегда следует короткий торг, касающийся не качества песка, а платы за него. И промышленник и приемщик — оба в точности знают качество шкурки. Но промышленник почти всегда хочет получить за шкурку дефицитный товар, а не деньги. Приемщик же соразмеряет выдачу этих товаров с отклонениями

качества песка от основных норм, а также со многими другими обстоятельствами. Никогда промышленник не сдает крупную партию сразу. Он обойдет все фактории, держа подмышкой одного песка в платочке. Приемщик должен угадать, а лучше — знать, каков весь промысел человека, пришедшего с одним маленьким узелком, обязан быть в курсе его семейных потребностей и дру-

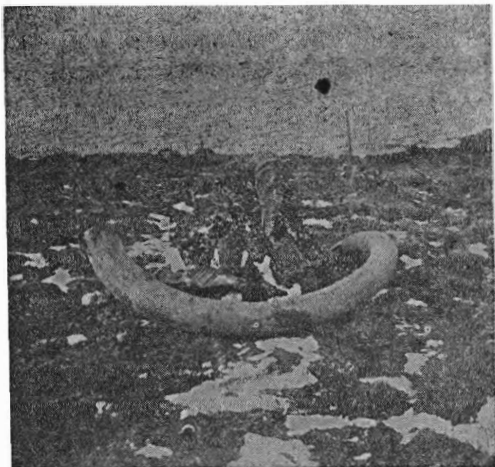


Якутки в Казачьем в праздничных нарядах

гих обстоятельств: сколько выиграл или проиграл в карты, сколько отдал или получил за долги.

К концу дня стены фактории покрываются почти сплошным ковром песцовых шкурок.

Второй людный домик — в длинном срубе из тонких бревен. Над одними дверями надпись по-якутски «аптека», над другими «амбулатория». Внутри, против первой двери, — скамейка для ожидания и ситцевая занавеска. За занавеской — маленький самодельный шкаф с лекарствами. На самодельных же полочках — бинты, вата, бутылочки. свертки и несложные инструменты



Мамонтовый бивень с остатками черепа на Ляховском острове

Против входа в амбулаторию — ветхий венский стул, столик с лекарствами и с чашкой, полной хирургических инструментов.

На скамье ожидания — три-четыре человека; почти все они больны глазами. Целыми днями фельдшер занят промывкой слезящихся век, впусканием капель и раздавливанием трахомотозных зерен.

Каждый приезжающий в Казачье — безразлично, болен или здоров, — обязательно заходит в больницу: выпросить иоду, ваты, бинтов, порошков от «ревматизма» и «для головы». Фельдшер не может отказать. Человек приехал за двести-триста километров. Ему все болящие соседи наказали привезти лекарства. Остается — или выдать лекарство, или ехать фельдшеру самому. А ехать нельзя по пустыкам. Во время отъезда может приехать гонец из местности, не столь отдаленной, от больного, требующего неотложной помощи.

Больница в Казачьем — завоевание революции. Прежде все население Усть-Янского округа было предоставлено лечению собственными средствами. А собственные средства — выжигание ран каленым железом, остановка крови замазыванием человеческими экскрементами, лечение порезов и ран настойкой из дождевых червей и из оленьих личинок-паразитов. Все остальные болезни лечились камланием шаманов.

Теперь иное.

— Лекарство сюда нужно доставлять пудами, — говорил мне фельдшер. — Просят со всех сторон. Быть может, человек и не болен, но как могу я проверить? Ничего не поделаешь, даю обычные лекарства и радуюсь, что ими заменяются знахарские и шаманские средства. Теперь аспирин, цинковые капли, иод и слабительную соль знают в каждой юрте. Приходится каждому посетителю чигать лекции о чистоте, уходе за ранами, о том, как избежать заражения трахомой, приучить ставить согревательный компресс.

— Когда приехал сюда, — трудно было, руки опускались! Больных принимал с женой-якуткой. Она была за переводчицу. Теперь за два года научился объясняться с якутами на их языке.

С этим человеком я провел много вечеров. Узнал о его странной судьбе, приведшей мальчика из глухого сибирского поселка в город, в школу и фельдшерское училище, — о судьбе, бросившей его прямо со школьной скамьи на фронт империалистической войны и, потом в кипящий котел революции. Уже партийцем, комиссаром санитарного поезда, он объездил все фронты. Встреча с акушеркой-якуткой привела его на Лену в Якутск. Возможность за двухлетнюю работу на Крайнем Севере получить право на стипендию в вуз привела его сюда в Казачье.

— Вся жизнь обитателей Казачьего — за занавесками. Служащие факторий, фельдшера и санитары (в Казачьем есть свой ветеринарный пункт), два учителя и партийные работники размещаются в тесных домах и юртах, разделенных на клетушки занавесками.

Люди живут на виду, зная друг о друге все, даже самое интимное. Якуты не знают другой жизни. Пришлые работники этой неустроенностью тягостятся. Они смотрят на жизнь здесь как на временную. Все мечтают о переводе в культурные центры, хотя бы в Якутск.

— В прошлом году у нас веселее было, — говорил мне фельдшер. — Жила экспедиция, работал радиоприемник. Получали новости, было о чем поговорить. И все мы внове горячо принялись

за клуб. Работали в кооперативе. Дела хватало до поздней ночи.

— А в этот год новости редко приходят. Почту получаем через Булун, всегда с опозданием. Погсворить не о чем, кроме своих дел. Каждый слышит все, что его касается и не касается. Чем время занять? Бесконечный преферанс всем надоед. За клубную работу приняться хочется не всем. А жизнь не устроена. Каждый из нас, приезжих, привык к обилию воды, к теплой печи и свету. А здесь — железные печи, мороз, темнота и кругом замкнутые якуты.

В Казачьем — «двадцать три дыма». Поселок раскинулся на пригорке левого берега Яны. Если отойти от Казачьего на километр, увидишь невысокую, потемневшую от времени колокольню без креста и несколько домиков по сторонам ее. Вокруг домиков и между ними какие-то темные кучки, похожие на гундряные вспучивания почвы — «байджерahi». Это — якутские юрты.

Поселок вырос после перевода сюда административных учреждений из Усть-ичска. Казаки были поселены в этом

краю для сбора ясака. Поселенцы эти с течением времени совершенно утратили русские черты, некоторые забыли даже русскую речь. Все путешественники, посещавшие Казачье до революции, описывая казаков, отмечали, что черты их почти не отличались от туземного типа. В последнее время перед революцией кззакки занимались, как и все местные жители-тунгусы, главным образом рыболовством и перевозкой грузов. Единственным отличием и привилегией казаков был получаемый с момента рождения всеми казаками паек на каждого члена семьи мужского пола, безразлично — рожден ли ребенок от замужней, вдовы или девицы. Да еще — право носить шашку и засаленную фуражку с красным околышем.

Казачье живет пушшиной и рыбой. Яна обильна рыбой, в ней водятся те же ценные породы, что и в Лене: муксун, нельма, омуль. Но главный промысел — добыча кондевки. Она идет по летам в громадном количестве. Ловят кондевку все, от мала до велика, — не для себя, но для собак. Каждый хозяин запасает на зиму многие тыся-



Ископаемый лед на Новосибирских островах

чи, хранит ее в погребках. Для прокорма одной упряжки в двенадцать собак нужно запасти не менее шестнадцати тысяч рыб. Если запас рыбы достаточен, промышленник может зимой делать частые вымотры песцовых ловушек — пастей. Может совершать далекие поездки к лучшим песцовым угодьям. А лучшие из них — от Казачьего в четырехстах километрах. Сытые в теле собаки быстро довезут хозяина до пастей. А на плохих собаках далеко не уедешь. А если корма нет, пасти останутся без вымотра.

Если же корм есть в изобилии, можно взять подряд на доставку дров в Казачье или льда для факторий и учреждений, можно съездить лишний раз в Аллаиху — сменить собак и привезти оттуда казенный груз. Но для того, чтобы добыть достаточно рыбы, надо иметь хорошие снасти. А для того, чтобы купить хорошие сети, необходимо сдать много пушнины или добыть денег подрядом, перевозкой грузов. Но ни пушнины, ни денег без упряжки сытых собак не добудешь.

Собакам скармливаются миллионы рыб. При помощи собак добываются многие тысячи песцов. Добыча их иногда падает из-за недостатка корма для собак или «неурожая» песцов. В такие годы население голодает. Плохой промысел рыбы отражается и на следующем году: промышленники летом не могут обновить свои сети.

Третий, меньший, промысел в Казачьем — охота на гусей. Весной, когда обнажаются проталины, а на Яне, посиневшей и вздувшейся, протянутся у берегов темные водяные забереги, все жители, от мала до велика, ждут весеннего перелета.

И вот наконец показываются на бледном небе четкие треугольные ниточки гусиных стай. За первыми вестниками птицы летят сплошной чередой. Они снижаются у открытой воды, садятся в каждую лужицу, другие тянут дальше. В воздухе стоит свист крыльев. Он смешивается с весенними шумами, с журчаньем ручейков, с уханьем пластов оттаявшей земли на ярах.

Везде — на плоских земляных кровлях сеелния, на пригорках и на мы-

сах — сидят в это время, обернувшись лицами к югу, люди с дробовками в руках. При приближении гусиной стаи охотники начинают кричать, с удивительным искусством подражая гоготанию: «лы-ы-глы, лы-ы-глы». Часто, слышав крики, стая снижается и начинает искать место для спуска. Тогда отовсюду взлетают к небу белые дымки, слышатся выстрелы, и падают, ухая, крупные птицы. Мальчики, не имеющие ружья, мчатся палками добивать раненых и подбирать убитых.

Птица валит валом в течение нескольких дней, а иногда и неделю. В это время ночи уже нет. Охотники почти не спят во все время пролета. Второй сезон охоты на гусей начинается в августе, во время линьки. Для нее нужны сети и легкие лодочки — ветки. Для этой охоты приходится уходить довольно далеко — на тихие тундряные озера, где гуси собираются иногда громадными стаями. Сбираясь артелью, охотники гонят гусей к середине озера, затем фронтом на лодочках направляют гусиное стадо к берегу, где заранее обнесено сетями пространство, сужающееся по мере удаления от озера. Лишенные возможности летать, гуси, встречая повсюду стену из сетей, движутся вдоль нее и в конце концов сбиваются в тупике. Тут иногда вырывается яма. В этом месте начинается побоище. Гуси, вышедшие на берег в стороне сети, затравливаются собаками.

Если выйти ранним утром на улицу Казачьего, увидишь в морозном воздухе ряд высоких столбов дыма над каждой юртой. Вечером к небу поднимаются из труб высокие столбы искры в Казачьем топят почти круглые сутки. Во всем селении нет ни одной голландской печи. Даже в лучших домах Сибгосторга, Холбоса и Якутторга и в больнице — всюду железные или чугунные печи. С утра видишь на дороге из леса упряжки собак или оленей. На нартах — дрова. Дровами завалены площадки и улицы, груды дров — внутри помещений. Устьянская больница, по площади не превышающая средней городской квартиры, сжигает за зиму около 350 куб. метров.

После полудня реже видны нарты с дровами. Теперь люди толпятся в фак-

ториях, в исполкоме и в лавках: это — дневные клубы казачинцев. Когда необходимо отыскать нужного человека, идут по учреждениям и лавкам. И только в редких случаях, если человека там не окажется, идут на квартиру.

В ясную погоду, когда учреждения закрываются, все Казачье собирается близ складов Холбоса играть в лапту или в футбол. Крепко сшитый кожаный мяч настигает бегущих и чувствительно, даже через верхнюю одежду, бьет их. Особенным шиком считается свалить бегущего метким и сильным ударом мяча.

Когда смеркается, улицы пустеют. Редко послышится скрип мягких камушков по твердому снегу, еще реже пройдет усталая, в клубах пара запряжка поздно приехавшего путника.

Теперь все население по домам. У урасов, освещенных светом камелька, изредка и огарком свечи, сидят, беседуют, раскуривая трубку за трубкой, якуты, — так же, как сидят и беседуют во всех уединенных юртах всей Северной Якутии. Единственное отличие здесь — темы разговоров. Здесь они обширней. Сюда сходятся новости из Булуна, из Жиганска, из Верхоянска, Аллаахи и Русского устья; сюда приезжают люди и раз в месяц приходит даже почта из самого Якутска. Оттуда слабым отголоском доносятся вести о жизни всей республики и остального мира. Преломленные многими устами, доходят и сюда, в Казачье, слова, рожденные в столицах и в культурных областях, находя отголоски и здесь, в великой глуши...

4. ГОРОД НА ОПУШКЕ МИРА

Макс Зингер

Два года назад

«Корабельщики дивятся,
На кораблике томятся,
На знакомом острове
Чудо видят наяву».

Когда я два года назад пришел в Игарку из Карского моря, куда нас сквозь ледяной строй доставил величайший в мире ледокол «Красин», мне казалось, что здесь, в Игарке, я также оторван от всего мира, как и в Ледовитом полярном море. С верховья могучей реки Енисей в Игарку ожидался лишь один пароход «Спартак», других не было, или вернее другие не рисковали итти в низовья реки, которая широка, как море.

С верховий реки из культурных и давно обжитых мест сюда не проникала почта, и здесь скорее можно было встретить лондонский «Таймс», пришедший полярными морями, чем московские «Известия». Радиостанция работала с большими перебоями, и нужно было подолгу беседовать с радистом, убеждать его в том, что твоя телеграмма заслуживает передачи. Без такой индивидуальной обработки самого радиста, эфиру духа святого, радиogramмы

подолгу старели на столике рации. И наконец, когда пришел в Игарку «Спартак», то мне, мечтавшему попасть скорее на линию железной дороги, почти за две тысячи километров отсюда, пришлось сделать невольный вояж снова на север в Дудинку и лишь оттуда итти наверх к Красноярску.

Семнадцать суток мы плелись на «Спартаке» до Красноярска. Изумительная река Сибири и всего мира стояла того, чтобы пристально смотреть на ее крутые каменистые берега, заросшие тайгой.

Но все же семнадцать суток отделяло нас от курьерского поезда Сибири и двадцать с лишком суток — от Москвы.

Два года назад мы не писали писем из Игарки, их не с кем было пересылать. Английские, норвежские, немецкие пароходы, проведенные в Енисей ледоколом «Красин», возвращались обратно за границу и могли увести ваше письмо лишь в Лондон, Гамбург или Амстердам.

В Игарке нечего было читать. Ни одной книги, ни одного журнала, ни одного номера устаревшей газеты. В Игарке не было почтовых марок, не было почты. В Игарке не нужны были ден-

ги. Их некуда было девать. Не было ни лавок, ни магазинов. Люди получали паек, стоимость которого высчитывалась в Красноярске.

Это была первобытная жизнь у лесной опушки мира. Сюда за тысячи километров прибежал лес и остановился. Здесь он переходил в лесотундру и голую тундру. Здесь протянулась лесная граница. Последние крупные кедр и лиственницы не хотели далеко уходить от Игарки на север, где было слишком холодно и неприветливо.

Через два года культура приблизила Игарку к железной дороге. Быстроходные пароходы совершали регулярные рейсы между Игаркой и Красноярском не за семнадцать, но за восемь-десять суток. Был случай, когда пароход «Ян Рудзутак» в четыре дня дошел до Игарки из Красноярска, не делая нигде остановок. А на самолете, который уходил сегодня в четвертый рейс Игарка—Красноярск, на вторые сутки можно было опуститься в Красноярске.

На небольшом доме висела знакомая вывеска «Почта». Радиостанция теперешней Игарки почти каждый вечер поддерживала прямую связь с Красноярском.

Самый лучший дом в Игарке был отведен радиостанции и гиметстанции. Во время енисейского ледохода в 1931 году вода подходила почти к самой рации и была значительно выше разлива предыдущего года. Наводнение надолго загромодило развитие игарского строительства.

Наводнение

Игарка готовилась к защите от наступления вод вскрывшегося Енисея. Повсюду запестрел приказ № 1 чрезвычайной комиссии по борьбе с наводнением. С 27 мая 1931 года впредь до особого распоряжения все население Игарки обоего пола от восемнадцатилетнего возраста объявлялось мобилизованным на борьбу «со стихийными бедствиями наводнения».

Все граждане, проживающие в порту Игарки, были обязаны по первому призыву чрезвычайной комиссии немедленно явиться на указанные места и беспрекословно выполнять все распоряжения руководителей работ на участках.

За неявку на место работы, за невыполнение распоряжения члена комиссии или руководителя работ виновных привлекали к уголовной ответственности.

В критический момент наводнения на силовой станции Игарки должен был прогудеть тревожный гудок (девять отрывистых гудков с двумя перерывами). По этому сигналу все игарцы обязаны были немедленно явиться на места, о которых сообщалось в оперативном плане. В момент тревоги не являлись на сборный пункт лишь механическая мастерская, почта, радио, рабочие и служащие ЦРК, пожарная команда и домашние хозяйки.

На Совхозном острове было установлено два столба, оббитых сеном и пропитанных мазутом. Первый столб должны были зажечь, как только начнется подвижка льда, второй—в самый ледоход.

На скотном дворе совхоза подняли высокую мачту с красным флагом для опознавания места в случае широкого разлива реки.

Заведующий радиостанцией Иван Андреевич Палисадов, который перешел в Игарку с погибшего «Зверобоя» из Пясины, установил связь с Туруханском, Верхне-Имбацком, Подкаменной Тунгуской и Енисейском. Из этих пунктов Игарка ежедневно получала сообщения о подеме воды, подвижке льда. Игарка следила за Енисеем, который собирался напасть на нее, разрушить, исковеркать город на опушке мира. И если бы Енисей уничтожил рацию Игарки никто бы на свете ранее, чем через месяц, не узнал об игарском бедствии. С пожарной вышки следили уже не только за огнем, но и за подвижкой льда.

Крохотная телефонная станция выполняла ответственную работу связиста. Неправильные соединения и разъединения у коммутатора станции во время наводнения могли нанести непоправимый вред делу спасения Игарки. Каждая минута была сейчас на учете, и люди ложились спать, не раздеваясь.

В Игарской протоке зимовали плоты, пришедшие сюда из Ангары и Нижней Тунгуски. К спасению береговых сооружений флота и леса в протоке была призвана вся общественность города, и

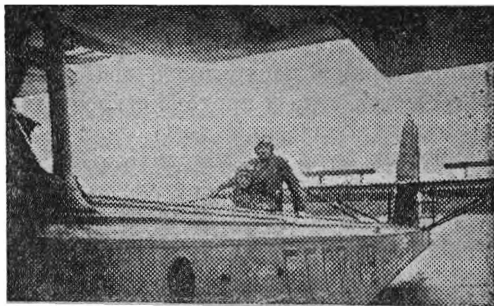
немало полезных советов и предложений выслушали от рабочих Игарки в чрезвычайной комиссии по борьбе с наводнением.

Тринадцатого мая на заседании комиссии по борьбе с наводнением было решено приступить к взрывным работам на протоке во время ледохода на Енисее. У особой будки, где хранился динамит, был выставлен сторожевой пост. По числу капсулей можно было произвести гриста восемьдесят четыре взрыва. Бикфордова шнура было достаточно, не хватало лишь говяжьего сала и бечевы, но и этот недостаток Игарка бралась восполнить сама. Лед предполагалось рвать большими площадями и выталкивать его из протоки при помощи парохода «Полярный» и мотокатера.

На время наводнения требовалось обеспечить заводы Игарки лесом, чтобы работа по распиловке экспорта шла без перебоев. На выкатку бревен из протоки было добавлено до восьмидесяти лошадей. Вся протока была исколота прорубями, откуда спешно доставали зимовавшие плоты и выкатывали бревна на берег к заводам. Изрытый, исколотый лед Игарской протоки не выдержал напора поздней северной весны и пошел раньше енисейских льдов. У выхода протоки в Енисей образовались огромные торосы. Отпала нужда взрывать лед в протоке динамитом. Эти торосы помогли Игарке отставить плоты в протоке во время енисейского ледохода. Енисейский лед почти не заходил в протоку, а торосы, образовавшиеся у выхода из протоки, заперли плоты и сохранили их для лесоэкспорта.

Не все бревна уцелели в Игарке. Много плотов было поднято водой и раскидано по берегам Совхозного острова Игарки, часть вынесло в Енисей. Но основная масса сплавного леса все же уцелела. Игарские заводы ни разу не стояли из-за недостатка леса для распиловки.

Широко залила вода низины Совхозного острова, и там, где сейчас буйно рос и зеленел тальник, люди ходили свободно на лодках. Медвежий лог, где легот протекает небольшой ручей, который можно перемахнуть с разбегу, разбух от прибылой воды, разлился и стоял широкой рекой, впадавшей в Игарскую протоку.



Воздушный корабль «Комсервпуть 2»

Медвежий лог оказал неоценимую услугу порту. Здесь, в разбухшем от наводнения вчерашнем ручейке, спрятался весь караван судов, зимовавших в Игарке.

Пароходы «Полярный» и «Промышленник», три катера и четыре баржи зашли в полноводный Медвежий лог, где отстоялись без повреждений во время енисейского ледохода.

Воздушный корабль «Комсервпуть 2» в первый свой прилет в Игарку отдал якорь в Медвеьем логу, находя это место самым удобным для стоянки.

Двести семьдесят тысяч бревен, более чем на четыре миллиона рублей народного достояния, находилось в замерзшей Игарской протоке. Если бы енисейским льдом унесло лес из Игарки, это грозило бы полным срывом экспортной программы и всех строительных планов на севере Енисея. На Игарку, пожалуй, пришлось бы вешать замок.

Работа по спасению и отстою леса в Игарской протоке была объявлена ударной. Все предприятия Комсервпути в Игарке были переведены на десятичасовой рабочий день с выплатой сверхурочных. Игарка работала без выходных дней. Каждый человек отдал себя целиком для спасения леса, для спасения города на опушке мира от грозившей беды.

Всем ударникам лесосплава, отличившимся при отстое и спасении леса в Игарской протоке, была объявлена благодарность приказом по лесокомбинату и розданы награды промтоварами. Кожаные тужурки, ботинки, белье, сапоги, часы, полное собрание произведений Ленина—вот что получили ударники Игар-

ки за свою тяжелую и ответственную работу.

Поднявшаяся на двадцать два с половиной метра вода в протоке вскоре начала сбывать. Всплывшие дома осели на новых местах, куда их забросило течение и где их задержал береговой лес и кустарник. Тысячи бревен, слиперов и капбалок раскидало водой высоко по берегам, и игарцам предстояла огромная работа по сбору этого леса и подвозке его к заводам.

Льдом подрезало пристани порта, унесло и бросило недалеко от поселка. Берега протоки представляли собой деревянный город, будто разрушенный гигантской воздушной атакой неприятельских самолетов. Обрывки огромных канатов и железных цепей, разрезанных льдом, валялись на берегу.

Сейчас, когда в Игарке каждый рабочий был на учете, когда для пуска второго лесопильного завода были мобилизованы даже служащие, никто и не думал собирать лес по берегам. Ждали партии переселенцев, которым предстояло собирать этот лес и косить луга, готовить сено для прокорма скота, оставшегося на зимовку.

Пороховой погреб

Энтузиаст Игарки, первый начальник игарского строительства Щукин, шлепая два года назад вместе со мною в болотных сапогах по липкой грязи только еще поднимавшегося поселка, говорил:

— Вот мы сейчас с вами на перекрестке двух улиц, — и он указал мне на просеки в тайге. — Вот наша будущая пекарня! Здесь выстроим школу-семилетку! Между улицами мы оставляем сады, не вырубая местный лес. Здесь, на вечной мерзлоте, мы строим крупный порт и первый в СССР полярный лесозавод. Вы видите эти тучные травы? Мы докажем всем маловерам, что не только лес будет экспортировать Игарка. Мы накосим и соберем огромные запасы сена с этих заливных лугов, и я уверен, что, как и норвежцы на дальнем севере, мы разовьем здесь большое молочное хозяйство. Цынга, мошка и прочие напасти отойдут в историю с постройкой порта, и люди будут приезжать к нам на север, чтобы отдохнуть и за-

рядиться неслышанной энергией. На вечной мерзлоте мы создадим огромное и горячее дело, которое растопит вечные льды.

Огни севера в форме столбов горели с невиданной силой. Игарская протока играла, искрилась этими огнями.

Это было два года назад. Откровенно скажу, енсмотря на мою привязанность к северу, мне казалось, что в речах Щукина больше восторга, чем правды. Он не лгал, этот высокий человек в потрепанной кожаной тужурке, но он слишком восторженно смотрел на будущее. И он не ошибся, Щукин.

Игарка разрослась в целый город за два промелькнувших года пятилетки. Игарка имеет уже три лесозавода, силовую установку, школу, радио, телефонную станцию, сберкассy, поселковый совет, общественную и притом хорошую столовую, метеорологическую станцию и временный клуб.

Теплоход «Красноярский рабочий» на-днях доставил в Игарку духовой оркестр — целое событие для жителей порта. Будет чем шумно праздновать первое мая и седьмое ноября.

Но кто-то злой рукой повывел весь лес в поселке, не оставив ни одного деревца между домами, кто-то так тесно застроил порт, что в случае пожара здесь может повториться несчастный Котельнич. Никто и ни разу за два года не убрал ни одной щепы, которая оставалась после стройки домов и устилала толстым слоем всю игарскую землю. По ней, по этой щепе, огонь быстро мог распространиться и охватить весь поселок.

Оазисы леса необходимо было оставить в Игарке и как украшение, и как лучших огнетушителей, заградителей от огня.

Одновременно с ростом социалистического строительства в Игарке поднялся поселок Нахаловка, как называли здесь индивидуальную стройку домов без разрешения.

— Почему именно Нахаловка? — спросил я игарцев.

— Потому что нахально и без плана строятся, — ответили мне.

И Нахаловка принимает уже большие размеры, угрожая пожарной безопасности порта. Скученно построенные

дома могут послужить передаточными пунктами огня во время пожара.

Курильщики в Игарке до последнего времени вели себя без стеснения. Напрасно огромные воззвания управления пожарной охраны порта взывали о предохранительных мерах против пожара. Около каждого такого объявления охотно и постоянно собирались кучки людей и, почитав, расходились, снова закури-

ло одного неосторожно брошенного окурка, и на месте полярного порта осталось бы лишь пожарище.

В Игарке нехватало рабочей силы для пуска завода номер два на полный ход, в Игарке пока не было ни одного свободного человека, которому можно было бы поручить расчистку города от щепы и строительного мусора.

Когда Игарка изнывала от нехватки



Полярный порт Игарка

вая в запрещенных огнеопасных местах. Администрация порта перешла к репрессивным методам воспитания — к штрафам недисциплинированного населения.

У некоторых домов стояли бочки на случай пожара. Я заглянул в них, они были пусты. Возможно, что радетельные домашние хозяйки в погоне за чистой водой этой водой полы своего дома. Во всяком случае в бочках воды не было. Приказы не помогали. Нужны были какие-то более жесткие меры.

Заводы выбрасывали ежедневно огромные кучи обрезков тонких, длинных и узких досок, которых называли макаронником. Возле каждого завода скопились горы этого макаронника — пороховые погребка Игарки. Достаточно бы-

строительного инструмента и горючего, четыре баржи, которые вел теплоход «Комсервпуть», были посажены на мель у Казачинских порогов. Эта посадка задержала темпы игарского строительства, увеличила и без того потерю драгоценного времени.

«Красноярский рабочий» привел баржи с рабочей силой в Игарку. Новые силы должны были очистить Игарку, уничтожить ее пороховой погреб.

Узкие места

Мне посчастливилось быть первым журналистом-участником перелета из Красноярска в Игарку. Через несколько дней после того, как самолет «Комсерв-

путь 2» опустился с нами в Игарской протоке, сюда прибыла специальная комиссия Всесоюзного объединения воздушного гражданского флота (ВОГВФ) для изыскания воздушной линии Красноярск — Диксон. Глава экспедиции Родзевич сам мало верил в возможность регулярных зимних полетов на последнем участке линии Дудинка—Диксон, где зимой часто свирепствовала такая пурга, что не видно было даже протянутой руки. Но от Красноярска до Игарки Родзевич считал прокладку воздушной почтово-пассажирской линии делом решенным. Эта линия должна была еще более приблизить полярный порт и его население к центру Сибири.

В то время как между Красноярском и Игаркой утверждалась воздушная линия — чудо современной техники, на водной линии, которую проложил красавец Енисей сотни тысяч лет назад, не хватало пароходов и почти отсутствовали сильные катера.

Заведующий Курейским графитовым рудником Семенов зашел на верповальной лодке из Курейки в Игарку, чтобы сообщить Лаврову о перевыполнении плана добычи графита. Вместо десяти тысяч тонн графита рудник выдал нагоря двенадцать тысяч. Графит лежал на берегу, его не на чем было сплавить в Красноярск. Не было арбузниц—мелкосидящих, чрезвычайно емких посудин, которые могли бы без повреждения пройти в Курейку.

В Ангару нечем было забросить таежный для вязки и счалки плотов. Геолого-разведочная экспедиция в составе четырехсот человек около месяца об'едала Туруханск, откуда она никак не могла из-за отсутствия транспорта дойти к месту своих горных работ на Нижней Тунгуске.

Угледобычу в Норильске для енисейских заводов и пароходов нельзя было ставить по-деловому без таких дорог, которые могли бы перебрасывать ежедневно и в любую погоду тысячи тонн груза. Вопрос о дороге и здесь стоял исключительно остро. Транспорт и здесь, на дальнем севере Союза, был узким местом, о которое нередко разбивались чаяния и надежды многих энтузиастов.

Четыре теплохода и ряд буксиров, пришедших через Карское море в Ени-

сей из-за границы, дела не решали, ибо развитие промышленности на Севере, буйное и безудержное, перегоняло рост транспорта.

Характерно, что даже сообщение между совхозом и портом Игарки производилось самым архаическим способом. Не было моторки, и люди в совхозе жили отрезанно от главного нерва, вдали от кипучей портовой жизни. И только к началу августа смастерили мост, связав по четыре бревна и уложив их друг за другом с одного на другой конец протоки. Этот мост получил быстро название Чортова и вполне заслуженно. При встрече на мостике нескольких человек бревна погружались в воду, а от дождей они становились скользкими, и многие пешеходы неожиданно купались в Игарской протоке.

Единственный в Игарке катер «Стрелу», который поспешно посулили датскому совхозу для доставки рабочих на сенокосные луга за двадцать, тридцать и даже сто пятьдесят километров от совхоза, и тот отнял порт. Рабочая сила отправлялась на сенокос в лодках, на что терялось огромное количество времени, которым принято особенно дорожить за полярным кругом.

Разрешение транспортной проблемы, постройка собственных верфей, насыщение Енисея двигательной силой было, есть и будет основной задачей Комсеверпути.

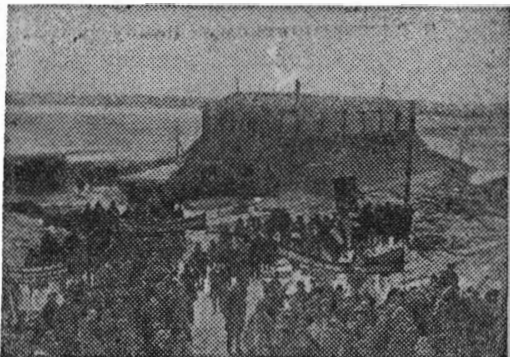
Придивненская верфь Комсеверпути близ Красноярска — первый камень в фундаменте енисейского судостроения.

Придивная и другие верфи сотворят диво на этой могучей реке мира. Енисей, освободившись от порогов и разбогатев судами и моторами, станет честной советской рекой, служащей новому человеку в тяжелых условиях Севера.

Игарка, Курейка, Ангара и Тунгуски не будут тогда изнывать под бременем несруженных сотен тысяч бревен, десятков тысяч тонн графита и каменного угля.

Гордость Игарки

В 1931 году в Игарке уже было три лесозавода, одна силовая установка и две улицы, Портовая и Сталина. Все дома были освещены электричеством и



Первое мая в Игарке 1931 г.

сносно работал телефон. Игарка имела даже свою собственную газету, которую издавала выездная редакция из Туруханска.

Тротуар и дорогу для езды заменяла настоящая (как это было принято считать еще во времена Бориса Годунова) мостовая.

Дорога была покрыта настилом, мостом из местной лиственницы, которая держалась здесь, несмотря на очень сильное пешее, конное и тракторное движение днем и ночью, вот уже третий год.

Начальство, так часто сменявшееся в Игарке, оставило по себе память.

Шукин создал мостовую и первый лесозавод.

Филиппов был замечателен тем, что не создал ничего.

Комаров вздумал привить форму армейского командования всем строительствам и заменить всю кооперацию одним каптенармусом.

Рыбин понастроил уборных из строганного теса, а бараки — из горбыля и был первым насадителем полярного бюрократизма.

Иванов создал школу безграничного вранья, заверяя Комсервпуть и Экспортлес, что все идет прекрасно в Игарке, что будет выполнено одиннадцать тысяч стандартов, и сам в наигорячее время ушел в длительный отпуск.

Так ценил работу игарских руководителей Лавров, председатель правления Комсервпути.

За два года в Игарке сменились десятки ответственных работников.

Уходя с последним караваном из Игарского порта, убегая от оледенения ре-

ки, которое быстрыми шагами надвигалось в октябре на Енисей с севера, Лавров оставлял обычно крепко сколоченный аппарат в порту на зимовку. Но проходила зима, и ни одного человека не оставалось от аппарата в Игарке. Они не погибали от голода, лютых морозов или цынги. Их расхищали, давая новые назначения, туруханский рик — власть над Игаркой. Туруханскому краю работники нужны были позарез. Игарка же оказалась отличным отделом кадров для турханского соевта.

Обычно в самое горячее время — игарскую весну — здесь некому было руководить работами, и на волне событий подымались случайные люди.

Долгожданный караван со свежей рабочей силой прибыл наконец в Игарку. Он стоял на мели, посаженный теплоходом «Комсервпуть», он останавливался подолгу из-за туманов. На этих же баржах пригнали много рогатого и мелкого скота в Игарку: коров, овец, свиней.

Среди партии захудалых коров-сибирячек, присланных с последней баржей в Игарку, нарядно выделялись молодые коровы-холмогорки и несколько холмогорских быков.

Им предстояло создать в Игарке породу, устойчивую против коварного полярного климата. Эти холмогорки должны были в недалеком будущем вернуть своим молоком молодое поколение човых граждан Игарки, детей ее строителей.

Гордость Игарки — конюшни — содержали отличных лошадей. Добрые, сытые и гладкие кони совершали огромную и тяжелую работу в порту по подвозке бревен и пиломатериала.

Лучший игарский производитель «Туман» успел дать большое и замечательное потомство. Сыновья — жеребчики «Тумана» — были новой подрастающей силой Игарки, которой, несмотря на приход автовозов, нужен был еще конный двор.

Пара английских белых свиней в совхозе Игарки еще в начале весны дала приплод — пять породистых поросят. Отец этого семейства, добродушно хрюкающий англичанин, весил с хорошую сибирскую корову, да и сама мамаша чуть не уступала своему муженьку.

Свиное семейство любило полежать на мху и по-своему предолго беседовать.

Даже здесь, на крайнем севере, они не изменяли своей чопорной воспитанности и подобно нашим сибирским хрюкалам в грязь никогда не лезли и тщательно ее обходили. Даже поросята этого вежливого семейства ложились спать только на сухом мху.

Свиньи, раскормившиеся в самом порту до того, что едва таскали свои тучные тела, сами знали дорогу в общественную столовую, где их обычно кормили об'едками.

Сын «Тумана» — красный жеребчик «Алешка» — в часы обеда также подходил к столовой и вприсосовывал свою красивую голову в ожидании подачи. «Алешку» все знали в Игарке. Часто днем он ходил под окнами домов, выпрашивая куски хлеба.

Игарка обогащалась уже своими игарскими конями, коровами и свиньями.

Игарка увеличивала с каждым годом молочный и мясной скот для своего рабочего поселка. Это было необходимо для борьбы с цынгой, которая любила на севере по веснам выползать из своего зловонного логова.

Енисей шумит

Низовка, северный ветер, хозяйничала уже третьи сутки. Енисей почернел, местами покрывался туманными пятнами и пенился у берегов, усталых галькой и плавником. Не видно было берегов, так широко раскинулась река. Взволнованный ветром, Енисей шумел, как море, неумолчно и гулко. Комары тучами носились в воздухе, и от их укусов не спасал даже накомарник — сетка, которую они облепляли всю сплошь.

У берегов Енисея свободные люди, разведя огромные костры из плавника, удили рыбу — ершей и красноперок — себе на уху. Чем-то нужно было восполнить недостаток мяса и жиров.

В Игарке у здания конторы толпился народ. Все читали кто вслух, кто про себя написанный масляными красками на огромной доске приказ № 101 по Игарскому лесопромышленному комбинату Комсеверпути от шестого июля.

«Реконструктивный период, — говорится в приказе, — связанный с выполне-

нием ответственных задач по строительству и лесозаготовительному плану СССР, ставит ответственные задания перед Игарским лесокombинатом — выполнение как минимум девяти тысяч стандартов экспортного леса. За выполнение экспортной программы рабочим, служащим и адмтехперсоналу, показавшим действительно ударные темпы работ, ассигнуется четыре тысячи рублей для их премирования».

Далее в приказе устанавливались формы премирования. На первом месте стояло призовое переходящее бархатное знамя ВЦИК, на втором — воздушный полет Игарка — Красноярск, на третьем — посылка ударников на архангельские лесозаводы через Карское море. Затем следовал длинный перечень различных дефицитных промтоваров-премий.

Подписывал этот исторический для Игарки, всколыхнувший всех рабочих приказ директор лесокombината Малин

— Ну, как, Малин, — спрашивали директора комсеверпутьцы, — выполнишь контрольные цифры?

— Шесть тысяч стандартов гарантирую.

— А семь с половиной?

— Может быть, но твердо не скажу. Вы все хотите, чтобы я стал не только хозяйственником, но еще и предсказателем! А я же не пророк!

— Пришьем тебе правый оппортунизм на практике, ты по-другому заговоришь! — нажимали комсеверпутьцы.

Организовался штаб содействия лесозаготовке. Для работы на втором лесозаводе пошла часть игарской служилой интеллигенции. Нужно отдать ей должное, половина добровольцев бежала с работы на следующий же день, но остальные работали честно до прихода каравана со свежей рабочей силой.

По показателям выработки, которые вывешивались на досках в конторах завода, можно было видеть, как настойчиво боролись рабочие за выполнение плана, не снижая взятых темпов, но всемерно и каждодневно их увеличивая.

— Знамя ВЦИК передаем сегодня первому заводу, — говорил один из профсоюзников Игарки.

— Почему первому? Подождем, что покажет ночная смена, — говорил Ма-



Придивненская верфь Комсервпути на Енисее. Постройка баржи

лин,—я думаю, что первенство по выработке сегодня возьмет второй лесозавод.

Дело соревнования стало делом чести, делом славы, делом доблести и героизма рабочих игарских лесозаводов. Малейшая задержка конвейера вызывала простой всего второго завода, и в первые дни, до приезда специалиста-рационализатора, рабочие кустарным способом, но быстро сами изживали эти простои.

Шумел Енисей, гудела Игарка гудками лесозаводов. Игарка дралась за выполнение экспортной программы.

Новые люди

В Игарку приходил и оседал разный народ. Многие шли сюда из центральной Сибири за «длинным» рублем. Здесь платили за полярные условия, за «дождевые», за сверхурочные работы, которых накапливалось изрядное количество, потому что нехватало рабочих рук, а кончить задание в срок было необходимо.

К приходу иностранных лесовозов из Карского моря здесь уже необходимо

было все для них приготовить. Каждый день простоя иностранного судна обходился в пятьдесят фунтов валютой, в пятьсот рублей золотом. Своевременное выполнение контрольной цифры по лесоэкспорту стало боевым лозунгом Игарки.

Навербованная комсервпутскими отделениями в Омске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, шла сюда, на север, рабочая сила, которая стремилась одновременно подзаработать и побывать на новых местах, посмотреть север.

Шумным потоком шел по Енисею переселенец из Бурятии, Центральной Сибири и даже Украины.

В конторах Игарского лесокombината работали девушки, которые променяли тишь сибирских провинциальных домишек на шум морского порта, куда летом приходили океанские суда из Лондона, Гамбурга, Данцига и Бергена, где можно было увидеть моряков англичан, немцев, норвежцев индусов и даже негров. Манящая даль и щекочущая мысль неизвестности влекли молодежь к этому чуду на севере, морскому внутреннему порту на реке в восьмистах километрах от ледовитого Карского моря.

Здесь кормили лучше, чем в Красноярске, не хуже одевались и скорее можно было достать дефицитные промтовары.

На очереди игарского дня стояла постройка постоянного вместительного клуба для граждан нового города. На днях открылся первый игарский кинематограф. О культурном развлечении, о клубе, театре, кино и помещениях для них организаторы Игарки в свое время много говорили, но слишком мало сделали за два истекших года.

Игарка должна быть городом, где нет ни одного лишнего человека, где каждый занят делом, где каждый может получить все для удовлетворения своих культурных нужд.

Я просмотрел десятки протоколов игарского рабочкома. Каждое заседание, на котором выкуривалось несколько килограммов махорки и которое длилось по пять-шесть часов кряду, было посвящено исключительно разбору заявлений рабочих и служащих о приеме в члены профсоюза. Конечно это было очень важным делом для рабочкома Игарки, потому что в члены профсоюза могли попасть здесь, в этом медвежьем углу, заведомые, но скрывшиеся от суда враги рабочего класса и советов. Но рабочком занимался только этими вопросами и прозевал все культурное дело в Игарке. Это было уже непростиительно. При большой жизненности общественных организаций в Игарке давно уже имелся бы, как при каждом рудуправлении в Донбассе, свой дворец культуры. Скоро придут иностранные моряки, и снова негде будет с ними как следует встретиться рабочим и работницам Игарки, рассказать о своем героизме, о своих неслыханных достижениях, попеть и поплясать вместе.

Игарка остро нуждалась в культурной революции, в культурном сдвиге. Если здесь еще не научились по-хозяйственному ставить и разрешать вопросы экономические, то вопросы культурные отодвигались совершенно на задний план.

Никольский — новый начальник Севенстроя — привез с собой в Игарку большие запасы молодой культурной силы: инженеров, техников, врачей, окончивших советские вузы, зажженных любо-

вью к Северу и только поэтому законтовавших себя на два томительных года и четыре месяца работ в порту.

Эти силы должны руководить не только хозяйственной, но и культурной жизнью нового города, готовить рабочие кадры — носителей советской культуры.

В Игарке подрастает своя молодежь. Дети Игарки, не видящие ежегодно по три месяца животворящего солнца, чувствуют однако себя здесь так же, как где-нибудь под Красноярском или Иркутском. Они получают молоко и жиры, их одевают тепло.

Недалеко от порта в станке Игарка отжило свой век уже несколько поколений полярных людей. Они чувствовали себя отлично, редко болели, но зато боялись пароходов, этих постоянных источников инфекции, которую завозили сюда с далекого юга.

В порту Игарке подрастают новые люди, новое игарское поколение. Оно должно получить новое, социалистическое воспитание.

Гиметнабы

Гиметнаб — гидро-метеонаблюдатель — следит ежедневно в одном определенном месте нашей планеты за температурой воды и воздуха. Станция, в которой производятся записи о погоде и состоянии воды, носит название гиметстанции.

В Игарке гиметстанция принадлежала Убекосибири — управлению по обеспечению безопасности кораблевождения в малообследованных водных бассейнах Сибири.

Тысячи таких станций всего Союза и всей планеты сообщают метеосведения в центральное бюро погоды, и там из столбиков цифр составляют карты погоды — путевки для морских и воздушных кораблей, сигналы для совхозов и колхозов о начале сева, сенокосе и уборке.

Метеорологическая станция в Игарке была одной из первых построек порта.

Пятнадцатого августа 1929 года гиметнаб Владимир Теплоухов впервые записал сведения о погоде в Игарке: в семь часов утра, в час дня и девять вечера. Вывел среднюю, — получилось + 15,3°. Это и была наивысшая темпе-

ратура за все игарское первое лето. По утрам даже в августе температура доходила здесь нередко до $+3,7^{\circ}$. А через год — двадцать девятого августа — средняя понизилась до $+2,6^{\circ}$, и утром температура упала до $0,1^{\circ}$. С середины августа зарядили ежедневные дожди, они прибили жалящий рой мошки, комаров, паута, но надоедали бесконечной своей постоянностью.

Иней появился в Игарке уже с августа, а первый снег выпал обычно в сентябре. Двадцать третьего сентября 1930 года замерзли лужи в Игарке, двадцать шестого замерзли мелкие озера, а двадцать седьмого после метели Игарскую протоку затянуло тонким льдом.

В октябре начинались морозы. Они были вначале слабее диксоновских, но доходили в этот месяц порой до -26° , как это было в последний день октября 1930 года. Самым лютым месяцем зимы считали декабрь. В 1930 году, двадцать шестого декабря, температура упала до $-55,9^{\circ}$. Но несколько дней в году, а иногда и недель ежегодно в Игарке стояла крымская погода. Небо было безоблачно и яркоголубое. Затихший Енисей блестел, будто покрытый зеркальным стеклом. В протоке и самом Енисее тогда купались люди и загорали на пляже. Температура воздуха доходила до $+23^{\circ}$. И на Совхозном острове в один из таких исключительных дней было твердо решено строить полярный дом отдыха для рабочих и служащих Игарки.

Чернобородого Теплоухова, мечтавшего организовать в Игарке музей, ревностно хранившего кости мамонта, найденные здесь при рытье котлована для фундамента паросиловой установки, сменил жизнерадостный Анатолий Егоров. Наблюдателю Егорову зимой не было покоя от назойливых посетителей, спрашивавшихся о морозе.

— Ну, как есть пятьдесят?

— Пока сорок восемь.

— Ой, врешь, смотри узнаем, попадет тебе! — грозилась рабочие.

На лесозаводах Игарки было установлено правило не работать в пятидесятиградусные морозы. Вот почему здесь так часто зимой осаждали гиметстанцию Убекосибиря.

В свободное время зимой Егоров запрягал пятерку собак в небольшие нарты и мчался по протоке в Енисей и дальше в станок Игарку гостевать.

Егоров выдрессировал собак, никогда не знавших лямки, и они служили ему честно и послушно. Его Норд был лучшим ездовым в Игарке.

Бревенчатые стены комнаты, в которой зимовал Егоров, были увешаны его рисунками, которые говорили о льдах Карского моря, белых медведях, тайге и ее сохатом — лосе.

Егоров приютил у себя весь экипаж воздушного корабля «Комсеверпуть 2». В крохотной камерке на полу ухитрялись высыпаться четверо воздушников; не считая самого гостеприимного хозяина.

Первого мая, когда Москву и другие города Союза заливал кумач знамен и плакатов, в Игарке было минус семь с половиной градусов при сильном ветре.

Впервые праздновала Игарка праздник раскрепощения труда. Оркестра в порту не было, его заменили гармошка и хор из рабочей молодежи.

Под окном агронома Игарки были посажены в грядках лук, огурцы и картофель. Постоявшее несколько дней тепло развеселило агронома, и он мечтал уже о том, чтобы засеять на-днях в совхозе целый гектар капусты, как вдруг июльская температура, доходившая до $+24^{\circ}$ днем, упала наутро до $+7^{\circ}$, при которой покрещался рост овощей.

— Вот и занимайся тут земледелием! Придется переходить под стекло в парники и теплицы, — говорил агроном совхоза. — Застеклим десять гектаров и дадим Игарке на всю зиму свежих овощей. Вот это будет дело!

Так говорил человек, наблюдавший погоду и делавший из этого практические выводы.

Метеостанция посылала по радио свои наблюдения трижды в день в Москву, в Ленинград и Архангельск, где и составлялись по этим данным карты погоды.

Скверные навыки

Я впервые увидел буксирные теплоходы Комсеверпути в 1930 году близ острова Вайгач у самого входа в Карское море. Они только-что пришли из Дан-



Норд — лучший ездовой Игарки

цига, где были спущены на воду для того, чтобы увеличить тяговую силу на Енисее. По этой великой и своевольной реке трудно было плотам ятти самоплавом в Игарку. Баржи с грузом продовольствия и стройматериалов обыкновенно тащились за кормой этих нарядных и сильных полуморских кораблей. Осадка их была невелика, они не так опасались когтистого грунта Енисея, как обычные речные пароходы. Мощные дизели фирмы «МАН», которой платили золотой валютой, делали теплоходы пригодными не только для плавания на большой реке, но и для морского каботаж.

Тремя такими теплоходами обогатился Енисей в 1930 году. «Советская Сибирь», «Красноярский рабочий» и «Комсеверпуть» совершили грандиозный морской поход из Данцига вокруг берегов Скандинавии и Мурмана к проливу Югорский Шар и Карским ледовым и туманным морем — к каменистым низовьям Енисея. Но по пути двух из них бросили на помощь погибавшему морскому соратнику «Зверобою», дававшему сигналы бедствия из Пясинского залива.

Возвращаясь после карских операций 1930 года, «Комсеверпуть» и «Советская Сибирь» замерзли на бере Енисея в ста километрах от Красноярска. Поход был слишком поздний, и люди не смогли перегнать обледение реки. Река захватила корабли и заставила их зимовать в неудобном, опасном для весеннего отстоя судов месте. Когда горы енисейского, тоосистого льда тронулись поздней весной, кроша береговой лес, разворачи-

вая и унося на себе обломки каменных скал, трудно пришлось теплоходам. Они стояли на пути, которым шел, сметая все, лед Енисея в Карское море. Сотни людей и сотни лошадей строили на Енисее долгой зимой огромную ледяную дамбу, забучивая ее береговым камнем. Эта дамба должна была отвести в сторону ледовый поток, спасти корабли от неминуемой гибели, от срыва лесоэкспортных операций и всего дела Енисейского Севера. Труд людей не пропал даром. Дамба сдержала удары первых льдов, торосившихся, лезших на нее, словно встарь на крепость взбирались в железных кольчугах и шеломах бесстрашные воины. Теплоходы пришли в красноярский затон и после ремонта снова выступили на линию речного фронта.

Навигация только еще начиналась, но теплоход «Комсеверпуть» имел уже две аварии на Енисее. Он вышел из Красноярска в конце июня с первым караваном в Игарку и не один, но с длинным хвостом барж. В этом караване в Игарку шла рабочая сила, продовольственные грузы и коровы, овцы и свиньи для совхоза Игарки.

Перед Казачинским порогом караван отчалил у самого берега лихтер и опустился с двумя баржами к порогу. На самом сливу, на самом сильном течении у теплохода лопнула вдруг штурвальная цепь, корабль потерял управление, его вмиг нанесло на камни и поставило поперек пенящегося Енисея. А сзади на буксире за кормой теплохода неслись две баржи с людьми и грузом. Они должны были врезаться в середину корпуса теплохода, разбить его пополам.

Люди, бывшие на передней барже, видя неминуемую гибель, метались по палубе, крича, разсыкая близких. Кто-то из администрации, набранной для Игарки, одел пробковые пояса. Но вряд ли эти пояса спасли бы этих трусов. Их разбили бы камни порогов или потащили на дно остальные утопавшие.

Боцман теплохода сбил с крюка буксир, и баржи понесло уже по воле взбешенного Енисея.

С баржей номер восемь и второй побросали якоря, чтобы зацепиться за камни и остановить смертельный разбег. Но река оборвала якоря, словно нитки.

— Эй, на руле! Вороти вправо! От теплохода!

— Товарищи! — крикнул седой водолив баржи номер два.—Успокойтесь! Нам теперь одно спасенье! Кошка! Если она не поможет, тогда ждать нечего! Послушайте меня, старика, тридцать лет хожу по этим порогам!

Матросы и часть рабочих бросились к кошке, дружно выкинули ее за борт. Кошка зацепилась железными лапами за камень и на миг задержала баржу, но Енисей пересилил кошку, обломав ей лапы, и баржу понесло снова на камни. Люди дружно подняли и выкинули снова ее за борт, она ухватилась двумя оставшимися уцелевшими лапами за подводный камень, над которым ходили буруны, и баржу стало задерживать. Она тихо прошла, чуть скривнув бортом о борт теплохода, и без удара напозла на каменную плиту.

На «Комсеверпути» скоро исправили штурвальную цепь, и караван вышел из порогов.

Дойдя до устья Нижней Тунгуски, на самом перекате теплоход снова выскочил на мель. Его развернуло боком, и баржи понесло опять на теплоход.

На этот раз буксира не сбили. Старик-водолив снова кричал рулевым, как держать обе баржи, и задел баржей номер два только носовую часть теплохода. Баржа номер шестнадцать наскочила на номер два и поломала ей рули.

Мы шли из Усть-порта в Игарку на теплоходе «Красноярский рабочий». Я обратил внимание старого лоцмана на то, как не похожа теперешняя команда теплохода на прошлогоднюю. Если в прошлом году это были опытные моряки и старые речники, то теперь здесь осталось всего лишь несколько знающих и любящих дело людей. Небольшой костяк.

Через несколько дней после нашего возвращения из Усть-порта в Игарку было получено радио с «Красноярского рабочего» о том, что теплоход «Комсеверпуть» сел снова на мель в ста шестидесяти километрах от Красноярска.

Садиться на мель на море и в реке — дело обычное. Но когда один теплоход в течение одного месяца садится на реке три раза, это уже становится навком, скверным навком, привычкой.

Такие посадки срывают план перевозок на Енисее и у Комсеверпути, и у Госпара. Это нетерпимо!

Нужен более тщательный подбор людей на такие замечательные суда, как теплоходы Енисея. Иначе к следующей навигации величайшая река останется без них.

Команда теплохода «Комсеверпуть» должна помнить, что на его борту начертано имя пионерской организации полярного Севера. Команда не должна ронять чести имени своего теплохода.

Кадры речников Енисея чрезвычайно слабы. Этому важному делу Красноярск и Госпар уделили слишком мало внимания. Речное училище и лоцманские классы должны быть созданы в Красноярске. Без правильно поставленной лоцманской службы на Енисее и отлично подобранные команды не проведут благополучно теплохода. Лоцманы Енисея пользуются указаниями своих дедов о глубинах реки. За десятки лет Енисей так перепахал в весенние ледоходы свое русло, что нужно только удивляться тому, как еще до сих пор вообще ходят по Енисею пароходы. От кустарщины пора перейти к научной постановке дела.

Енисей должен иметь отличных речников и лоцманскую службу.

Северу необходим транспорт.

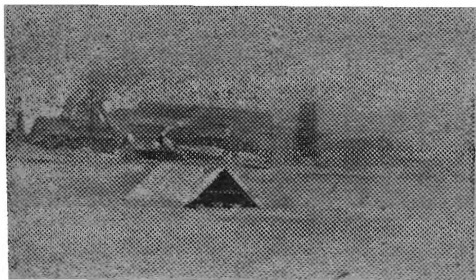
Север должен его получить.

Он служит сейчас пятилетке, но, обогащенный транспортом, он щедрее станет отдавать свой графит, уголь, лес, морского зверя и пушнину для дела социалистического строительства.

У разбуженных берегов

Десятого августа в полярный порт пришли иностранные и советские океанские лесовозы.

С совхозного острова, откуда открывался енисейский простор, видно было, как в Игарку и из Игарки шли пароходы, будя покой берегов, развешивая черное кружево дыма на верхушках лиственниц, берез и кедров. Пришел в Игарку «Спартак» — привез баржу е рабочими. Прошел «Красноярский рабочий». С одной баржей стал на якорь «Комсеверпуть» — мощный буксир, недавно снявшийся с мели. Впервые прибежал в полярный порт быстроходный



Игарка зимой. На переднем плане стройки, занесенные снегом по самую крышу. Вдали виден лесозавод № 2

«Коссиор» и поторопился удрать к верховьям, боясь усиления штормовой погоды. Пробасил в Игарке гулко и протяжно старей, но замечательный пароход «Кооператор», он пришел сюда с Нижней Тунгуски, где высадил горно-разведочные партии инженера Дорофеева — разведчика Тунгусбасса.

Рост спроса увеличивал лесозаготовки по Ангаре, Касу, Дубчасу, Нижней Тунгуске. Рост лесозаготовок требовал увеличения числа лесопильных заводов в Игарке. Каждый новый завод нуждался в новом притоке рабочей силы. Поднимались новые лесозаводы; приходила в Игарку с каждым пароходом свежая рабочая сила. Игарка, в которой зимой 1929 года было триста жителей, должна была стать зимой 1931 года городом с двенадцатью тысячами людей. Чтобы принять новую рабочую силу, нужно было построить не один дом, не один барака, а, быть может, сотни домов и бараков. Весь лес, который раскидало весенним ледоходом по берегам Игарки и Совхозного острова, должен был пойти на застройку. Все до единой дощечки должны были подобрать люди, чтобы построить берег, укрыться на зиму от морозов и пурги в долгую полярную ночь.

Молодые березки шли на шалаши и на укладку деревянной мостовой в просеках тайги. Редела прибрежная тайга, пятясь от человека, вооруженного звонкой пилой и крепким топором.

Тесно становилось в Игарке. Заселение переходило уже границы Медвежьего лога, и тишину на Совхозном остро-

ве должна была вспугнуть стройка сотен домов для рабочих порта.

В несколько дней щепу и строительный мусор возле домов Игарского совхоза убрали вновь прибывшие силы и такую же работу в противопожарных целях должны были срочно исполнить в самом порту.

— Дайте нам справиться с лесозаготовительной программой, — говорили руководители игарского строительства, — мы приберем Игарку, сделаем древонасаждения возле домов, досчатые тротуары, и вы не увидите больше в порту женщин в болотных сапожищах. В Игарке не станет мусора и грязи.

Товарищи сплавщики

«Вторая смена лесозавода № 2 объявила себя ударной. Привет ударникам! Кто следующий?» — спрашивал огромный плакат, растянутый над мостом Игарского лесозавода-гиганта.

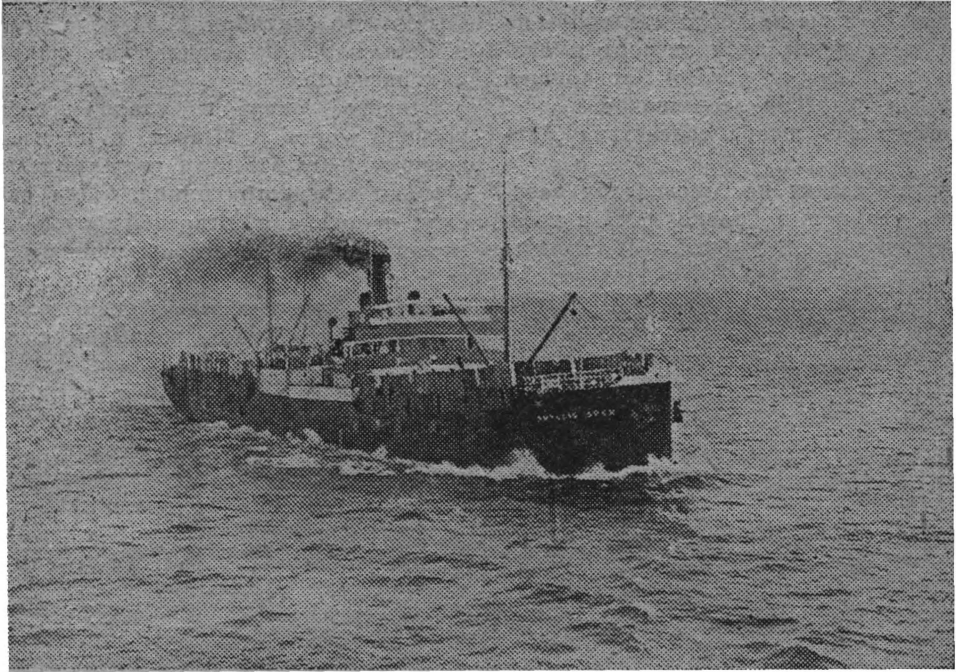
По этому мосту тянулись конвейером из протоки еще влажные, скользкие бревна на распиловку под быстроходные рамы.

На заводе был небольшой простой из-за того, что сплавщики, стоявшие внизу, на плотках в протоке, подавали конвейеру бревна без разбора. Сплавщики не обращали внимания на то, коротко или длинно бревно, толсто оно или тонко, есть ли на ней метик, трещины. Сплавщики всё гнали к конвейеру.

Но на заводе с разбором пилили лес. За границу по договору должен был пойти только первосортный пиломатериал, другой не принимался. И вот вместо того, чтобы пилить подаваемый снизу материал, ударная вторая смена должна была уже на самом заводе отбирать хорошие бревна для распиловки. На это уходило дорогое время. А за смену завод был обязан напилить двести восемьдесят кубометров — иначе не выполнялся, срывался план.

И поэтому с таким напряжением напрягались рабочие и работницы лесозавода потерянное из-за сплавщиков время.

Я стоял у обрезного станка, за которым девушка-работница проворными ру-



Морской пароход с полным грузом сибирского лесоэкспорта идет по свободному от льдов Карскому морю, держа курс к берегам Европы

ками сторцовывала напиленные доски, раскидывая их по размерам на ленты разных конвейеров. Наметанный глаз выталкивал то одну, то другую руку за нужной доской, и каждой доске работница давала требуемое стокнотом направление.

Предправления Комсеверпути Лавров сам ходил светлой, как день, ночью к сплавщикам по зыбким и скользким бревнам, балансируя, словно канатоходец, и в руке у него вместо зонтика циркача был небольшой багор плотовщика. Лавров объяснял плотовщикам всю важность задачи, которую они разрешали здесь, на протоке.

Лавров написал обращение к сплавщикам, отдал его в типографию игарской газеты, и вскоре на всех стенах Игарки забелела первая печатная прокламация. Обращение штаба содействия экспорта ко всем рабочим и командному составу лесопристаней.

«Товарищи сплавщики!

Рабочие лесозаводов № 1, 2 и 3 выполняют честно свое обещание, данное партии и правительству о стопроцентном выполнении экспортной программы игарских лесозаводов.

Они выполнили задание штаба содействия экспорту. Можно надеяться, что ими в ближайшее время будут предъявлены еще более повышенные встечные планы распиловки. Значительно подтянулась и техническая часть, сократив простои заводов из-за технических неполадков.

Дело теперь осталось только за вами, сплавщики!

Несмотря на стопроцентное выполнение плана распиловки, на биржу пиломатериалов поступает только 75 стандартов ежедневно вместо 100 стандартов, необходимых для выполнения экспортной программы. Это является результатом плохой сортировки посылаемых вами для завода бревен.

Их распиловка даст экспортного леса только 32 проц. вместо нужных 40 проц.

Вам необходимо принять самые срочные меры к подкреплению этого слабого участка игарского пролетарского фронта.

Товарищи сплавщики! Штаб содействия экспорту надеется, что вам также близки интересы нашего пролетарского

государства и вы не допустите, чтобы по вашей вине провалился экспорт и оказались напрасными усилия товарищей ударников игарских лесозаводов.

Председатель штаба содействия Лавров».

Ударные смены на лесозаводах давали все, что может только дать в течение рабочего дня человек. А больше того, что давали ударники Игарки, человек дать не мог.

Чтобы сберечь этот героический труд, воззвание и призывало сплавщиков Игарки.

Теперь сплавщики решали все дело игарского лесозэкспорта, дело чести Игарки.

Полярный порт Игарка выполнил свой долг перед страной Советов. Заводы Игарки с издешком получили от сплавщиков и плотовщиков бревна для распиловки.

Десятого сентября 1931 года игарцы напилили 9.000 стандартов пиломатериала для экспорта.

Второго октября ударил первый крепкий мороз в Игарке, и по иссиня-черному небу забегали изжелта-зеленые огоньки северного сияния. Два океанских парохода в Игарской протоке принимали последние стропы пиленого леса к себе на палубу. Трюмы пароходов были уже полны лесным товаром.

Этим последним кораблям с утра предстоял далекий и трудный поход из Игарки через Карское море в Баренцovo и оттуда к берегам Англии.

Рабочие лесозаводов Игарки, сплавщики, плотовщики и грузчики, выполнили взятые на себя обязательства.

Игарка проводила иностранные пароходы в Европу с полным грузом лесозэкспорта.

Литература и искусство

1. РОМЕН РОЛЛАН — Предисловие к „Лялюли“. 2. АРК. ГЛАГОЛЕВ — „Пустыня“
П. Павлевки.

1. ПРЕДИСЛОВИЕ К „ЛИЛЮЛИ“¹⁾

Ромен Роллан

Мало есть произведений, в которых веяния войны чувствуются так непосредственно, как в «Лялюли». Вероятно эту пьесу назовут отместкой французского смеха за войну.

А на самом деле она была задумана и начерно почти целиком написана в промежуток между июлем 1912 г. и январем 1913 г.

Значит, война никого не изумила, кроме тех, кто притворился изумленным, потому что сам ее готовил, да кроме разве послушного стада, которое щиплет себе траву, ничего кругом не видя.

Огправною точкой «Буриданову ослу» (таково было первое заглавие пьесы) в его первоначальной пятиактной форме служил крах прошлого. Еще за два года до войны всюду слышалось, как трещит старый мир, его извержением только и была война. Первое действие моей пьесы изображало социальную разруху, причиненную не пламенем, а водою. Потоп без Ноева ковчега. Обезумевшие народы пускаются наутек. Каждый из беженцев хотел бы захватить с собой все домашние вещи, и так как выбирать трудно, то каждый выбирает самую бесполезную вещь. Старикам не хочется расставаться с их старой мебелью; они колеблются, брать ли им кресло или столик, в конце концов составливают свой выбор на лампе с колпаком. Литератор берет свой

собственный бюст. Молодой наивный поэт — собственные стихи. Еще кто-то — зеркало. Великие политики-буржуа нагружают ручную тележку стопками бессмертных принципов 89-го года Прав человека и процентных бумаг: все это прикажут они тащить честным рабочим. Когда тележка пускается в путь, на нее присаживается один из этих буржуа, самый что ни на есть краснойбай. Куда они пойдут? Направо? Налево? На улице поднимается спор. Консерваторы предлагают вернуться назад, к бугорку, возвышающемуся вдаль. (Там виднеются символические развалины превращенной в крепость церкви и виллы.) Но чтобы туда попасть, пришлось бы итти по затопленной равнине. Рабочие без сожаления уходят. В другом месте хуже не будет! Чета влюбленных относится к переселению, как к свадебному путешествию.

Помимо Обманчивой Мечты, главными действующими лицами являются Полишинель и Осел. Из горба Полишинеля, можно сказать, как из яйца и вылупилась вся пьеса «Лялюли». В эпоху -социального кризиса Полишинель — спасительный смех. Колà Бреньон — его единокровный брат. И даже он явился на несколько месяцев раньше: ведь Колà задуман в апреле — мае 1913 года. Итак Полишинель был первым, и если фраза Колà украшает теперь входную дверь книги «Лялюли», этого требовала просто справедливость. Лялюли — старший Колà, Колà горбатый, вольноду-

¹⁾ Предисловие написано специально для русского издания «Лялюли», печатаемого в изд. «Время». *Прим. пер.*

мец, наблюдающий и поднимающий насмех трагедию своего времени.

Другие изображали вечного странника, в существе своем — иностранца, изгнанника, нигде не находящего родины. Полная противоположность ему — Полишинель. Он — всюду и всегда встречающийся коренной житель, тот мещанин-зевака, которого можно найти в любом городе, гражданин любой страны, он всюду у себя дома. Ничто его не удивляет и все забавляет. Он бродит, смотрит и соображает, надо всем смеется, ко всему прилаживается. На каждом шагу останавливается, чтобы взглянуть на проходящих и поболтать. Но он проворен и хитер и скоро наверстывает потерянное время. Пес-зубоскал, то он впереди, то позади, то посередке, то во главе движущейся колонны. Смехом и беспечностью лает под ноги каждому. Чем больше дурачков, тем больше и смеются.

Однако вовсе не он зовет двинуться дальше. Ему все равно, здесь ли быть или там. Зовет Обманчивая Мечта, ее волшебный голос (не раз в течение пьесы будет он слышен), который производит такое впечатление, точно ночью блеснул луч солнца. Его музыка так сладостна, что шум споров и тревог сразу стихает, все хотят ее послушать. Ни у кого нет сил заговорить, пока она не умолкнет. И вот все двинулись в путь вслед за ней. В деревне остаются только глухие старики.

Остается также Осел — Буриданов осел и его двойник, его хозяин и слуга, Жано-ослятник. Малого роста сорокалетний буржуа, вечно колеблющийся между будущим и прошлым, от пустяка приходит в волнение, пустяком и довольствуется, всего больше ему по душе покой, но обстоятельства постоянно заставляют его двигаться, он старается однако как можно меньше двигаться и так всегда изловчиться, чтобы итти последним. Тип среднего человека, который всюду устроит себе нору, который не хочет меняться, о каком бы то ни было прогрессе говорит недоверчиво и иронически, все же принимает прогресс, но не очень близко к сердцу, и в конце концов от этого он не чувствует себя хуже. До конца первого действия упря-

мец сидит запершись у себя в домишке. Полишинель, как рыба в воде, плавающий в суматохе, уже перешел мост на краю деревни, как вдруг, пересчитав свое стадо, замечает, что ни Осла, ни Ослятника нет. Идет обратно и стучит в дверь. Жано добродушно выглядывает из чердачного окошка, на голове у него коленкоровый колпак. Полишинель приказывает ему спускаться, тащит осла из стойла и гонит их обоих — один везет другого — к мосту. Здесь они останавливаются. Переходить? Или возвращаться?

Осел (нерешительно). Итти направо? Итти налево?

Полишинель. Бац! (Пинком в зад.)

Осел (перейдя через мост). Спасибо!.. Теперь выбор мною сделан.

Во втором действии, с бугорка, глазами глумящегося Полишинеля смотрят на движущихся по улице переселенцев. Уже в набросках 1913 г. можно найти черне те силуэты, которые позже составят шутовской кортеж Лилюли: вооруженный Мир, безголовый Человек, шагающий Человек, символ незрячей жизни; Разум с повязкой на глазах; Любовь, всезрячая, но безмозглая (чтобы любить и нужен ли мозг?)... Главный бог, снабженный форменным платком разных цветов и меняющий его в зависимости от того, какие цвета несут проходящие мимо; одетая арлекином Правда, разделяющая ложе с богом и постоянно наставляющая ему рога. Завершает шествие целый сброд божков, которыми запаслись все эти дурачки — у каждого свой, — так они боятся остаться без бога...

В заключительной сцене почти всем нашлось место, всему, что принесла с собой война: катастрофа и ее виновники.

Произведение осталось в наброске, прерванное болтовней Колла, я вернулся к нему в августе 1915 года в Туне, затем в Женеве и Вильневе в 1917 г.

На этот раз классовая борьба обозначалась в нем уже вполне. Реакционные партии, которых в первом действии собития побудили покинуть старую дерев-

ню, старый режим и вместе со всем народом переселяться к будущему, возвращаются во втором действии к своим обычным замашкам и задерживают движение вперед. Тайком сговариваются они с реакционными партиями из соседних городов так направить все свои народы на самую узенькую дорогу, чтобы, подобно баранам, роковым образом столкнулись они лбами. Начинается война. Одуревшие народы позволяют гнать себя в горное ущелье, и одни другим заграждают там путь. Схватываются в рукопашную и лупят друг друга и катаются в глубине оврага, а эксплуататоры и старые боги смотрят на них подбадривающе. В то же время, укрывшись от ударов, разделившись на два хора, стоящие один против другого, интеллигенты обеих стран дерут глотку и добродетельно журят бойцов.

В начале 3-го действия все оказываются внизу под утесом, памяти, измененные, избитые, уцелевших почти нет, и стыдно им, как лисе, которую обманула курица. Главного бога, главаря, порядком пощипали. Он весь в лохмотьях, но апломба нисколько не потерял. Штопая свои обноски, он собирается теперь играть роль старого благодушного бога-миротворца, бога всех народов, которые он натравил друг на друга.

Однако от первого же его елейного слова разбитые народы выпрямляются с угрозой и молча. И он молча пускается наутек. Тогда примиренные народы общими усилиями побивают эксплуататоров, снова идут вперед, однако сильно запаздывая и растеряв немало соратников.

Когда я писал эту сатиру на Обманчивые Мечты, меня тревожил вопрос, не покажется ли она разрушительной тем читателям, чье сердце совсем не вкусило нигилизма или кого горький опыт чрезмерно погрузил в него¹⁾. Ибо

¹⁾ Мои тревоги оказались вполне основательными. Одно лишь разрушение увидели даже самые близкие мои друзья, французы, даже те (их очень мало), кто оценил «Лилюли», как Жан-Ришар Блок в статье, которую он перепечатал в недавно вышедшей книге «Судьба века». Мне пришлось отвечать (и Ж.-Р. Блок честно цитирует мое письмо в примечании к стр. 244—245):

«Стойте! Не приписывайте мне чувства тех, чью тупую уверенность я хочу резко поколебать. «Лилюли», — говорите вы, — судорога,

я не для разрушения разрушаю, а лишь для того, чтобы расчистить место будущему строительству. Примечание, сделанное в конце сентября 1917 года, настаивает на обязанности «показать, что издевательство не касается чистых, священных источников надежды». Обманчивой Мечте противостанет Надежда, пламя жизни; Главному богу — Прометей-победитель, освобожденный.

Я даже задумывал эпилог комедии, в котором обоих плутов, хитрую субретку Лилюли и старого метрдотеля Главного бога, ловкача и пройдоху, раздевали и разоблачали их настоящие хозяева, как Маскариль и Жоделе в «Жеманницах».

В декабре 1917 года я писал совсем в другом роде наброски к последнему акту «Прометей», привожу оттуда отрывки:

«Сцена представляет огромную скалу в форме греческого, четырехгранного алтаря, на ее отвесном склоне глубокая крестообразная выемка — точно отпечаталось тело великана. Налево — густые тучи удаляющейся грозовой ночи. Направо — свежая, омытая лазурь утра, сверкающего и нежного. По ступеням, вырубленным внизу алтаря (или по лестнице, подставленной к кресту, как в антверпенском «Снятии со креста»), медленно спускается Прометей, опршись на плечо Надежды. В нем величественное спокойствие Христа первых веков, схватившая человека верующего, когда разрушена его вера?» Разрушенная вера — не моя вера. Моя — цела и невредима. Недорогого стоила бы она, если бы покоилась на подюжине марионеток, именуемых: Главный бог, Право, Цивилизация, Свобода, и на прочем товаре коммивояжеров демократии. Республика Обманчивой Мечты, вот что я показываю в «Лилюли». Иллюзорная свобода, живое право. Беззастенчивое, лицемерное ханжество. Все это не имеет никакого отношения к истинной справедливости, к истинно божественному, к героической свободе. По моему замыслу «Лилюли» является лишь сатирическим актом более обширной философской драмы. Но мне захотелось дать сначала только этот акт, чтобы сильнее жгли удары бича. Впрочем вы найдете даже и в «Лилюли» нетронутую веру, веру в нагую Правду: «Будь спокойна, сестра моя, несмотря на этот намордник! Тебе заткнули рот, и все же я слышу твой крик... Они тебя сковывают и все же дают тебе владеть жизнью... Так будем же смеяться, смеяться, сестра моя! Мы окажемся правы».

ков (каким он изображен на мозаике в базилике св. Пуденцианы). У подножия алтаря сковывавшие его и теперь разбитые цепи. Выстроившись двумя рядами, боги склоняются перед ним, кроме Гермеса, который с жезлом в руке стоит несколько выдвинувшись вперед, опустив колено на землю. Глаза у него подняты, он ждет приказаний повелителя. В их облики совершенно отсутствует мифологическая условность. Они не что иное, как исконные силы, духи природы. Прометей понимает их насквозь.

Прометей. «Податливые духи, плуты, вам меня не обмануть. Теперь вы со мной, потому что я сильнее всех. Когда я был слабее всех, вы были против меня, слуги того, в ком больше мощи... На вас я не сержусь: другими вас не сделаешь, у вас ни сердца, ни любви, ни гнева. Существуете. Ладно. Кто держит вас в своих руках, тому и послушны. Теперь держу вас я... Мне ничего не стоит добиться вашей любви. Мне хватит и того, чтобы вы стали послушным оружием, безупречно послушным мановению мсей руки. О, как нуждаюсь я, Природа, в твоём сердце, но у тебя его нет, и взамен его я готов вырвать собственное сердце.

Отстраняет льстецов, оставляя возле себя лишь добрую спутницу тяжелых дней, Надежду.

Гермес. Повелитель, пожнем плоды твоей победы, помчимся ввысь и завоюем небо!.. Куда же ты идешь? Ты ошибаешься. Идешь назад. Здесь земля.

Прометей. Ее то и хочется мне увидеть. Что стало с ними?

Гермес. С кем?

Прометей. Ради кого меня распяли.

Гермес. Твои люди? В точности они там же, где ты их покинул. Испокон веков, как черви, извиваются на навозной куче.

Прометей. В их руки я вложил огонь.

Гермес. Огонь, он только обжигает их.

Прометей. Прочь!

Гермес. Берегись! не подходи к краю! Небытие кишит и подстерегает

на дне ямы. Из глотки пустоты дыхание доносится до серебряных гвоздей неба. Взгляни, как дрожат звезды!

Прометей отталкивает его и наклоняется над бездной. Оттуда, из глубины, слышится хор нищеты:

— К чему жить? К чему нас родили? Жить не хочу. Умирать не хочу.

Прометей. И так всегда?

Гермес. Всегда.

Прометей. К чему же я умер ради них и воскрес?

Гермес. Ни к чему. Себя зато спас.

Прометей. Спасти себя, это значит избежать муки других?

Гермес. Конечно, идем же.

(Поворачивается спиной к пропасти и собирается уйти.)

Прометей (хватает его за плечо. поворачивает и указывает ему крутой спуск у его ног). В бездну!

Гермес собирается протестовать, но под взглядом Прометея умолкает, опускает голову и понемногу сходит вниз.

Прометей, взяв за руку Надежду, подходит к пропасти. Надежда невольно отступает назад.

Прометей. Друг мой, тебе страшно? Ты колеблешься?

Надежда. Мы столько перестрадали для того, чтобы подняться сюда. Неужели нужно начинать все сначала?

Прометей. Ничего еще не начато, пока хотя бы один из них там — внизу.

Какова ни была бы ценность этого замысла, ясно, что он слишком мало соответствовал общему духу сатиры, и я его оставил.

Весь 1917 год я искал художественную форму, достаточно гибкую и достаточно широкую для того, чтобы объять смешное и трагическое, мысль, фантазию и вихрь движущихся масс. Я колебался между романом вольтеровского типа в свободном соединении с театром и театром музыкальным, где перемежались бы прелюдии, вставные симфонические отрывки, речитативы, арии, дуэты, трио, ансамбли. Наконец я остановился на новом тогда драматическом жанре:

спектакль кинематографический по огромному движению толпы, по маршам, сражениям, вступление исполняется речитативом, в интермедиях — диалог и пение. Я представлял себе, что действующие лица разбиты на два плана: в глубине проходят тени, исполнитель речитатива поясняет их появление, а на просцениуме происходит диалог действующих лиц.

Вступление задумывалось мною так: при опущенном занавесе поет Обманчивая Мечта, затем занавес поднимается, видно следующее:

В центре—круглый зеленый холмик, равномерно усеянный пучками травы и нарциссами, как на картинах кватрочентистов. Вдали бледное голубовато-зеленое небо в звездах, на верхушке холма сидит молодая женщина, она положила ногу на ногу, на лице полумаска, тело наклонено вперед, указательный палец правой руки у рта, поперек губ. Над ее головой с небесного свода свешиваются на серебряных нитях звезды, они поднимаются и спускаются, подобно паукам, и, танцуя, образуют венок, движущийся над белокурой, юной Обманчивой Мечтой. Откуда-то доносится музыка.

Под холмом, по обеим сторонам сцены: направо — Жано-Ослятник сосредоточено вскапывает поле, возле осел щиплет траву, налево — Полишинель стоит в небрежной позе, опершись на обычную свою палочку и поглядывает на публику.

Когда умолкнут невидимые музыканты, он любезно представляет публике трех чудаков: Жано, Лилюли и себя. Пока он говорит, звезды прядут нити своей паутины вокруг него; позже он замечает, что они его совсем запутали, он раздвигает их, продолжая говорить, меняет место и не замечает, что они следуют за ним. Когда, покончив рассказ, он уходит, то уносит и звезды с собой,— они заплелись вокруг кончика его галочки и зацепились за его горб. А Жано нет дела ни до музыки, ни до красавицы, ни до ладзи, ни до звезд; когда они спускаются ему на нос, он спокойно отцепляет их и бросает в борозды, как семя. Одна из них в виде крупного репейника качается перед ослом, тот ее с'едает.

Так же, как и в начале, в конце пролога — музыка и пение. Занавес закрывается.

Когда он открывается вновь, картина исчезла. Глубина сцены занята экраном, на котором появляются кинематографические образы. С другого конца залы, где киноаппарат, невидимый публике, рассказчик начинает повествование.

Теперешнему читателю следует припомнить, что все эти проекты рождались в год войны, когда мысль была так лихорадочна, когда каждый день сталкивались громовые удары событий и бесшумные страсти мира. Мою паутину беспрестанно разрывали ураганы.

Мне пришлось отказать от попытки натянуть ее на все четыре края иностранной пьесы. Я ограничился одним уголком и здесь, хорошенько примостившись, смастерил свою «Лилюли». Это произведение написано сразу в той же ритмической и обильной ассонансами форме, что и «Колл Бреньон», только музыка здесь богаче, увереннее, больше оттенков.

24 марта 1918 года я делаю в дневнике отметку об ее окончании, в разгар бури. Последний немецкий шквал разбивался о Пикардию. Начали бомбардировать Париж. 29 марта рухнул столб церкви Сен-Жерве, погребая Пьера и Люс. Над кучей обломков звучал обычный припев Лилюли «турлутуту». Под ними лежали любовь, вера и героизм. Лежали также ненависть и ложь. Весь старый мир. Но если не считать последних строк, вольный смех остался невидимым. Невредима также и Правда. Она не может умереть. При помощи их обоих на развалинах заново построят мир.

Тогда так переполняли меня эти две силы, так я был уверен в их спасительной способности оздоровить зачумленный воздух, что, едва кончив «Лилюли» я принимался еще за целый ряд аристофановских пьес, первая из которых, вчерне набросанная летом 1918 года,— «Дикэ»¹—являлась сатирой на право-

¹) Дикэ по-гречески — справедливость, правосудие. Что же касается прилагательного «Дондэн», оно навеяно Роллану двумя ассоциациями: припевом старинных песенок: *dondon — dondon — dondain* и поговоркою *c'est une grosse dondon*, что говорится о толстой, сырой и глуповатой женщине.

судие. Здесь Дикъ — капризная де-вушка легкого поведения, рабыня и на-ложница старикашки, царя Мидаса. Для этого фарса, с хорами в античном духе (один из них — хор Мушек-шпиков), требовалось разбить, как это делали в средневековых мистериях, сцену на че-тыре части, которые то соединяются между собой, то обособляются. Эта пье-са называлась также «Друзья народа». В конце всех их вымела революция, только по-балаганному, в стиле Гарган-тюа.

Нехватало мне театра, труппы, моло-дого и смелого режиссера, чтобы спечь 'мой пирог и подать его, не остудивши. Я звал их, ждал, мечтал о тех изуми-тельных русских труппах, которые спек-таклями в Париже перед войной и на-поили, и ожгли мои уста. Для них, для подобных им написана «Лилюли...¹⁾). Но СССР был занят тогда на подмостках более реальных — трагикомедией иного размаха. А Запад, большой пес, возвра-щался на блевотину свою. Как заразы, избегал он всего здорового, народного. Еще раз так же, как в 1900 г., я стре-мился к Театру народа, но почвы, не-обходимой для такого искусства, — на-рода, — не было у меня. Послевоенный

люди, разбитый, обманутый, разочарован-ный, отрекся он тянул наркотики, под-дельные ликеры, подливаемые отрави-телями, организаторами победы. За всех один лишь народ бодрствовал и выполнял работу, брошенную другими: ленинградцы, москвичи, народ Октября — строители нового мира. Перестра-ивая общество, они давали также пер-вые наброски нового искусства. Впо-следствии из отличной книги Нины Гурфинкель («Современный русский театр», 1931 года) я узнал, как кише-ли новые опыты, театры массовые, те-атры на открытом воздухе, которые все-го изумительнее — примитивно, беспорядочно, но захвагивающе — расцвели, может быть, в 1920 г. на революцион-ных праздниках в Ленинграде. Когда я читал о них, руки у меня чесались. По-чему я не принял в них участия! Впро-чем это не важно... «Одним монахом меньше, монастырь не рухнет». С за-водов доносятся до меня звуки колоко-ла и гудков. Симфония народов звучит во-сю. В ее оркестре требую я себе места, принося колокольчики Полиши-неля, песенку и смех Лилюли.

Перевел по рукописи Б. Грифцов.
11 ноября 1931 г.

2. „ПУСТЫНЯ“ П. ПАВЛЕВКИ

Арк. Глаголев

Современная конкретно-художествен-ная критика никоим образом не должна ограничиваться — как это подчас не-редко имело место за последнее время — рассмотрением продукции только ли-тературно-старших «поколений», про-дукции художников слова, стоящих в самом центре нашей литературы, зре-лых мастеров с широко популярными «именами». Не ослабляя, разумеется, пристального внимания к этому творче-ски старшему и художественно зрело-му литературному «поколению», наша критика должна уделять значительно большее внимание и «молодым». По отношению к последним пора пере-

ходить от рецензий к более де-тальному анализу.

И здесь — в гворчестве писателей более поздних литературных призывов — можно найти ряд талантливых ма-стеров слова или обещающих в непро-должительном времени стать таковыми, и здесь можно найти благодарнейший материал для творческой дискуссии, мож-но найти ряд характерных явлений, свидетельствующих о начавшемся про-цессе творческой разработки актуаль-ных проблем и задач литературно-обще-ственной современности, с одной сторо-ны, о неумении направить свой творче-ский «шаг» в ногу с современностью, о крупных творческих ошибках и дефек-тах — с другой. Процесс творческой дифференциации мы наблюдаем, таким образом, не только в среде литерату-рно старших «поколений» интеллигент-ского сектора, но, что совершенно есте-ственно, и у «младших».

¹⁾ Я принужден претестовать против тех, кто пытались и будут пытаться ставить «Ли-люли» на камерной сцене, для горсти сновов. Все мои пьесы (исключая «Аэрта») написаны для массового театра, применительно к монументальным законам оптики и акустики. Это — фрески. Включить их в раму станковой живо-писи — предательство.

Яркий пример творческого расслоения в среде «младших» дает недавно появившаяся («Изд-во писателей в Ленинграде») книга П. Павленки «Пустыня».

На творческом пути П. Павленки «Пустыня» является серьезным достижением. Она знаменует, что движение творчества Павленки идет в сторону общественно-актуального содержания, и что этот даровитый представитель «младшего» «поколения» советской литературной интеллигенции, подобно передовым представителям «старших», находится на пути преодоления интеллигентского «наследия», освобождения от «перевальства», на пути к тесному союзу с пролетарской литературой.

Основные особенности раннего творчества Павленки, его отрицательные стороны известны. Ранний Павленко находился под влиянием «перевальской» эстетики, — достаточно хотя бы вспомнить его «Шематов». В последних мы находили «перевальский» культ пресловутого «чудака», культ индивидуально-исключительного, уникального, стихийного, иррационального, что обрeктивно совершенно органически увязывалось с общим «перевальским» идеализмом, с «перевальским» разрывом социального и индивидуального, сознания и творчества и т. п. На правый фланг «попутнической» литературы нужно отнести и такое раннее (1927—28 г.) произведение Павленки, как рассказ «Лорд Байрон» (написанный совместно с Бор. Пильняком). В таких книгах П. Павленки, как например «Азиатские рассказы», «Стамбул и Турция», проглядывало эстетство, пленение «восточной» экзотикой, превазирование в конкретно-художественном показе старого над новым. Однако уже и в этих последних, восточных, вещах Павленки можно было отметить признаки художественно-общественного прогресса: автор все же стремился оттолкнуться от трафаретов «восточной» экзотики, стремился преодолеть эстетство, хотя в полной мере ему это на практике в данных вещах осуществить в целом и не удалось. В таком например произведении, как рассказ «Всеобщий классик» (1929 г.) Павленко пытался творчески подойти к пролетарскому коллективу, отобразить культурный рост последнего. И хотя

на этом рассказе лежит явственный отпечаток идеологии интеллигентского культурничества, он в сравнении с предшествовавшим ему «Лордом Байроном» является в раннем творчестве Павленки фактом прогрессивным, уничтожающим, аннулирующим то неблагоприятное впечатление, которое оставалось от начального творческого этапа Павленки после «Лорда Байрона».

«Пустыня», подчеркиваем, открывает в творчестве П. Павленки новый этап общественно-художественного развития, свидетельствующий об идейно-творческом союзе художника с пролетарской революцией.

Повесть посвящена нашей современности, строительству новой жизни, социальному завоеванию «пустыни», рождению нового, социалистического Востока. Повесть наглядно демонстрирует значительные — в положительную сторону — видоизменения в творческой разработке Павленкой темы «Востока». Повесть дает нам возможность возложить на автора «Пустыни» — союзника пролетарской литературы — большие литературно-общественные надежды.

Указывая на положительное значение повести, на ее общественно-художественную ценность, мы вместе с тем должны отметить ряд некоторых ее идейно-творческих особенностей, не позволяющих отнести «Пустыню» непосредственно к разряду пролетарских произведений. Творческое мировоззрение автора «Пустыни», его художественная методология не свободны еще от ряда дефектов, от коих Павленко, чуждый идейно-творческой статики, должен освободиться в процессе своего дальнейшего творческого развития.

Проанализировать в творческой методологии автора «Пустыни» борьбу элементов старой и новой эстетики (в конечном счете мировоззрения художника) тем более важно, что и сам Павленко со всей силой самокритики революционного художника смело осознает наличие остатков интеллигентского «наследия» в своей творческой методологии.

Свой основной идейный замысел Павленко раскрывает так:

«Вот лежит она, пустыня черного песка Кара-Кум без географии и истории,

без всяких следов материальной культуры, с людьми, которые ничего не знают о своей собственной жизни. Четыре века ничто не оседало здесь. Тимур последним прошел по ее пескам, вернув их сполна архаической геологии после недолгого ими пользования. На пустых тропах четырех веков осел завод. Он начинает новую страну и свой собственный век. Все, что происходит здесь, происходит впервые, и, как человек из зародыша, рождается организм новой страны. Это не предприятие, не учреждение, не цивилизация, — это возрастающая первым семенем революция.

Так думают все: и Манасеин, и Нефес, и Адорин. Об этом не думает лишь — может быть, потому только, что это само собой понятно без мыслей — Семен Емельянович Ключаренков.

Однако, строго говоря, то, что мы видим в повести Павленки, не является еще — как впрочем и в ряде других «союзнических», даже крупных, вещей — разнервнутым непосредственным показом социалистического строительства. Автор «Пустыни» дает нам только предысторию социалистического завоевания и преобразования «пустыни», дает только вступление к таковому, увертюру. К такому определению характера произведения Павленки нас побуждают как самый материал повествования, так и — и это конечно основное — метод разработки этого материала, т.е. те самые обстоятельства, которые и заставляют нас отнести повесть не к пролетарской, а к союзнической литературе.

«Собственно только сейчас начинается то, что будет первым событием после наводнения, — подумал он... — Скольким надо было случиться происшествиям, чтобы дать начало событию. Люди умерли, сошли со сцены, сломали и сделали карьеры, сошлись, разошлись — и в сущности все только для того, чтобы создать экспедицию Ключаренкова...»

И повествование Павленки только подводит нас к «экспедиции Ключаренкова», к подлинному «событию», к новому Востоку, к новому социальному бытию, к социальной ликвидации «пустыни». «Экспедиция Ключаренкова» остается вне страниц повествования, о «промхозе Ключаренкова» автору еще

нужно будет рассказать дополнительно. Повесть Павленки только — пролог, «начало события», «частности», как это сознает и сам автор...

«И еще было грустно думать, что забудется все происшедшее до вчерашнего дня, только о неразысканном седле напишут песни и станут думать, что в нем-то и скрыто счастье пустыни, а история просто откроет страницу, напишет на ней, минуя истекшие частности (послужившие предметом повествования Павленки. — Арк. Г.), год, месяц и завтрашнее число, и назовет то, что начало жить, экспедицией Ключаренкова» (показа которой нет в повести. — Арк. Г.) — не без тайной печали заключает свое повествование автор «Пустыни».

Но читатель, да и сам автор конечно, знает, что «история» не «минует» эти «истекшие частности» в их «хаотическом и противоречивом характере», в их «видимой разобщенности» «история» откроет закономерное и необходимое. В повести Павленки, в социальной действительности, ею показанной, мы находим подлинное начало «события», «предысторию», без которой будет невозможно создание «истории»; в повести находим зерна, из коих прорастет социалистическое искусство. Как во всякой подлинной увертюре, и в повести Павленки мы слышим основные мотивы будущего повествования.

В повести мы находим приступ к широкому и глубокому художественному охвату конкретной действительности. Последняя предстает перед нами во всем своем многообразии, выражающем борьбу старого и нового социальных миров, борьбу нового человека с «пустыней».

Мы видим национальное население страны в его социальной дифференциации, в его социальном росте, в его пути от средневековья к социальной революции, к новым формам жизни. Ряд фигур: Нефес, Итыбай-Госторг, Кулдук-Хаджаев, «базарный глашатай», перелагающий в песню советские декреты и законы, Арель, вчера еще избиваемая мужем, забитая и безгласная, ныне возвращающаяся из пролетарского города членом партии («нашим аулсоветом управлять теперь буду») и др. —

эти фигуры слагаются в образ нового человека, нового национала, преобразующего социальный облик родной страны. Эти фигуры дают нам материал для осмысления социального содержания нового национала и являются блестящим доказательством глубочайшего всемирно-исторического значения национальной политики пролетарской революции. Рядом с фигурами Итыбая, Ареаль и проч. мы находим в повести басмачей, Магзума, Искандера-бая, ведущих ожесточенную классовую борьбу прогив революции. Видим националов, еще пребывающих в плену средневековья и «пляшущих» под «дудку» басмачей, в роде Хасаптана Илли, или уже начинающих отходить от баев, как например Нури, Муса. Социально-дифференцированный подход автора к националам необходимо особо отметить, — в этом отношении художник стоит на правильной методологической позиции. В разработке «восточной» темы в сравнении со своими предыдущими «восточными» вещами Павленко делает значительный шаг вперед, тут неоспорим значительный идейно-методологический прогресс художника. Однако полностью, начисто писатель от экзотизма, эстетизма в показе «Востока» все еще не освободился. Кое-какие, хоть и небольшие, остатки рафинированно-интеллигентского мировосприятия все еще в повести ощутимы: «Нет, в самом деле, что такое пустыня? Не тишина движения, а тишина состояния, биологическая, страшная и восторженная тишина, рождающая космические неврозы. Страх тишины переходит в страх перед пространством, перед так дико растянутыми километрами, ожидающими преодоления. Так может быть страшно, когда бы увидел вокруг все мясо, съеденное за всю жизнь, или бумагу, исписанную, начиная с гимназии, или всех знакомых со дня рождения. Смотрите, Елена, смотрите, пустыня вобрала небо в свои края, как голубую прозрачную воду...» И без упоминания «гимназии» «утонченный», «рафинированный» городской интеллигент ясно ощущается в этом «переживании» «пустыни». Остатки эстетизма проглядывают в многочисленных пейзажных зарисовках. Легкий налет экзотизма еще присутствует на

страницах повествования: «Лунный пейзаж пустыни был холоден и неподвижен. Слух оказывался исключительным из действия, так сильна была тишина, и, казалось, могли бы произойти чудовищные события невесомой бесшумности, как тени или облака». К стилю социального реализма в «Пустыне» Павленки кое-где (в незначительной дозе) еще примешивается экзотическая романтика и утонченно-эстетная пейзажная живопись, еще примешиваются остатки интеллигентского «наследия».

По поводу характера изображения автором «Пустыни» нового советского революционного «Востока» мы должны сделать еще одно замечание. Набрасывая ряд образов новых людей советского Туркменистана, Павленко все же недостаточно четко показывает последних — новых советских националов как активных строителей новой, национальной по форме, социалистической по содержанию культуры.

«Погоди, выростат у вас свои инженеры...» — говорит Манасеин Нефесу. Между тем, вопреки Манасеину, «свои инженеры» находятся не только в будущем, но существуют уже и в настоящем. Ведь Ареали не только приступают к руководству аулсоветами, но уже и руководят ими. Тут у автора «Пустыни» отставание от современности. Тут у Павленки не развернутый показ новой социальной действительности, а только введение к ней, «предыстория». Автору следовало бы уделить большее художественное внимание новым национальным революционным силам, активно ликвидирующим социальную «пустыню». У нашего же автора новые люди советского Востока — «Итыбай - Госторги» и другие — конкретно показываются главным образом как спутники, проводники (не только в сюжетном отношении) инженера Манасеина. Зарисовки Ареаль, старика-глашатая и других все еще весьма эпизодичны и беглы.

Нужно констатировать, что экспедиции Манасеина уделяется в повести все же большее художественное внимание, чем непосредственному показу национальных социалистических строителей.

Интеллигенция — Манасеин, Максимов, Елена Иловайская, Адорин и дру-

гие — привлекают наибольшее внимание автора. В этом еще одно характерное качество произведения П. Павленки, как союзнического, а не чисто пролетарского художественного произведения.

Как и большинство представителей передовой советской революционной интеллигенции, стремящихся к тесному союзу с пролетарской революцией, строящей социализм, Павленко идет к социалистическому строительству особым творческим путем — через культурную революцию. Разумеется, с каждым новым творческим «шагом» революционно-интеллигентские писатели — союзники пролетарской литературы в деле строительства социалистического искусства — будут все яснее сознавать теснейшую связь культурной революции и социальной, однако сейчас у них наблюдается известное абстрагирование культурной революции, наблюдаются остатки интеллигентского культурничества. Это мы видим даже в таком превосходнейшем современном революционном художественном произведении, как «Гидроцентральный» М. Шагинян, это мы видим и в данной повести П. Павленки, хотя автор здесь же в повести на наших глазах делает небезуспешные попытки преодоления этих остатков интеллигентского культурничества.

Как конкретно подходит к теме интеллигенции Павленко?

В лице водных инженеров Манасеина и Максимова перед нами предстают крупные научно-технические специалисты, большие знатоки своего дела, энтузиасты. Все их помыслы, все устремления, вся жизнь направлены к одной цели. Обывательское, мелкожизнейское и проч. совершенно чуждо им. Ими владеют большие научно-творческие замыслы.

«Он (инженер Манасеин) двадцать лет мечтал о переводе Аму-Дарьи из Арала в Каспий. Этот проект волновал его, как истинный смысл и задача собственной жизни, как большое и единственное счастье. Он начал думать о строительстве реалистом. В годы студенчества он удивил самого себя упорством, с каким изучал Азию, а инженером стал единственным в своем роде знатоком пустыни, ее людей, ее экономики, ее будущего».

«Манасеин пришел в эти края молодым студентом и попросился на исследование Аму-Дарьинской дельты. Через год его видели среди Иомудских кочевков и на Атреке с геологической партией академии, а еще позднее в гидрологической экспедиции. Гражданскую войну провел он сначала в профсоюзе, потом в военном строительстве. В дни нэпа строил техникум и читал в нем лекции по физике, немного погодя ушел строить каналы. Знаменитость его началась с постройки Курлук-Кудука оконченной блестяще, раньше срока и в посрамление всех смет».

Такой же культурный энтузиаст, «рыцарь» своей идеи, научно-технический творец и изобразитель, Максимов — научно-идейный между прочим «противник» Манасеина. Манасеинскому проекту перевода Аму-Дарьи из Арала в Каспий, этому проекту, же стоко критикуемому Максимовым, последний противопоставляет свой план культурной, технико-экономической ликвидации «пустыни», ее завоевания, — проект системы колодцев. На страницах повести развертывается нечто в роде целой научной технико-экономической дискуссии. Идею «состояние» Манасеина и Максимова, конкретная проверка и испытание их творческих замыслов в обстановке реальной действительности, идейное торжество Максимова и творческая драма Манасеина составляют один из важнейших идеологических и сюжетных узлов повествования Павленки.

Общественная значимость таких интеллигентов, как Максимов и Манасеин, при всех их существенных идеологических дефектах, становится рельефной и ясной в сравнении с Хилковым. Техник Хилков, по образованию горный инженер, бывший князь, — представитель верхушечной дворянско-буржуазной культуры царской России. «Полтора или двести лет Хилковы за фасадами искусства, науки и политики копили свои собственные сокровища — раздоры в искусстве, историю склок в науке, дуэли в политике... они владели ключами всех событий и явлений (дореволюционной) российской жизни, которые за стенами их дома носили заголовки расцветов или кризисов обще-

ственной мысли, возрождения эпоса, гайн упадка пейзажа или истории нового реализма. Вся история культуры была сделана либо их представителями, либо представителями других фамилий, с которыми они обязательно состояли в родстве. Вся история была для них историей родовых карьер...» Пролетарская революция оказалась для него, разумеется, глубоко чуждой; однако он не пошел открыто против нее, заняв позицию «нейтралитета».

«...Выехать было некуда, и он поступил на службу, чтобы отнестись ко всему, что происходит, так, как он отнесся бы в Америке, — с очень спокойным любопытством... Он служил в целом ряде учреждений, главным образом технических, руководил строительствами и обращался с рабочими. Был он по-американски сух, но демократичен, быстр, ловок, бодр. Его всюду любили, ставили в пример, выводили в качестве показательного аристократа и специалиста, честно работающего на революцию. Да он и действительно честно делал все, что ему предлагали. Но Хилков остается не более как только внешне лояльным, конкретным, исполнительным чиновником, лишенным всякого творческого пафоса. Этот «горный инженер», потомственный интеллигент, «наследчик», казалось бы, богатой интеллектуальной культуры, человек немалых знаний, в обстановке новой революционной действительности оказывается совершеннейшим интеллектуальным импотентом, пустоцветом. Его жизненная задача, в отличие от интеллигентов типа Максимова и Манасеина, — не осуществление каких-либо научно-творческих замыслов, а механическое приспособление к новой строю жизни. Хилков глубоко равнодушен к своему, казалось бы, родному делу — к инженерии. Хилков — культурный мертвец. Он лишен творческого изобретательства, которое он мог бы отдать на службу социалистического строительства и тем самым через культурную революцию сродниться с общим пролетарским делом. Хилков «прилепляется» к новой жизни посредством приобретения «защитного» цвета, соответствующего «костюма», «стиля» речи и т. п., посредством мимикрии. Пролетарская революция, строящая социализм,

раскрывающая беспредельные просторы для творчества, заставляет этого «горного инженера», представителя якобы «верхушечной» «культуры», остающегося внутренне целиком человеком старого мира, спрятаться от революции в безответственной «мелкой работенке». Он не желает отдать себя на службу революции. Насквозь человек старого, неспособный увлечься размахом пролетарской социалистической стройки, Хилков чрезвычайно далек от Максимовых и Манасеиных, к которым — «разночинцам» — он, «дворянин», испытывает только глубокое презрение, Хилков и ему подобные представляют благодарную идейно-социальную почву для произрастания тайного вредительства.

Таким образом, и к интеллигенции у автора «Пустыни» дифференцированный подход.

Авторский критицизм по отношению к интеллигенции проявляется не только в разоблачении внутреннего мира Хилкова, но и в отсутствии затушевывания идеологически дефективных, специфически интеллигентских черт — индивидуализма, абстрактного подхода к действительности и т. п. — у интеллигентов типа Манасеина.

Индивидуализм Манасеина ярко бросается в глаза: «В революцию переводом Аму в Каспий занялись выше — он (Манасеин) молчал. Искали людей для этого — он удалился строить арыки». Устами Максимова автор энергично критикует манасеинский абстрактный подход к реальной действительности. Автор определенно выявляет всю катастрофичность индивидуалистического пути Манасеина, его абстрактно-интеллигентский подход к конкретной социальной действительности. Вместе с тем в своем подходе к Манасеину (как и к ряду других интеллигентов) автор чужд механицизма, переверзианского фатализма, он стремится подойти к Манасеину диалектически, берет идеологию Манасеина в ее движении, определяемом развитием объективной действительности. «Сброс аму-дарьинских вод в пески», уничтоживший идейно-научную крепость его проекта, катастрофа его экспедиции многому научают Манасеина, они заставляют Манасеина основательно поразмыслить

своих методах думать и рассуждать». Манасеин, которого мы видим в начале повести, и Манасеин ее конца не тождественны друг другу. Манасеин, идущий в «экспедицию Ключаренкова», переживший идейную драму, задумавшийся о методах своего мышления, претерпевает известное идеологическое видоизменение, освобождение от своего прежнего идейно-творческого индивидуализма.

Несмотря на это видоизменение в мировоззрении Манасеина, несмотря на то, что в конце повести Манасеин говорит о «политическом, вылившемся в технологию» и даже о «классовости нервной системы», и Манасеин, и Максимов в целом остаются еще чистыми культурниками. Их планы покорения «пустыни» находятся в сфере преимущественно культурной, технико-экономической. Их волнуют исключительно технико-экономические проблемы. Технико-экономическое доминирует в их мышлении. В этом отличие их мышления от характера мировоззрения рабочего бригадира Ключаренкова: «Если бы изложить его (Ключаренкова) мысли логически, они вылились бы в глубокую систему. Он был твердо уверен, что инженер вовсе не мастер домов, мостов и паровозов, а организатор рабочих сил для стройки домов и мостов, что врач — организатор масс по созданию общественного здоровья...»

Среди показанных автором интеллигентов немаловажное место занимает журналист Адорин. Некоторые мысли последнего непосредственно смыкаются с идейными воззрениями самого автора повести. Мировоззрение Адорина еще во многом типично интеллигентское. Ему присуще пассивное созерцательство, он очень внимателен к «пейзажам», при чем его мировосприятие, его «переживания» «пустыни» носят на себе следы явного эстетства и романтической экзотики. В последнем Адорин родственен самому Павленке. В идеологии Адорина заметно интеллигентское культурничество. Глубоко зараженный культурным энтузиазмом Манасеина и Максимова, Адорин проявляет такое желание: «Провести бы среди этих людей год-другой и понять изнутри психологию и философию строительного

искусства, больше — всей материальной культуры страны». Социальная культура здесь отодвигается куда-то назад, затушевывается. В центре внимания Адорина, в основе его интересов находится «материальная культура», ее прогресс, ее строительство. Преобразование, завоевание «пустыни» Адориным воспринимается прежде всего в плане культурной революции:

«И все-таки, что же такое пустыня? — говорит он (Адорин)... — Вот мы опустили письма в почтовый ящик, отсюда за триста верст первый цивилизованный город, но московские новости мы узнали однако через час или два... В полдень завтра будет парад комсомольцев — охотников за утильсырьем — и общее собрание пайщиков кооператива Юсуй-кую... Александр Платонович проводит тут искусственную реку, Максимов намерен пробуровать всю пустыню дырками колодезь... Товарищ Итыбай-Госторг, погубитель кочевых кулаков, бурею носится по пескам, контрактая шерсть и продавая мыло и бензин, и пустыня не мешает ему, она дает каракуль, она нужна. Что же такое пустыня? Ужас ли, бедствие или просто «условие жизни», к которому нам трудно привыкнуть и на которое жалуемся только мы, саезжие люди? Но вот, смотрите, вот существует амбулатория — и пустыни нет; комсомольцы собирают утильсырье — и пустыни нет. Завтра мы примем ванну и выслушаем концерт, — где же пустыня? Вот эти пески и солнце? Но они нужны, чтоб завивать овечью шерсть и давать змей для экспорта...»

Приобщение Адорина к социалистическому строительству, таким образом, совершается также через культурную революцию. И эта идеология Адорина во многом созвучна (но не тождественна) идеологии автора «Пустыни», уделяющего большое и любовное внимание Адорину и не противопоставляющего последнему с надлежащей художественной силой иные идейные пути. Идеологию, выраженную образом Ключаренкова, мы, разумеется, учитываем, почему и не ставим знака идеологического равенства между Адориным и автором повести. П. Павленко идеологически ушел далее Адорина, но развер-

нутаго художественного показа Ключаренкова, показа действительности с точки зрения выдержанного пролетарского мировоззрения мы еще пока в повести не наблюдаем. «Экспедиция Ключаренкова» — еще дело художественного будущего Павленки.

Подобно Манасеину, и Адорин показывается однако в движении, в развитии. От коллекционирования «обычно поверхностных журналистских наблюдений», от коллекционирования экзотических пейзажей, от созерцательства, от абстрактных, метафизических размышлений о «пустыне» и от «космических» «переживаний» «тишины пустыни» Адорин переходит к непосредственному включению в конкретную практику, начинает органически сродняться с делом завоевания «пустыни».

«...Ему захотелось желанием крайним, не знаящим никаких уступок, остаться в пустыне...» Подобно Манасеину, Адорин готов включиться в «экспедицию Ключаренкова», в конкретную социальную практику преобразования «пустыни». «...Поедем, попросим работу. Дадут ведь, а? (говорит Манасеин Адорину). Что значит, дадут или нет? Все это теперь мое на всю жизнь».

Необходимое для Адорина участие в «экспедиции Ключаренкова» должно помочь ему в деле освобождения от интеллигентского «наследия».

В идейно-социальном движении предстает перед читателем и образ студентки Осиповой, переходящей от пассивной позиции собирательницы «фольклора» к более общественно-действенному участию в покорении «пустыни».

Идеологически значительно более спорен, общественно маловыразителен образ Елены Иловайской. Автор не сумел проявить по отношению к идеологии последней надлежащего критицизма. Здесь с наибольшей силой проявляются в повести остатки интеллигентского прошлого Павленки. На облике Елены, ее поведении, ее идеологии лежит явственный отпечаток чудаковатости, раритетности. Методы ее участия в покорении «пустыни» в высшей степени «своеобразны». Иловайская общественно-социально совершенно аморфна, примитивна. Ее «талантливость» чисто индивидуалистического, «психо-физиологи-

ческого» характера. В создании образа Елены Иловайской, в элементах известной авторской апологии последней объективно приходится усмотреть наличие остатков биологизма, стихийничества, индизидуализма, аполитизма, «перевальског» идеализма прежнего, раннего Павленки.

«Бывают такие женщины, таланты которых смело выражаются в любви к данному месту или к данному образу жизни. Они могут быть влюблены в определенный город, в музей, в озеро, в свои улицы, где протекало их детство, и специальностью их тогда становится всю жизнь жить на этих улицах, любить озеро или музей и заставлять всех окружающих делать то же (! — Арк. Г.) Все остальное, что сопутствует взрослой жизни, — любовь, замужество, труд, — имеет цену тогда лишь, когда углубляет и совершенствует основную базу их жизни. Есть женщины, посланные такими своими привязанностями в искусство, в быт, в разврат. Елена была послана в пустыню, где она играла разнообразнейших героинь. Никто не мог понять, что ее удерживало в этой дикой глуши...»

Субъективный идеализм этой «классификации» женских «талантов» — «объяснения» необычного «своеобразного» тяготения Елены к «пустыне» — очевиден.

Характер «социальной» практики Иловайской, характер ее участия в советском строительстве не менее своеобразен. Это какие-то сугубо-«биологические», «вечноженственные» «методы»: «Пустыня была тем участком жизни, который она застраивала людьми. Она хотела, чтобы вокруг нее были люди, и если для этого надо было сначала принадлежать им, — она принадлежала. Заболев малярией и получив предписание врачей выехать на север, она осталась, так как необходимо было найти агронома. В конце концов она уехала в Кисловодск и вернулась с молодым застенчивым юношей-тимирязевцем. Когда выяснилась нужда в получении мелиоратора и возможный кандидат оказался в лице заезжего аспиранта из столичного института, она уступила ему одну из своих комнат, послала тимирязевца в район и пережила героическую любовь, отрывая аспиранта от надежд

на кафедру и погружая его в любовь к пустыне и к себе...» «Она, жена инженера, что-то читавшая, что-то видевшая, много любившая, живет в пустыне, ездит с мужем в походы, варит ему какао... и изменяет заповедям брачной верности... В том углу песков, где жила она с мужем, ей принадлежали сердца, карьеры (даже «карьеры»! — Арк. Г.), дружбы и верности. Она творила тут суд и расправу сложными правами жены, любовницы, подруги. Она одна здесь делала то, что называется быгом, и ей причалялись все эмоции на добрых двести километров в окружности...» «Ее тянула к себе безвольность, расхлябанность, неприспособленность человеческая, ее страстью было устраивать, определять, выводить в люди. Ей нужен был нытик, чтобы излечить его от меланхолии, и неудачник, которого она сумела бы сделать счастливым, или безработный, чтобы устроить его на службу». Таковы «биологические», «психо-физиологические» гуманистические «методы» строительства новой жизни в «пустыне», применяемые Иловайской, к которой наш автор относится совершенно объективистски, пассивно, нейтрально, беспристрастно. Более того, в отношении автора к образу Елены можно найти даже элементы апологетики, поскольку он например сближает психологическое отношение к «пустыне» Ключаренкова с подобным же Елены: «Ближе всего ему (Ключаренкову) было чувство Елены, любившей пески обыденной — потому что они есть, потому что среди них идет жизнь — любовью» (! — Арк. Г.).

Идеологическая критика, подчеркиваем, у автора повести тут совершенно отсутствует, в «лучшем» случае автор готов считать Елену «своеобразной» личностью, чем-то в роде чудачки, но не более, не строже: «К ней относились — он это выяснил — с презрительным уважением, как к человеку с общественно (!! — Арк. Г.) нужной, но грязной и мало приятной работой». Образ Елены и — что главное — отношение к нему автора повести мы рассматриваем как «отрывку», рецидив прежнего «перевальства» Павленки.

Образ Ключаренкова, — «Семен Емельянович принадлежал к пионерам но-

вой профессии, родившейся на наших глазах. Слесарь мехмастерской на одной из Тверских текстильных, он последний год целиком пробыл в рабочих бригадах, чистил колхозы под Нижним, ревизовал сельскую кооперацию, ударничал на Турксибе, и вот был послан в числе двадцати пяти тысяч крепить связь текстильщиков с хлопководами...», — этот образ, как выше уже нами и указывалось, идеологически очень существенен. При помощи его автор осуществляет известную идеологическую критику интеллигентского мировоззрения, проводит известную идейную границу между собой и мировоззрением представленной в повести интеллигенции. Мировоззрение и мировосприятие Ключаренкова весьма отлично от интеллигентского. Ключаренкова отличает конкретный, социальный подход к реальной действительности: «Пустыня не раздражала его, как Манасина, и не пугала, как Максимова. То, что Манасин с детства организовал себя на строительство нового моря, нисколько не умиляло его. Сам он, притом, был такой случай, давно уже поднял бы села и племена на полюбившееся дело...»

Однако и художественно, и идеологически образ Ключаренкова не развернут, как равно отсутствует конкретный показ «серного завода» — «зародыша будущей страны» — и национальных «инженеров» — активистов социалистического строительства.

Пролетарское мировоззрение, выдержанный конкретно-классовый подход к действительности, социально — правильное распределение художественного внимания еще не пронизывают повести насквозь. Критика интеллигентской идеологии Манасина и других, критика остатков «культурничества», эстетизма, созерцательства, индивидуализма и прочего еще не доведена до конца. Ключаренков, его «экспедиция», его строительство «промхоза», конкретный показ социалистического строительства еще впереди, хотя фундамент для сего в повести уже заложен.

Итоги. Остатки интеллигентского «наследия» — остатки эстетизма, романтического экзотизма, даже «перевальства» (подход автора к образу Иловайской). элементы абстрагирования культурной

революции и проч. — в повести наблюдаются. Но автор «Пустыни» находится в идейно-творческом движении, в его художественной методологии. Мы могли бы отметить элементы диалектики, социального подхода к действительности, истинного приближения к современности. П. Павленко идет к пролетарскому мировоззрению, к социалистическому строительству, к участию в создании большевистского искусства, хотя и идет к этому — как и большинство представителей передовой революцион-

ной, союзнической, литературной интеллигенции — особым творческим путем, — через культурную революцию.

Ряды союзников строителей социалистического искусства пополнились еще одним даровитым художником. Это, разумеется, не значит, — как явствует из всего вышесказанного нами, — что художник может распротиться с творческой самокритикой. Наоборот, всемерное усиление последней — необходимый залог грядущих творческих побед автора «Пустыни».

За рубежом

КРИЗИС БУРЖУАЗНОЙ КУЛЬТУРЫ

(Заметки журналиста)

Е. Гнедин

„Борьба между природой и человеком за «ничья»“

На протяжении столетия лучшие представители буржуазии, не отдавая себе отчета в том, что единственная цель буржуазии как класса, это — выкачивание прибыли, видели задачу своего времени в победе над природой, в широчайшем применении последних достижений техники, в развитии производительных сил. За время своего господства буржуазия действительно имела возможность, эксплуатируя пролетариат, содействовать прогрессу человеческого общества. «Коммунистический манифест», рисуя путь буржуазии, говорит:

«Менее чем во сто лет своего господства буржуазия создала более могущественные и более грандиозные производительные силы, чем все предшествующие поколения вместе взятые. Подчинение сил природы, машины, применение химии к земледелию и промышленности, пароходы, железные дороги, электрические телеграфы, распашка целых частей света, приспособление рек для судоходства, целые, как бы из земли выросшие поселения... В каком из предшествующих столетий можно было предполагать, что подобные производительные силы дремлют в недрах общественного труда?»

В высказываниях крупных капиталистических деятелей, в литературных произведениях эпохи накопления и концентрации капитала (например Золя, Бальзак) неизменно прославляется победа человеческой личности над природой.

Эти настроения в законченном виде выразил Гёте в «Фаусте».

Фауст, человек, прошедший через все испытания жизни и все ее соблазны, через все сомнения и все заблуждения человеческого ума, видит величайшее счастье в победе над природой. Фауст говорит мгновению «остановись», когда он, уже слепой, может повести массы людей на преодоление сил природы:

Стоит болото, воздух заражая,
И весь мой труд испортить угрожая;
Преодолеть гнилой воды застой, —
Вот высший и последний подвиг мой.

И теперь те буржуазные публицисты, которые с горечью и тоской говорят о закате капитализма, оглядываясь на путь, пройденный буржуазией, с особой гордостью отмечают победы человека над природой. Освальд Шпенглер свою последнюю книгу посвятил теме: «Человек и техника». Восхваляя в своей типичной индивидуалистической манере «сильных людей» и «сильные расы», Шпенглер заявляет, что политическая власть англичан, немцев, французов и американцев «покоится на их богатстве, а их богатство состоит в силе их промышленности». Промышленность, указывает Шпенглер в другом месте, уже не ограничивается простым использованием сокровищ природы:

«Уже не удовлетворяет использование растений, животных и рабов, разрушение сокровищ природы — металлов, камней, дерева, растительных волокон, воды в каналах и колодцах — или преодоление сопротивления природы при помощи судоходства, дорог, мостов, тоннелей и плотин. От расхи-

щения богатств природы предстояло уже перейти к тому, чтобы самые движущие силы ее впрячь в ярмо и заставить рабски служить, чтобы умножить силы человека».

Другой немецкий публицист Оскар Фрид, выпустивший недавно большую книгу под названием «Конец капитализма», с упоением говорит о борьбе капиталиста с природой. Он прославляет капиталистический риск в этой борьбе и говорит:

«Именно спекулятивная черта превратила капиталистического предпринимателя в пионера громадного технического прогресса XIX столетия, благодаря которому на том же пространстве можно было сразу прокормить значительно большее население... Столь осмеянная и недоверчиво принятая железная дорога, ее строительство, финансирование этого строительства являлись для капиталистического предпринимателя путешествием в неизвестное, со всем тем риском и теми шансами на успех, какие были при отъезде каравеллы Христофора Колумба на неизвестный Запад. Какое мужество нужно было иметь, чтобы готовить производство тысячей автомобилей и при этом не знать, удастся ли продать половину за часть себестоимости, или, может быть, они будут буквально вырваны из фабрики при удвоенном или утроенном заработке».

Все это миновало. После того как предприниматель с риском разориться строил тысячу автомобилей и продавал их при утроенном заработке, наступило время, когда он стал производить сотни тысяч автомобилей и сбывал их на рынок при умеренной, но обеспеченной прибыли. Но после этого пришла пора, когда стали производиться вместо сотен тысяч снова десятки тысяч автомобилей и оставались непроданными. В Соединенных Штатах например в ноябре 1931 г. было произведено 36.000 автомобилей, между тем как в ноябре 1929 г. производство достигало 226 тыс., а в рекордном апреле 1929 г. — 663 тыс. автомобилей!

Еще несколько лет тому назад капиталистическая Германия, Франция и в особенности Соединенные Штаты могли

производить впечатление гигантских мастерских, где куется новое оружие для борьбы с природой. Сейчас это — опустелый завод, перегруженный склад, в котором ржавеют машины и гниют непроданные товары. Французский писатель Поль Моран следующим образом описывает свои впечатления от поездки по Северной Америке:

«Я не был здесь с 1925 г. Какая деятельность кипела тогда в этих районах. Теперь пустые поезда стоят рядами на рельсах. Да и вся страна выглядит так, как будто она стоит без дела на рельсах. Заржавленные инструменты, целые кладбища автомобильных шасси, спящие подвешенные краны, голые, как осенние деревья без листьев, холодные котлы...».

А вот как выглядят заводы Форда в Детройте:

«Я приехал на завод в 5 час., но нашел лишь несколько сотен людей. Два года назад в этот же самый час там можно было насчитать сто тысяч рабочих. Теперь меня перевозили в автомобилях через всякие мосты над цеховыми корпусами, которые сплошь стоят пустыми без дела. Изумительный американский порядок еще более увеличивает ощущение пустоты. Американскому сердцу наносит тяжкий удар крушение гигантской рационализаторской работы, которой со времени президента Клевленда занимались все предприниматели, Тейлор и потом Форд».

Кризис привел не только к крушению рационализаторской работы капиталистической промышленности, проведенной за счет здоровья и жизни пролетариев. Кризис буквально свел на нет действие всей системы промышленных достижений буржуазии крупных индустриальных стран за последние 30 лет. Известно, что производство германской промышленности сейчас находится на уровне 1900 г., если не 1890 года. Нагрузка стальной промышленности Соединенных Штатов составляет едва 25 проц. ее мощности. Выплавка чугуна в восьми главнейших капиталистических странах сократилась за два года кризиса в 2,5 раза, добыча угля в четырех капиталистических стра-

вах только за один год сократилась на 25 проц., а за два года — почти на 40 проц. Так обстоит дело с добычей тех важнейших сокровищ природы, которые человек вырывает из ее недр и кладет в основу своего богатства. Орудья, при помощи которых человек подчиняет себе силы природы, это — машина. Машиностроение в Соединенных Штатах упало почти в два раза за два года. В Германии нагрузка машиностроительной промышленности упала до 32 проц.

Происходит тот процесс, который был предсказан основоположниками марксизма, в частности в том же «Коммунистическом манифесте»:

«Во время кризиса постоянно уничтожается значительная часть не только готовых уже продуктов, но и находящихся в распоряжении общества производительных сил... Находящиеся в его распоряжении производительные силы не способствуют уже развитию буржуазной цивилизации и буржуазных имущественных отношений; напротив, они стали слишком велики для этих отношений, они встречают в них препятствия, а когда им удается одолеть эти последние, они приводят в расстройство все буржуазное общество, угрожают существованию всей буржуазной собственности. Буржуазные отношения оказываются слишком узкими, чтобы вместить созданное им богатство».

Именно этот процесс происходит на наших глазах в капиталистическом мире. Это начинают понимать и буржуазные политики. Виднейший английский политик, один из фактических авторов Версальского договора, лорд Лоттен, в статье, помещенной осенью 1931 г. в английском журнале «Континентальная ревью», констатирует меланхолически, что «предсказания Маркса и Ленина о неизбежном развитии новейшего западноевропейского общества реализовались с наиболее неприятной аккуратностью». Английский лорд видит беспомощность буржуазии в борьбе с кризисом, ее беспомощность — в борьбе с природой. Он говорит:

«Несмотря на успехи науки и изобретения, несмотря на растущую власть человека над природой, везде имеется недостаток, нужда, — в условиях

изобилия товаров, безработица — несмотря на существование непочатого края работы, которую нужно сделать. И никто, кроме коммунистов, не имеет четко сформулированного средства лечения; мы вовлечены в экономический кризис, сравнимый с политическим кризисом 1914 г.».

Власть буржуазии уже делает невозможным технический прогресс. Капиталистические условия задерживают успехи человека в борьбе с природой. Речь идет не только о сокращении производства, но и о других явлениях, тормозящих прогресс техники. Разве можно перечислить все те изобретения, все те величайшие научные достижения, которые остаются неиспользованными как по причине кризиса, так и по другим причинам, заложенным в существе буржуазных отношений! Это относится к самым различным областям человеческих знаний. Недавно на одном шумном процессе группы германских профессоров случайно выяснилось, что уже давно существует особо ценное средство борьбы с туберкулезом, но оно не получает применения потому, что химическая промышленность предпочитает использовать до конца прибыль от старых медицинских патентованных средств. Трест силой своего финансового влияния не допускает применения нового лечебного средства. 20 лет, как изобретен новый тип электрической лампочки — лампы со светящимся газом, — и 20 лет человечество не могло пользоваться этим техническим достижением потому, что монопольные электротехнические концерны хотели выжать всю возможную прибыль из находящегося в их руках патента на более старый тип лампочки накаливания.

Изобретения остаются без применения (за исключением военных конечно), промышленность свертывается, посевные площади искусственно сокращены (в САСШ площадь под хлопком — на одну треть), лаборатории и университеты закрываются — вот в громадных масштабах, множась буквально с каждым днем современные конкретные иллюстрации указания «Коммунистического манифеста», что «буржуазные отношения оказываются слишком узкими, чтобы вместить созданное ими богат-

ство». Буржуазное общество вырождается. Человек отступает в своей ясной борьбе с природой.

В этих условиях буржуазные мыслители, неспособные понять законы исторического развития, приходят к пессимистическим выводам, которые они вместо того, чтобы применить к своему классу, распространяют на целые народы, на все человечество. В названной уже книге «Человек и техника» Освальд Шпенглер заявляет следующее:

«Распространяется усталость, некий род пацифизма в борьбе против природы. Обращаются к более простым, к более близким к природе формам жизни, занимают спортом вместо технических опытов, ненавидят большие города. Хочется выйти из подчинения бездушной деятельности, из рабства машине, из ясной и холодной атмосферы технической организации. Именно сильные и творческие дарования от практических проблем науки обращаются к чисто спекулятивному мышлению. Окультизм и спиритизм, индийская философия, метафизическая фантастика христианской или языческой окраски, которые были предметом презрения в эпоху дарвинизма, теперь снова выплывают на поверхность. Это — настроение Рима в эпоху императора Августа».

По мнению Шпенглера, в Европе и Америке:

«Борьба между природой и человеком, который всем своим существованием выступил против нее, практически доведена до конца».

Итак, в наш век величайшей технической революции и дерзновенных достижений науки, в эпоху, когда строятся высшие социалистические формы человеческого общества, борьба между человеком и природой объявляется оконченной. Это заявление есть признание банкротства буржуазии, в этом заявлении смертный приговор буржуазии как классу.

Для буржуазии борьба с природой кончается потому, что кончается ее господство над миллионами угнетенных и эксплуатируемых. Но борьба челове-

ства с природой не только не кончена, она собственно только начинается. Социалистическое общество еще одержит такие победы над стихией и над природой, благодаря которым человек, освобожденный от классовой эксплуатации, станет вместе с тем полноправным хозяином на нашей планете.

Организованное снижение культуры

По мере развития экономического кризиса, по мере его перерастания в политический, по мере того, как в среде буржуазии растет ощущение безвыходности, безнадежности, по мере того, как буржуазия перестает верить в жизнеспособность системы, обеспечивающей ей господство над рабочим классом, по мере того, как буржуазия перестает верить в способность своего класса развивать производительные силы, бороться с природой, — растет среди буржуазии настоящее культурное одичание.

Мы имеем в виду на те проявления отсталости и варварства, которые неоднократно наблюдались в капиталистических странах, в частности в Соединенных Штатах. Господство религиозных предрассудков среди широких масс населения, господство идеалистической философии среди буржуазных ученых и политиков уже само по себе задерживает как развитие научной мысли, так и культурный рост населения. Для характеристики этих элементов достаточно напомнить обезьяньи процессы в Америке, поведшие к осуждению теории Дарвина, или суды Линча, происходящие с участием крупнобуржуазной черни, или деятельность многочисленных шарлатанов-проповедников в Америке, при помощи радио и электрифицированных чудес привлекающих десятки тысяч приверженцев.

В настоящий момент уже речь идет не об одурачивании масс, о распространении в массах дурмана религии и национальной вражды в интересах сохранения господства буржуазии. В настоящее время уже происходит процесс организованного снижения культурного уровня буржуазного общества, свертывание его культурных и просветительных учреждений, научных лабораторий,

приостановка исследовательских работ. На ряду с этим фашизация буржуазного государства побуждает правящую верхушку буржуазии использовать молодежь не то что как средство политической борьбы, но просто-напросто как кадры для пополнения фашистских дружин штрейкбрехерских отрядов, банд, ведущих систематическую войну против рабочего класса.

Высшая школа в буржуазных государствах Европы представляет собой в настоящее время исключительно безотрадное зрелище. Если в технических школах самый предмет занятий студентов имеет непосредственную связь с их возможной практической деятельностью, то в так наз. гуманитарных факультетах наблюдается подлинный разрыв между действительностью и той системой знания, которая сообщается студенту. Вместе с тем во всех высших учебных заведениях, в особенности в таких странах, как Германия или Польша, исчезают среди учащейся молодежи все те традиционные надежды и расчеты, которые были связаны раньше с получением высшего образования. Университетский значок перестал быть отличием, открывающим путь в широкий мир наживы и жизненных успехов.

В буржуазных странах техническая интеллигенция не имеет ни инициативы, ни свободы действий, всецело зависит от воли крупного капитала. Далее не персонально определенный предприниматель, а анонимные монопольные концерны распоряжаются судьбой служилой интеллигенции.

«Врач, который собирает только платежные квитанции; адвокат, который в своей практике зависит только от одного концерна; писатель, которого договор приковывает только к одному издательству; технический директор фабрики, которая завтра будет поглощена крупным акционером, — и многие, многие другие еще обольщают себя и мир фиктивным представлением о своей самостоятельности... Самостоятельны ли они?»

Так описывает судьбу людей с высшим образованием Оскар Фрид в своей книге «Конец капитализ-

ма». Автор этой книги, имеющий непосредственное отношение к одному недавно обанкротившемуся крупному германскому концерну, посвящает несколько глав своей книги доказательству того, что экономисты, инженеры, химики, врачи сведены на роль пассивных исполнителей определенного узкого служебного задания и лишены всякой возможности расти, развиваться и получать вообще удовлетворение от своей профессии. Вот какая судьба ждет в буржуазных государствах человека, получившего высшее образование:

«Пять лет под ряд химик посвящается в тайны реторт и пробирок, чтобы потом в углу лаборатории какого-нибудь концерна многие годы под ряд производить по заранее указанному рецепту один и тот же анализ; 4 года инженер проникает в секреты машин, чтобы потом в течение многих лет в конструкторном бюро по готовым указаниям делать чертежи одной и той же маленькой детали; и 4 года изучает экономист животрепещущие хозяйственные проблемы от Адама Смита до Зомбарта, чтобы потом в каком-либо промышленном союзе вести работу регистратора или составлять налоговый отчет для какого-нибудь концерна».

Когда кризис приостанавливает всякое новое строительство, когда загнивающий монополистический капитал не допускает проведения в жизнь новых патентов, в этих условиях инженеры, техники, химики, врачи теряют всякую возможность и всяческие перспективы творческой работы. Но этого мало. По мере развития кризиса интеллигенция теряет вообще всякую работу. В Германии ежегодно остаются без работы 6.600 людей со специальным образованием, из 8.000 кончающих университетов; общая цифра безработных среди людей с высшим образованием превышает в 1932 г. цифру в 100 тыс.

Такое же явление наблюдается и в других странах. Даже в государствах, относительно в меньшей степени затронутых кризисом, как например Бельгия, нужда среди работников умственного труда принимает неслыханные размеры. По сообщениям бельгийской печати, без-

работные инженеры нанимаются на службу в качестве сторожей. В Брюсселе 40 проц. служащих мелких банков и 15 проц. служащих крупных банков недавно лишились работы.

Буржуазное общество уже не в состоянии использовать людей, вооруженных современным знанием, точно также, как оно не в состоянии дать широкие и плодотворное применение достижениям современной науки, точно также, как оно не в состоянии накормить десятки миллионов людей, несмотря на осуществление громадных избытков товаров. В результате и происходит тот процесс организованного снижения культуры, о котором мы уже говорили в начале этой главы.

К концу 1931 г. союз германских инженеров и ряд научных организаций выпустили воззвание, в котором звали к власти имущим и к крупным предпринимателям, выпрашивая у них в качестве милости материальную помощь инженерам и техникам или хотя бы предоставление им бесплатной работы, чтобы эти люди не потеряли своей квалификации. В буржуазных странах, в частности в Германии, Австрии, Польше, имеются тысячи молодых людей, которые никогда не работали, никогда не имели возможности применить на практике полученные ими знания. Без работы, без места в жизни, в обществе, пораженном кризисом, они живут озлобленные, порой буквально одичавшие.

Союз германских промышленников нашел «радикальное средство» для борьбы с безработицей среди технической интеллигенции. В своем обращении он призывает молодежь вообще не поступать в высшие школы. Руководители германской промышленности просят молодежь не учиться.

Нужно ли выпускать для этой цели специальные воззвания? Не проще ли просто закрыть высшие учебные заведения? Подобные явления уже наблюдаются в европейских странах. Чрезвычайный указ прусского правительства, изданный перед самым рождеством, предусматривает закрытие 9 педагогических академий из существующих 15, закрытие высшей школы физкультуры, 3 художественных академий и 3 исследо-

вательских и опытных институтов, 3 театров и 50 педагогических организаций. Кроме того, значительно сокращен бюджет ряда еще незакрытых высших учебных заведений.

Весьма значительно сокращается школьная сеть по всей Германии. Такое же явление наблюдается в Соединенных Штатах. По сообщению профессора университета Южной Каролины Эдгара Найта, в 44 штатах произведено сокращение ассигнований на школы, колледжи и университеты; строительство новых школ приостановлено или прекращено; учебное время сокращено до 6—7 месяцев. Можно наконец привести еще данные о сокращении книжной продукции в Германии. В 1930 г. книжная продукция сократилась до 26 961 названия, между тем как в 1927 г. было выпущено свыше 31 тыс. названий. Несомненно, что в 1931 г. произошло, а в 1932 году произойдет еще более резкое падение книжной продукции.

Такова картина организованного снижения культурного уровня в буржуазных странах. Речь идет о явлении весьма угрожающем для капитализма. Его последствия еще только скажутся на протяжении ближайшего периода.

Несомненно, что одним из проявлений этого процесса одичания следует считать тот разгул антисемитизма, который наблюдается в высших школах Франции, Германии, Польши, Австрии. Требуется специальное время и место для описания тех диких выходок, тех нелепых споров и претензий, той зверской расправы, которыми сопровождаются антисемитские выступления буржуазной молодежи, обучающейся в высшей школе. Во всяком случае антисемитское движение в европейских высших учебных заведениях смело можно сравнить с тем, что происходило в средние века.

Само собой разумеется, что антисемитское движение следует поставить в тесную связь и зависимость от разгула политической реакции, от развития фашистского движения и других классовых мероприятий буржуазии. Известно, что германские национал-социалисты сделали антисемитизм краеугольным камнем своей жизненной и политической философии. Не имея возможности обещать мелкой буржуазии реального

улучшения ее положения в капиталистических условиях и меньше всего желая ослабить зависимость мелкой буржуазии от крупного капитала, фашисты используют в качестве громозвона самые дикие предрассудки человечества.

Буржуазная молодежь, положение которой мы выше охарактеризовали, некультурная, озлобленная, теряющая всякую веру в будущее и всякое здоровое представление о происходящем, превращается в дикую банду, разбойничью шайку, неистовствующую в рабочих кварталах, мнящую, что, терроризируя рабочий класс, она вернет благополучие своему классу, осужденному на гибель историй.

Естественно, что в таких условиях наука, искусство, культура не только переживают кризис, но осуждены на постепенное вырождение.

Одичание

Германская буржуазная газета «Лигературише вельт» в октябре 1931 года с горечью констатировала в передовой статье:

«С отмиранием идеи прогресса и его идеала «полноценного человека» одновременно исчезает не только уважение к науке, но и воздействие науки на жизнь буржуазии. Сегодня в науку верит только еще пролетариат».

Далеко не всегда буржуазная пресса решается высказаться так откровенно. Но мысль о том, что только пролетариат может явиться движущей силой в науке и искусстве, начинает все чаще проникать на страницы буржуазной печати. Подобные вынужденные признания особенно часто приходится делать представителям буржуазии, когда речь идет о положении в Советском Союзе. В качестве примера можно привести хотя бы одно место из статьи о музыке в СССР, опубликованной в германской газете «Берлинер тагеblatt» 13 ноября прошлого года:

«В эту зиму кризиса искусства во всем мире есть только одна концертная организация, оркестр которой может давать не менее чем 24 кон-

церта в месяц: это — Ленинградская филармония. В то время, как у большинства оркестров вынуждены выдерживать тяжелую борьбу за существование против угрожающего закрытия, сокращения и численного уменьшения, имеется только один оркестр, который в состоянии увеличить свой состав с 65 музыкантов до 85; это — оркестр Ленинградской филармонии. В то время, как некоторые крупные произведения симфонической литературы у нас исчезли из программы потому, что из коммерческих соображений сейчас невозможно произвести необходимое большое число репетиций и добиться должного увеличения оркестра, Россия сегодня в состоянии разрешить всякое художественно необходимое число репетиций и увеличить лучшими силами свои оркестры в любом размере, вплоть до цифры превышающей 100 музыкантов...»

Мы не станем приводить дальнейших рассуждений автора о московской и киевской музыкальной жизни. Для целей нашей статьи интересно самое признание буржуазной газетой чрезвычайного кризиса в искусстве на Западе и противопоставление этому явлению под'ема в Советском Союзе.

Кризис науки и искусства в буржуазных странах выражается, с одной стороны, в описанном нами организованном снижении культуры (закрытие учебных заведений, лабораторий, научных институтов и т. п.), с другой — в растущей безыдейности, в вырождении буржуазной идеологии.

Мы уже приводили слова Шпенглера о том, что как раз наиболее активные и одаренные люди буржуазии начинают увлекаться оккультизмом, спиритизмом и прочими наркотическими средствами, облегчающими бегство от действительности. Объяснить происходящие события, понять тенденции развития можно, только владея единственным научным, марксистским методом познания действительности. Этот метод недоступен не только среднему буржуа, но и «высокопросвещенным» представителям верхушки буржуазного общества. В результате самое сознание того, что капиталистический строй идет к гибели

ли, неизбежно ведет к отчаянию, к мистицизму, к самым разнообразным проявлениям того, что Энгельс называл религиозным рефлексом.

В «Анти-Дюринге» Энгельс дал блестящую характеристику этого «религиозного рефлекса» в буржуазном обществе, полностью применимую к нынешнему настроению буржуазии:

«Мы уже неоднократно говорили, что в современном буржуазном обществе люди подчинены созданным ими самими средствами производств, как какой-то чуждой силе. Фактическое основание религиозной рефлексивной деятельности продолжает таким образом существовать, а вместе с нею и самый религиозный рефлекс. И если буржуазная экономия «даже начинает немного понимать» причины этого внешнего господства, то дело ничуть не изменяется. Буржуазная экономия не в состоянии ни противодействовать кризисам вообще, ни спасти отдельного капиталиста от убытков, от безнадежных долгов и банкротства, ни избавить отдельного рабочего от безработицы и нищеты: попрежнему человек предполагает, а бог (т.-е. внешнее господство капиталистического производства) располагает».

В эпоху кризиса, когда не то что отдельные капиталисты, но государства не в состоянии бороться с кризисом, когда ничто не может спасти от убытков, от безнадежных долгов, от банкротства банки, концерны, целые страны, когда в условиях буржуазного строя ничто не может избавить от безработицы и нищеты десятки миллионов пролетариев, — в рабочем классе нарастают революционные настроения, а в среде буржуазии наряду с фашистским геррором обнаруживается... «религиозный рефлекс».

Этот религиозный рефлекс конечно вовсе не означает обязательно роста религиозных настроений в узком смысле этого слова. Страх перед непонятными, чуждыми, вышестоящими силами вызывает чувство растерянности, неуверенности в каждом новом шаге. Это ощущение распространено одинаково среди

ученых, публицистов, литераторов и политиков.

Лорд Лотниен в упомянутой статье «Возрождение или упадок» жалуется что «волна новых идей разбивает старые социальные, политические и экономические формы». И даже новейшие открытия науки вызывают неуверенность в человеке буржуазного общества. Лотниен говорит: «Понятие материи, этого наиболее древнего ограничения деятельности человека, растворилось в относительности. Религия уклонилась от простой веры и авторитарности, доказывая в повседневности необходимость духовных истин». Не только вера в силы, стоящие над человеком, но и суеверие, страх перед хаосом (анархия капиталистического производства) охватывают представителей буржуазии. Мы приведем некоторые образчики этих настроений.

Вот голос французского публициста Даниэля Ропса, который еще в июле 1931 года в журнале «Ревю де виван», как раз в те дни, когда финансовая катастрофа потрясала капиталистический мир, дал в статье «Европейская разруха» характеристику современного человека, каким его видит буржуазный мыслитель:

«...Человек находится во власти глубокого сомнения в самом себе и в той цивилизации, которую он создал. Он счастлив от своего знания, но не знает, в какой мере это знание имеет ценность. Он удивляется своему научному познанию и своим техническим достижениям, но он спрашивает себя, не ведет ли знание в тупик, а техника — к варварству. Он все свои надежды связывает с будущим и постепенно приходит в отчаяние...»

«...Вот куда идет современный человек. Чем больше он себя познает, тем больше он открывает в себе противоречивых явлений. Он уже не представляет собою единство, объединенное и ответственное, которое связывало бы свое благополучие с благословением бога: он ждет его теперь, как диагноза психиатра».

В самом деле, разве не нужен диагноз психиатра, когда люди, вооружен-

ные современной наукой, пользующиеся высшими достижениями техники, видят мир в таком свете и в таких образах, в каких он представлялся средневековому человеку. Следующие заклинания можно прочесть в одной из передовых статей германской газеты «Литературише вельт»:

«Мы все ищем чорта. Все мы стали искагелями чертовщины. Все мы уверены, что дьявол в одной или в тысячах своих претворений странствует между нами. Все то, что мы называем «кризисом доверия», — кризис медицины, кризис правосудия, кризис парламентаризма, кризис буржуазии, — все это не что иное, как поиски дьявола. Потому что все это — загадка, мрачная загадка: мы готовы работать 8 часов, 10 часов, 14 часов, только бы получить немного хлеба, который нам нужен для жизни. И земля ведь дает нам то, в чем мы нуждаемся. Однако, все это сжигается — зерно в Канаде, кофе в Бразилии, даже жемчуга, если мы в них не нуждаемся, уничтожаются в Южной Африке. Что это такое? Откуда это?»

Ты говоришь «капитализм». Хорошо. Мы верим тебе. Но другой говорит «евреи» или «иезуиты», или «масоны», и ему верят так же. И если бы я сегодня написал: почтальоны виновны во всех бедствиях или продавцы газет, я нашел бы пару сотен людей, которые бы мне поверили, потому что все они ищут действительности не «подлинно виновных», — они ищут «дьявола», дьявола в человеческом облике...

Вот так сидим мы вместе в примитивном древнем ужасе человечества, как тысяча лет тому назад, в ужасе за наших мертвецов, за миллионы мертвецов войны и слушаем с дрожью, как воеет буря, не услышим ли голос откровения, и тот, кто слышит мистические заклинания Людendorфа (пан-германистов-фашистов. — Е. Г.), стоны узников в руках палачей во всех странах, имена которых знает каждый, рев сжигаемых жертв Ку-Клукс-Клана, — тот

понимает, какие сети начинает ткать мировая история...

Говорят «революция» или «гражданская война». Но есть нечто в этом неизяснимо страшное. Когда внезапно человечество станет в переносном смысле верить в дьявола, когда оно снова поверит в физически существующего дьявола; когда человечество уже больше не ищет виновного, а дьявола потому, что оно не хочет стать лучше, а хочет спастись, освободиться, — тогда мир всегда спасается дьяволом... Где же дьявол, который виновен во всех бедах мира? Восстаньте, давайте его искать.

Внезапно перестают верить врачам. Однажды перестают верить в правосудие. Однажды уже больше не верят в правительство. Однажды уже больше не верят в капитализм.

Но внезапно уже не верят в благо мира... Тогда начинается».

Мы привели подробно (хотя далеко не полностью) всю эту бредовую запись не только потому, что она как никак является передовой статьей газеты германской буржуазной интеллигенции, но потому, что она в наиболее обнаженной истерической форме отражает те настроения, которые смутно волнуют и германского философа Освальда Шпенглера, предсказывающего закат западноевропейской культуры, и английского политика и публициста лорда Лотнена, растерянно спрашивающего — возрождение или закат? — и французского публициста Даниэля Ропса, сетующего о культурном вырождении человечества, и многих других публицистов, литераторов, политиков, банкиров, рядовых представителей буржуазного лагеря, в смятении и отчаянии осознающих, что близок час гибели капиталистической системы.

Разве не подобные настроения внутреннего распада скрываются за мрачайшими предсказаниями серьезнейших буржуазных экономистов, вплоть до нашумевшего заявления крупнейшего деятеля мировой буржуазии директора английского банка Монтегю Нормана, сказавшего:

«Если не будут приняты самые решительные меры, капиталистический

строй во всем цивилизованном мире будет разрушен через год».

Пролетариат найдет выход в революции

Но какие «решительные меры» может осуществить буржуазия в борьбе с кризисом?

Все описанное нами следует оценивать конечно не как субъективные настроения отдельных лиц, а как проявление в области культуры общего кризиса капиталистической системы, как результат действия всех тех исторических сил, которые ведут к крушению капитализма.

Буржуазия, живущая в эпоху войн и революций, неизбежно осуждена на культурное вырождение. Мировая война уже внесла величайшее разложение в буржуазную культуру.

«Последняя война» не оказалась последней. «Организованный капитализм» оказался легендой. Парламентский механизм изменил. Как же тут в самом деле не поверить в дьявольскую магию притенному буржуа, теряющему почву под ногами!

И наконец существование Советского Союза, страны, где пролетариат ликвидировал власть буржуазии, страны, где 15 лет существует диктатура рабочего класса, сумевшего развернуть строительство социализма, повернуть крестьянство на путь коллективизации, решить вопрос «кто кого» как в городе, так и в деревне, завершить фундамент социалистической экономики, поднять жизненный уровень рабочих масс в то время, как в капиталистических странах свирепствует безработица, — все эти факты, потрясающие в основе мир, в котором жила буржуазия, создают в умах буржуазии представление, что пришло светопрествозление. И в самом деле пришел конец мира, но конец мира буржуазии.

На пороге 1932 г. пресса всех стран констатирует невиданный упадок всех отраслей народного хозяйства и в то же время отмечает хозяйственный рост в единственной стране, в той, где свергнута власть буржуазии... Есть отчего поитти в отчаяние капиталистам! Американский ученый (профессор Колум-

бийского университета Уорд), приехав в СССР, заявляет под впечатлением всего виденного, что Советский Союз «действительно вступил в период социализма» и несет эту весть к себе на родину, в Соединенные Штаты...

Некоторые из них, подобно лорду Лотиену, требуют, чтобы буржуазия «училась у России», и заявляют, что другого выхода нет. Они мечтают осуществить социализм без революции. Разве самая постановка такого вопроса не является проявлением одновременно и невежества, и банкротства?

Другие просто вопят:

«Истина нашей жизни неизбежно приводит к следующему выводу: поскольку античный мир был разрушен, поскольку новая цивилизация была построена на его развалинах христианством, кто может сыграть среди нас эту роль? Мы слышим ответ: революция — коммунизм».

Так говорит француз Даниэль Ропс. Вот что заявляет немец Оскар Фрид:

«Система себя изжила. Уже нет выхода. Запасы на складах, это — мертвая фабричная заваль. Армии безработных будут далее расти и накапливаться... Между тем как в конторах картелей исчисляется себестоимость, между тем как на мировых биржах происходит призрачный танец смерти, масса рабочих и крестьян медленно приходит в движение».

Ни тот, ни другой из цитированных нами авторов не желает революции. Указания на неизбежность революционного переворота, подобные приведенным выше, неизменно сопровождаются оговорками о том, что «коммунизм не спасет человеческой культуры от гибели». Но это личное дело взбесившихся буржуа. Для характеристики их настроений представляет интерес тот факт, что они, не желая революции, говорят о ее неотвратимости.

Буржуа, в страхе за будущее своего класса, начинают все чаще раздумывать о крушении капиталистической системы. Но они продолжают отрицать неизбежность прихода социалистического строя на смену капиталистическому. Это не случайно, это не просто лазейка для отчаявшегося представителя

буржуазии. Это — существенное правило классовой борьбы.

Даже предчувствуя гибель капиталистического строя, буржуазия продолжает, усиливает, заостряет борьбу против пролетариата, против того класса, которого история сделала могильщиком буржуазии. Вот почему даже самые пессимистически настроенные буржуазные деятели заявляют о том, что они отвергают социализм. Этим обосновывается тот фашистский террор против рабочего класса, та неустанная борьба против социалистической страны Советов — отечества всех трудящихся, — которую ведет капиталистический мир. Утонченные эстеты и разочаровавшиеся политики, предсказывающие гибель капиталистического строя, делают вид или обольщаются тем, что они стоят в стороне от этой кровавой борьбы, но вместе с тем они же куют идеологическое оружие для своего класса. Неслучайно хотя бы тот же Оскар Фрид, написавший небезытересную книгу о кризисе капитализма, в своих практических выводах приближается к откровенным фашистам. Неслучайно германские национал-социалисты в своих демагогических выступлениях «критикуют» отдельные стороны капиталистической системы. При помощи такой агитации они вербуют в ряды опричников финансового капитала тех из среды мелкой буржуазии, кто под влиянием кризиса теряет веру в своего капиталистического бога.

Важнейшее, что нужно сказать, заканчивая обзор проявлений кризиса буржуазной культуры, это напомнить о том, что все эти показатели растерянности, распада и разложения буржуазии не только не ослабляют ее попыток защищать свои последние позиции против рабочего класса, но, наоборот, вызывают к жизни все более жестокие, все более отчаянные, все более варварские, дикие приемы борьбы против пролетариата.

То обстоятельство, что в лагере буржуазии, что в стане наших классовых врагов наблюдается растерянность, лишь обязывает армию социализма усилить наступление против капитализма. Для пролетариата капиталисти-

ческих стран этот вывод означает неустанную, напряженную борьбу против фашистской диктатуры, против предательского социал-фашизма, за революционный выход из кризиса. Развитие событий полностью подтверждает слова, сказанные т. Сталиным на XVI съезде: «Пролетариат будет искать выхода в революцию».

Мы, живущие в стране, где революция уже победила, должны помнить, что строительство социализма в СССР является сильнейшим фактором мировой революции, ликвидирующей власть буржуазии, а вместе с ней и культурное одичание. Тов. Сталин в речи, произнесенной на I Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности, в феврале 1931 года, излагая задачи, стоящие перед строителями социализма, не случайно сказал:

«Мы должны двигаться вперед так, чтобы рабочий класс всего мира, глядя на нас, мог сказать: вот он, мой передовой отряд, вот она, моя ударная бригада, вот она, моя рабочая власть, вот оно, мое отечество, они делают свое дело, наше дело, хорошо, — поддержим их против капиталистов и раздуем дело мировой революции».

Говорим ли мы об успехах социализма или о кризисе капитализма, мы должны суметь из всех этих фактов сделать один и тот же вывод. В интересах международного рабочего класса, в интересах раскрепощения всего трудящегося человечества от власти капитализма, от господства буржуазии, в интересах развития производительных сил человеческого общества мы должны, отмечая поражения врагов, закрепляя наши достижения, неустанно бороться за дальнейшие успехи социалистического строительства. Вот задача, которую должны поставить перед собой требовательные революционеры, участники социалистического строительства, создатели современности. Вот задача, стоящая перед всеми теми кто живет, творит и борется вместе с советским пролетариатом — авангардом международного рабочего класса.

Книжное обозрение

Д. Ф. ИВХ „Дикое мясо“. Д. Гельмана. — 2. В. АРДОВ „Туземцы“. Н. Прянишников. — 3. А. ГУМИЛЕВСКИЙ „Головорезы“. р.к. Глаголева. — 4. Л. О'ФЛАЭРТИ „Горная таверна“. К. Л. а. — 5. Ф. ФРЕИЛИГРАТ „Мергв изыи“. И Поступальского. — 6. БИСС. САЯНОВ „Начала стиха“. Инн. Оксенова.

Даниил Фибих. — «Дикое мясо». Рассказы. Изд. «Московское товарищество писателей». Стр. 208. Ц. 1 р 80 к., пер. 20 к.

На обложке отсутствует дата выхода книги в свет. Из 12 рассказов книги лишь один помечен 1929 годом, остальные либо вообще не датированы, либо по времени их написания имеют солидную давность, и помещение их в книге, появившейся на книжном рынке в конце 1931 года, порождает законное недоумение. Издание книги, построенной на материале вчерашнего дня, на фиксации отдельных эпизодов гражданской войны и первых годов нэпа, может быть оправдано лишь в том случае, если автор сумеет по-новому и с новыми изобразительными средствами подойти к разрабатываемым темам. К сожалению Дан. Фибих этих условий не выполнил. Большинство рассказов представляют собой серию зарисовок, лишенных свежести и являющихся интерпретацией мотивов и образов, хорошо знакомых читателю по произведениям восстановительного периода.

Чтение рассказа «Теплушка» вызывает неотвязные ассоциации с «Голым годом» Пильняка и с бабелевской «Солью»; герои «Апельсиновых гетр» как будто взяты напрокат из книг Эренбурга, показавшего в кривом зеркале советскую действительность начального периода нэпа. Вот характеристика одного из руководителей «Трансглады». «В хмельной восемнадцатый год — комиссар, затем удачливый зэвхоз, оборотистый мешечник, пройдоха, авантюрист, выброшенный из партии и расцветший на жирном перегоне нэпа». Такое же впечатление материала, где то и когда-то уже встречавшегося, оставляют рассказы «О яблочке», «Какой-то дом», «Лик мадонны»: те же геометрически прямолинейные коммунисты типа пильняковских «кожаных курток», щеголяющие в уцелевших со времен Перекопа гимнастерках (?!), те же мелкобуржуазные девицы, подрывающие идеологическую устойчивость вышесказанных партийцев, одним словом тот же ас-

сортимент образов только в разных пропорциях и масштабах.

Особую группу представляют рассказы «Камни», «Адат», «Светильник звезды» на тему о советизации Кавказа. Поданные в традиционном «ориентальном» стиле, декоративно-цветистые, они дают только приблизительное представление о людях, с которыми связаны эпизоды, изображаемые автором.

Единственным рассказом, перекликающимся с современностью и потому выпадающим из общего плана книги, является «Дикое мясо». Написанный в 1929 году, он не теряет своей остроты и злободневности. Автор, взявший отдельный случай разоблачения шкурника и рвача, сумел довольно живо показать участников производства на фоне борьбы за выполнение промфинплана. Не лишенный некоторой схематичности рассказ «Дикое мясо» тем не менее выгодно отличается от остальных рассказов, помещенных в книге. И вместе с тем он несомненно свидетельствует о неисчерпанных ресурсах молодого писателя, для которого пережившая себя тематика вчерашнего дня является лишь трамплином на пути дальнейшей творческой работы.

Д. Гельман.

В. Ардов. — «Туземцы». Юмористические рассказы. Издание «никитинские субботники». М. 1931 г. Стр. 206. Цена 1 руб. 60 коп.

Произвирюя над «плохими романами», где про героиню принято выражаться, что в ней «просыпается женщина» (76 стр.), а также над комическими фильмами, где полимена ударяют «столом по голове» (69), автор рецензируемого сборника очевидно считает самого себя тонким мастером своего жанра, а между тем юмор его недалеко ушел от того, который действительно культивируется в иных комических фильмах заграничного производства.

В самом деле некто Продрыгин явился на бал-маскарад в одних трусах и «с тремя связанными между собой многопудовыми

гирами» на согнутой спине, символизируя своей фигурой «угнетенный пролетариат Запада». За свой оригинальный костюм он претендует на получение первого приза — будильника, но будильник достается не ему, а жене начальника уездной милиции Таисии Ивановне, и тогда происходит скандал: «Мадам Продрыгина подошла к Таисии Ивановне и два раза смачно плюнула ей в лицо... а сам Продрыгин, сокрушив три кулисы, растолкав и изувечив человек пятнадцать приватной публики, ударами гирь выламывал дверь женской уборной, в которой спряталось жири» («Первый приз»).

Или, один грубый гражданин попробовал однажды в вагоне разыграть роль джентльмена, но так как она у него не вышла, то он, рассердившись, вернулся к обычной своей невежливости: «На утро, покидая вагон, он хладнокровно забодол своей корзинкой девушку с клетчатым саквояжем. Девушку пришлось отпирать в приемный покой» («Принадок вежливости»).

Мы даже склонны думать, что на обложке сборника, где на архитектурном фоне Москвы зарисована обывательская семейка, окруженная всевозможными атрибутами бытового мещанства и стилизованная под дикарей (это и есть «туземцы»: у супруги в носу протерто кольцо, а у супруга — какая-то канцелярская принадлежность), изображены не только объекты сатиры В. Ардова, но вместе с тем и его читатели, ибо подобного рода лошадиная юмористика может найти своих потребителей только в подобной среде, которую таким образом наш автор не столько изобличает, сколько, пожалуй, просто обслуживает.

И напрасно автор заверяет в предисловии, что в его книге, посвященной «описанию людей, интересов и событий, существующих вопреки строительству», все же имеется налицо «мощный фон» этого строительства, якобы «усиливающий несурьезность» его персонажей. Ничего такого фона в книге нет, и если в ней произвести некоторые замены в названиях учреждений (например вместо нарсуда — мировой суд) да проставить везде господство вместо гражданина или товарища, то добрая половина помещенных в сборнике рассказов могла бы появиться и до революции, до такой степени дореволюционна или точнее вierreволюционна их сугубо мещанская сюжетка. Ссоры козляков у плиты, культ комчатых собачек, неудача «Факира», не сумевшего разгипнотизировать загипнотизированного им субъекта из публики, потому что сей последний оказался мертвецки пьяным, и т. п. нехватает почему-то только «дачного мужа» и сварливой тощи — этих классических тем старой ремесленной юмористики.

Некоторые сюжеты вызывают в памяти юморески раннего Чехова, но какая разница в обработке, какой упадок культуры смеха какой регресс!

Примем, с помощью которого В. Ардов старается смешить читателя, это «безобра-

живание речи своих персонажей, — любимый прием юмористов-халтурщиков, анахронистически переносимый в советскую Москву диалект Ивана Горбунова. На страницах сборника то и дело мелькают издевательские тикеты: еввовный и т. п., а один деревенский парень молчок из-под Москвы, вынужденный по ходу рассказа многократно рассказывать о случившемся на его глазах столкновении домохозяек, с чисто лингвистической изощренностью выбирает всякий раз новый глагол: шмякнула, хлобыстнула, дербанула, двинула, ткнула, дербанула, чокнула, вжикнула. Исчерпав весь этот живописный запас и не желая все же повториться, он сочиняет новые: жакнула, джукнула и др... («Свидетель»).

Если все это и смешно, то разве для тех, кому из всех междометий смеха привычнее всего угробное и полудиотское ы-ы. Во вкусе именно такого смеха сделана вся книжка. Впрочем иногда в нее влетает еще и ехидно-обывательское х-и-и. Мы разумею здесь такие эскизы по адресу современности, как упомянутый выше непристойный эпизод с «угнетенным пролетариатом Запада». Сюда же относится дешевая пародия на стенгазету «Семейная стенгазета».

Книга написана не о мещанах, как уверяет в этом автор, а для мещан, и нет ничего возмутительнее, как трата драгоценной бумаги на такую, с позволения сказать, литературу.

Н. Прянишников

Лев Гумилевский. — «Головорезы». Роман. Изд. «Федерация» М. 1931 г. Стр. 310. Ц. 2 р. 40 к., перепл. 35 к.

Книжка посвящена школьникам-пионерам Л. Гумилевский пытается жизнь последних осветить как будто бы во всей ее широте. Дается жизнь пионеров как в городе, так и в деревне (в летних лагерях). Автор касается взаимоотношений отцов и детей, пионеров и учащихся внутренних взаимоотношений пионеров (в частности слегка затрагивается пресловутая «проблема» полов), касается ряда специально молодежных, детско-юношеских проблем — тяга к приключенчеству, бузотерство и т. п. Говорится об интересе ребят к техническому изобретательству, об их раздумьях о своем будущем и т. д.

Однако благие стремления Л. Гумилевского дать наиболее полный охват реальной действительности не получают в романе своего художественного осуществления. Показ реальной действительности у Гумилевского крайне поверхностен и неудовлетворителен. Причиной этого является авантюрно-приключенческий метод автора «Головорезов».

Как например Гумилевский строит свою вещь сюжетно, на чем? На самых «заезженных» шаблонах — на «тайственных письмах» «неожиданных открытиях» и т. п. Автор стремится всячески заинтересовать читателя. Страсть к приключенче-

ству в психологии ребят Гумилевским старательно выдвигается на первый план. И это подчас ведет автора к вредным последствиям. Нам романст склонен например рассматривать наличие в пионерских рядах венских «тайных обществ», «черных рыцарей», «долгой общественную работу» как нечто по существу безвредное, специфически «мальчишечь», автор смазывает социально политическое значение этих фактов «А понадись такой факт в газету? Разве там посмотрят, что и рыцарей то три штуки... Нет, скажут, тайные кружки! Нелегальная литература! Контрреволюция! Вот, что там («в газете» — Арк. Г.) скажут...». «А в центре, ничего не зная, перепечатают, и пойдет такая самокритика, что эти же Кошкин с Крупицкий будут читать и спрашивать: «Неужто это про нас?..» Вся эта махровая правооппортунистическая апология «черных рыцарей», правооппортунистическое отношение к «газете» и «центру» со стороны самого Гумилевского никакого отпора не получают. Политическая суть дела правооппортунистически затушевывается подменяется аполитичными «мальчишеством», «политическим легкомыслием» «нейстреблешной страстью к тайственному»..

Прочность метода Л Гумилевского проявляется и в изображении взаимоотношений пионеров и деревни. Уделяя внимание «дащикам» (подробно например излагаются обывательско-«философические» беседы некоей полутанцовщицей «дащицы» с пионеркой Настей) Гумилевский в то же время пишет о деревне крайне невнятно и плохо. Классовый подход к взаимоотношениям деревни и пионеров у Гумилевского отсутствует, деревня социально не дифференцируется. Классовые корни деревенской вражды к пионерам — «красным барчатам» — не вскрываются. Вражда истолковывается не как результат воздействия кулаческих элементов, а как неирризибл к городу деревни «вообще». «Примирение» пионеров с деревней опять-таки показывается, как примирение с деревней в ее целом, при чем завязка «дружбы» показывается посредством романтики.

Л. Гумилевский тщательно подчеркивает в детях биологическое, зверино-инстинктивное, бессознательное. «В движении ее еще была осторожность ошестившегося для защиты животного и вновь высовывающего потихоньку голову из под игл. Но за нею сквозила наглость почувствовавшего спасительность своей шкуры зверка».. «Мальчишка не чувствовал своей жестокости, как резвый котенок, перебрасывающий по полу затравленного мышонка».. «Уселась в нисе, как дремлющий от сытости удав».. «Они изнывали, словно собаки, выследившие дичь».. «Зоологическое» доминирует в художественных сравнениях, определенных, эпитетах Гумилевского»

В романе находит себе приют и прямая мешанное обывательская пошлость. «Брови ее выгнулись выше и без того губы стали, как свежeproлитая кровь» (послед.. губ-

ной помады. — Арк. Г.).. «Всюду тлеа язвительная тоска».. «Вино мятежа», «пьянительная удаль» и т. п. уснащают страницы книги. В многочисленных «афоризмах» изречаются гакже истины «Жизнь учила наладать врасплох и добывать лежачего».

В отличие от одной из героинь романа, «упивавшейся бесподобной легкостью своего существования», мы никак не можем «упиться» «бесподобной легкостью» общественного «веса» книжки Л Гумилевского.

Арк. Глаголев.

Лизм О'Флаэрти.—«Горная таверна». Рассказы. Перевод с английского Н Каминской и М Коваленской, с предисловием Т. Левита. ГИХЛ. Стр. 139. Ц. 1 р. 10 коп.

Основная тема рассказов О'Флаэрти — обнажение инстинктивного начала в человеческом и животном мире. Раскрытие первоначального биологического закона борьбы за жизнь, вытеснение глубоко заложенными импульсами моральных мотивов поведения — таковы основные линии, конструирующие несложные сюжеты «Горной таверны». Все это однако дает очень мало оснований сближать его с Фрейдом или с фрейдизмом, как это делают некоторые критики. В качестве основного биологического закона О'Флаэрти признает не сексуальное, а эгоистически-волевое начало. Голод, борьба за существование непреодолимо владычествуют в человеческом и животном мире, отсюда соперничество, месть, ужас, надежда — все, в чем раскрывает свою суть отдельная индивидуальность. Соответственно своей философии (биологическое начало в социальной жизни раз'единяет, а не только соединяет) О'Флаэрти рассматривает человека в некоторой изоляции. Его герои — рыбаки, фермеры, то-есть люди, привыкшие бороться и побеждать лицом к лицу с природой. Для них собрат по труду редко бывает товарищем, чаще — врагом или соперником. Отсюда особая обнаженность первобытных инстинктов, направленных от себя и к себе, но не к коллективу. Говоря проще, О'Флаэрти разработывает традиционную тему западноевропейской литературы, начатой еще Золя и законченной Мопассаном. И Золя, и Мопассан, когда им приходилось говорить о деревне, обнажали звериные черты крестьянской психики. Человеческий мир ничем не отличается от животного. Та же хитрость, те же уловки у кролика, кошки и человека. На этих темах О'Флаэрти построил ряд рассказов, сильных и в достаточной степени мрачных. Запнув мир человеческих страстей в границах биологического, он после этого опустил завесу. Дальше нет ничего — ни одного просвета. Людям суждено истреблять друг друга — таков основной биологический закон соревнования. Недаром поэтому книга открывается военным рассказом. Война в самых ее разнообразных проявлениях и есть то, что мы называем «жизнью». Тема О'Флаэрти и ее философское обоснование таким образом не новы. Вопрос заключает-

ся только в художественном своеобразии автора, в степени его личной повизии. Как художник он без сомнения стоит на должной высоте. Он нашел соответствующий стиль, сильный, выразительный. дешевый какиз бы то ни было прикрас. Здесь простота доведена до последнего предела, отсутствие «литературы» в смысле фальшво воспринимается как положительное художественное достижение. Книге предпослано предисловие Левита. Сообщая ряд интересных фактов и наблюдений над современной английской литературой, автор вместе с тем не потрудился довести свои мысли до конца и придать им более точный характер. Об этом приходится только пожалеть, потому что материал был исключительно интересный.

К. Локс.

Фердинанд Фрейлиграт.—«Мертвые живым». Перевод с немецкого М. Зенкевича. С критико-биографическим очерком Ф. П. Шиллера ГИХЛ. М.—Л. 1931 г. Стр. 112. Ц. 2 руб.

Извлекая из забвения старых революционных поэтов, мы должны учитывать не только их историческое значение и актуальность в современных условиях, но также и объективный вес данных поэтов как художников, мастеров слова. Фрейлиграт является одним из крупнейших революционных поэтов и мера его художественной силы позволяет противопоставлять этого «трубача революции» целому ряду реакционных стихотворцев того времени.

Несомненно Фрейлиграт не был пролетарским поэтом (хотя он и дал такие шедевры революционной поэзии, как «Мертвые живым», «Снизу вверх», «Как это делается» и др.). Фрейлиграт в своем творческом развитии знал и первый этап, когда он был представителем капиталистической колониальной лирики и ратовал за «высокую башню», и последние годы, когда его поэзия утратила во многом свой боевой характер, но поэт, являющийся по существу мелкобуржуазным союзником германского пролетариата эпохи 40—50 гг. прошлого века, никогда не стал предателем того класса, к которому пришел трудным путем самовоспитания. Ошибки и колебания Фрейлиграта обусловлены преимущественно невыверенным мировоззрением поэта. Оно не было мировоззрением научного социализма, несмотря на дружбу поэта с Марксом, не смотря на непосредственную связь Фрейлиграта с коммунистическим движением. В этом смысле Фрейлиграт сейчас может послужить одновременно и примером, и предупреждением для многих современных поэтов.

Что касается самого издания, то в нем мы видим некоторую непоследовательность. Часть переводов Зенкевича в свое время была выпущена «Красной новью» в виде брошюры, снабженной вступительной заметкой переводчика. Теперь переводы Зенкевича переизданы и пополнены. Но это не книга Зенкевича, поскольку ее предваряет

очерк Ф. Шиллера (сам по себе вполне содержательный). В таком случае почему изд-во не обнаружило настоящей заботливости и не пополнило революционные вещи Фрейлиграта произведениями его молодости, знаменитой фрейлигратовской «жюжеткой»? Поэзия Фрейлиграта может претендовать на такое внимание Читателя было бы интересно видеть более или менее полную картину творческого восхождения поэта. Нетрудно было сделать ряд новых переводов, еще легче использовать некоторые имеющиеся уже переводы таких, скажем, стихотворений, как «Страшный всадник», «Мавританский князь» и проч. Сомнительно и отсутствие в книге обстоятельной библиографии Фрейлиграта (русской по крайности).

Переводы стихов Фрейлиграта сделаны не только значительным поэтом, но и умелым переводчиком. И. Поступальский.

Висс. Саянов.—«Начала стиха». Литературная студия «Резца». Изд. «Красная газета». Л.—1930 г. Стр. 110. Ц. 80 коп.

Виссарий Саянов, достаточно известный в качестве поэта, передко выступает как теоретик. Его критические и историко-литературные выступления менее известны широким кругам читателей а между тем Саянов—теоретик, совмещающий в себе исследователя-марксиста и мастера стиха,—заслуживает большего внимания. «Начала стиха»—четвертая теоретическая работа Саянова.

В этой книге цепеп и интересен самый ее замысел, о котором автор говорит во введении. В противовес многим старым «руководствам для начинающих поэтов» и т. п. изданиям, в которых вопросы стиха трактовались узко формально, Саянов сделал попытку наметить пути для «более широкого осмысления поэтической работы начинающего поэта». Исходя из положения, что «значение технической выучки второстепенно», что вопросы формы являются производными от основ мировоззрения, Саянов рассматривает вопросы поэтической работы в тесной связи с социально-политическим бытием. Эта основная установка более или менее строго выдержана в книге (ниже мы укажем некоторые отклонения в сторону формализма). (Общие вопросы метода и мировоззрения конкретизованы автором на более частных примерах (главы о жанрах, о современной поэме, о поэзии лирической и политической и т. д.).

Несомненно, что замысел книги значителен и нов, бесспорно также, что именно такая книга необходима современному начинающему поэту и в частности рабочему-ударнику, призванному в литературу. Книга Саянова в общем достигает своей цели, давая читателю в целом правильную ориентировку в области поэтического творчества и мировоззрения.

Саянов чужд какого бы то ни было «упрощительства» в освещении проблем современной литературы. Так, касаясь вопроса о применении метода диалектического

материализма в искусстве, Саянов подчеркивает значение «специфического образа искусства», дающего опосредствование явлений действительности и философской системы. В вопросе о стиле пролетарской поэзии автор полагает, что «диалектико-материалистический метод может объединить очень разнородные пути стилистических поисков» в связи с «измененными социальными и политической историей пролетариата» и что в настоящее время «говорить об едином стиле пролетарской литературы... было бы несомненным переверзианством».

В заслугу автору следует заметить также правильную постановку крайне важного вопроса об учебе у классиков. Именно этот вопрос оказывается одним из самых актуальных в практике рабочих литкружков. Саянов подчеркивает необходимость диалектического подхода к наследию классической литературы, предостерегает от «подражания» и выдвигает лозунг критической учебы у классиков, ведущей к их преодолению. Говоря об общем характере современного поэтического движения, Саянов вполне основательно указывает на важность создания массовых поэтических кадров («поэтов-массовиков, агитаторов, стенгазетчиков, авторов инсценировок и стихотворных лозунгов»), в помощь которым и предназначена данная книга. Вместе с тем в обзоре задач современной поэзии Саянов, отдавая должное поэтической «агитации», обращает внимание на начинающих поэтов и на область поэтической «пропаганды», т. е. на разработку больших тем истории, природы, культуры методом диалектического материализма (между прочим Саянов полагает — и не без оснований, — что современная поэзия движется в направлении к новому «подлинному эпосу», каким-то образом родственному творчеству Данте или поэзии XVIII века). Наконец нельзя не согласиться с мыслями Саянова о необходимости дифференцированного подхода к читателю и об опасности «хвостизма», возникающей при ориентировке писателя или критика на отсталые читательские слои.

Таким образом основные тезисы Саянова возражений у нас не вызывают. Однако необходимо указать на некоторые особенности и недостатки книги, понижающие ее ценность. Прежде всего книгу нельзя назвать популярной. Сложность загроможденных автором вопросов и обилие привлеченного материала предполагают некоторую подготовку читателя в области теории литературы и марксистской критики. Автор говорит в предисловии о своей попытке «преодолеть традиции популяризаторской литературы, пишущей для рабочего «попроше», «без иностранных слов» и т. д. Подобная установка совершенно правильна. Но книга может оказывать несколько трудной для малоподготовленного читателя не в силу способа изложения (которое в общем, за исключением отдельных мест отличается достаточной простотой и ясностью), но, как мы сказали выше, вследствие самого

качества ее темы и материала. При небольшом объеме книги ряд отдельных положений естественно должен был остаться неразвитым и недостаточно обоснованным. Этим повидимому объясняется и неясность и непродуманность некоторых формулировок. Приведем пример:

«Литературный жанр, как таковой, развивается не на основе внутренней закономерности, которая есть только в этом самом жанре, а на основе всей своеобразной закономерности общественно-социального (?—И. О.) и политического развития эпохи, в которое непосредственно входят как составная часть и самые принципы литературного развития данного жанра» (стр. 37, подчеркнуто мною.— И. О.).

Сформулированная таким образом мысль о социальной обусловленности изменений литературных жанров объективно имеет переверзианский оттенок («непосредственное» влияние социально-политической действительности на развитие литературных форм), при чем из этого тезиса вычал такой видный фактор литературного движения, как классовая борьба.

Вообще глава о жанрах при всем ее интересе является наименее благополучной главой книги. Свои мысли о социальных причинах эволюции жанров Саянов иллюстрирует конкретными примерами из истории развития и упадка басенного жанра. И здесь недостаточно вскрыто и подчеркнуто значение классовой борьбы в изменении общественной психологии и идеологии, а тем самым и в более узкой сфере литературного творчества. Нередко Саянов явно отвлекается от основной установки книги в сторону чисто формальных вопросов, при этом характер изложения и терминология становится формалистическими. Приведем еще цитату:

«Его (А. Е. Измайлова. — И. О.) сказки, написанные в духе поэтики басен, характерны тем, что прокладывают пути выхода басни в другие повествовательные жанры. Композиционное их построение уже совершенно другое: в основе большинства сказок лежит анекдот с неожиданной развязкой. Значение нравоведения в сказках этого типа уже чисто второстепенное: оно остается или как рудиментарный приделок к повествованию, или несет ту же функцию, что в пародийной басне: подчеркивание каламбура, подготовка неожиданной развязки и т. д.» (стр. 35).

Социологического комментария к этому абзацу автор не дает, и вообще социальная функция жанровых изменений освещена Саяновым не достаточно полно.

Все эти недостатки книги должны быть выпрявлены и выправлены при втором издании, которое очевидно понадобится. Повидимому книга писалась спешно и небрежно редактировалась, чем объясняются также довольно многочисленные лягусы и неред-

кая в книге неряшливость языка и стиля Но и при всех отмеченных нами недостатках книга В. Саянова несомненно сыграет свою положительную роль и окажет немалую помощь начинающему рабочему поэту, литкружковцу и ударнику, призванному в ли-

тературу. Книга бесполезна и для молодых квалифицированных поэтов, — она заставит их глубже задуматься над основными проблемами современной поэзии.

Илл. Оксенов

КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ НА ОТЗЫВ

Издательство „Федерация“

НАША ЖИЗНЬ. Сборник первый (Бка «Новой кузницы» ГАПШ кружок очеркистов) Стр 112. Ц. 1 р. 75 к.
ЗАМОЙСКИЙ П. Липти. Роман Книга первая Изд. третье. Стр. 237 ц 2 р 70 к. пер 35 к
ФЕДОРОВИЧ ВИТ. Конец пустыни. Очерки. Стр 214, ц 1 р 75 к. п. р. 35 к
МИТРЕЙКИН КОНСТАНТИН. Я разбиваю себя. Стр. 92, ц. 1 р. 30 к.
КАТАЕВ ВАЛЕНТИН. Птички божьи. Изд. 2-е. переработ Стр. 159 ц 1 р 65 к.
ЗАЛКА МАТӨ. Первый. Второй. Третий. Стр 254, ц 1 р 50 к
ВЯЧЕСЛАВОВ ПАВЕЛ. Уровень. Первая книга стихов. Стр 91 ц. 1 р.
ФИНЕЛЕВ МИХАИЛ. От харьковской голубятни до ангарской ссылки. Предисл Я Шумяцкого. Изд. 2-е, дополненное Стр 248 ц 1 р 15 к., пер. 35 к.
АПОВ Н. Награда. Стр 256. ц 2 р 10 к. пер 75 к.
КОЗИН ВЛАДИМИР. Вожак. Очерк. Стр. 32. ц 18 к.
РАКИТИН НИКОЛАЙ. Записки конармейца. Стр. 229. ц. 1 р 75 к., пер 45 к
ГУБЕР БОРИС. Неснящие. Повесть о борисовском вересохово. Стр. 295. ц. 1 р. 70 к., пер 45 к.

ТУРЧАНИНОВ Ф. Иная жизнь. Стр. 144. ц. 1 р. 20 к.
БАТРАК ИВАН. Фабричная труба. Басни Стр. 133. ц. 1 р. 70 к
НИЗОВОЙ ПАВЕЛ. Юбилейный день. Стр. 224. ц. 1 р. 65 к.
ФАДЕЕВ А. Разлив. Против течения. Стр. 164. ц. 95 к.
БОЛЬШАКОВ КОНСТ. Покорение Днепра. Очерки Стр. 174 ц 1 р 25 к.
БАТРАК ИВ. К вопросу о платформе ВОКП. Стр. 39. ц. 30 к.
БЕРЕСТИНСКИЙ М. и **ФИБИХ Д.** Звонкий ключ. Драма в 5-ти действ. Стр 96. ц 70 к
АРСКИЙ ПАВЕЛ. Штурм неба. Социальная драма в 5-ти актах Стр 92. ц. 85 к
ТАЙГИН И. Японские силуэты Стр 197. ц. 1 р. 25 к.
ЗОРИЧ А. Советская Канада. Очерки Стр 289.
МУГУЕР Х.-М. Ингушетии. Очерки Стр 141. ц. 85 к. ц. 1 р. 80 к.
ГУМИЛЕВСКИЙ ЛЕВ. Головорезы. Роман. Стр 308 ц. 2 р. 40 к., пер 35 к.
ТИМОФЕЕВ Л. Проблема стиховедения. Материалы к социологии стиха. Стр. 228. ц. 2 р. 75 к. пер. 35 к.

Государственное изд-во художественной литературы

РЕЧИЦКИЙ А. Тарас Шевченко в свете эпохи. Критический очерк. Авториз. перевод с украинского. Стр 173 ц 1 р 35 к
ИБРАГИМОВ ГАЛИМДЖАН. Глубокие корни. Роман. Пер с татарского Вступит. статья И Борознича. Стр 205. ц. 1 р 60 к.
КНИПОВИЧ Е. Генрих Гейне. (Биографии русских и иностранных писателей.) Стр. 120, ц. 60 к.

КОЛЬЦОВ М. Действующие лица. (Новинки пролетарской литературы.) Стр 208. ц 1 р. 80 к., пер. 30 к.
ФРАНС АНАТОЛЬ. Литература в жизнь. Перевод с французского и примечания К. Локса. Стр. 434. ц. 2 р. 75 к.

Изд-во „Московское т-во писателей“

ЗАВАДОВСКИЙ ЛЕОНИД. Таяжики. Рассказы. Стр. 282. ц. 2 р. 20 к.
НИЗОВОЙ П. и **НЕФЕДОВ М.** По измам Черноземья. Стр. 144.

ЖИЛКИН ИВАН. Ганочка. Роман. Стр. 438, ц. 3 р., пер. 30 к.